

Галина Башкирова, Геннадий Васильев

ПУТЕШЕСТВИЕ В РУССКУЮ АМЕРИКУ

РАССКАЗЫ
О СУДЬБАХ ЭМИГРАЦИИ

Москва
Издательство политической литературы
1990

ББК ~~66.3(0)~~

Б33

Книга илюстрирована фотографиями
Геннадия Васильева

Б $\frac{0301051000-250}{079(02)-90}$ 63—90

ББК 66.3(0)

ISBN 5—250—00750—3

© Г. Башкирова,
Г. Васильев

Однажды в неурочный час мы зашли в советское консульство в Вашингтоне. Раннее утро, тихо, пустынно. Навстречу шел знакомый вице-консул, молодой, высокий, крупный человек. Личность популярная в советской колонии. Остряк, исполнитель цыганских романсов, знаменитый лебедь-балерун из «танца маленьких лебедей». Из года в год у нас на капустниках повторялся один и тот же номер: Чайковский под рояль, верзилы в белых пачках, их сизые, огромные ноги в кедах в свете прожекторов, неизменный восторг зрителей. 3

Весельчак двигался нам навстречу не то с большой вазой, не то с коробкой сладостей в праздничной упаковке. Ни бодрых приветствий, ни свежего анекдота, ни обычных присказок — ничего. Странно...

— Кому подарок несете? — спросили мы.

— Какой подарок? — хмуро ответил он. — Урна это!

— Какая урна? Чья?

— Чья, чья... Соотечественника.

— Какого... соотечественника?

— Нашего с вами! — Тут он наконец притормозил и остановился. — Шлют и шлют со всей Америки. Вот никак не пойму, — сказал он, и никакого бодро иронического притяия жизни во всех ее причудливых проявлениях не было ни в его голосе, ни в могучей спортивной фигуре. — Ведь живут же себе здесь преспокойно, правда? Родились даже некоторые в Америке. А умирают — и что? Просят по завещанию похоронить в родной земле, причем часто — в конкретном месте. И все заранее оформлено по закону, и деньги приличные заплачены — за перевоз, захоронение, за все. Мы привыкли — рутинная работа. А все равно каждый раз — загадка.

— Какая загадка — Родина, — сказали мы.

— Вот именно, — вздохнул наш собеседник, — ну, понятно, тянет человека домой, это при жизни. А после смерти? Не все ли равно, где лежать после смерти? Некоторые в России-то только родились, а открывают родственники завещание, и вот вам, сюрприз: после смерти хочу домой. Вот и носим, и носим. Сам бы не поверил, если б рассказали...

И он двинулся со своей ношей дальше.

А мы вышли из консульства. Южная улица горбатилась белыми дорогами особняками. Была весна, все цвело, отцветали розовые японские вишни, зацветали магнолии и розы. Голубело, как всегда, ослепительное небо. По идеально подстриженным газонам скакали белки. Вашингтон — город-сад, витрина страны.

Мы остановились и поглядели друг на друга.

Родина...

Как объяснить словами, какой силы чувства к ней привязывают? А что такое Родина, если человек живет вдали от нее?

Наши соотечественники за рубежом... Тема, в течение десятилетий практически «непроходимая». Если и появлялось в печати что-то об этом, то всегда враждебное.

Русский, украинец, латыш, литовец, армянин, еврей — человек родом из нашей страны, живущий за рубежом, достоин был презрения, осуждения, в крайнем случае — снисходительной жалости. До самого недавнего времени встреченный за границей соотечественник описывался даже, казалось бы, наиболее разумными публицистами в тонах крайне пренебрежительных. В каждом жесте, фразе, поступке проступало в этих дорожных зарисовках прежде всего одно — чувство неизбывной вины оказавшегося за границей человека за утрату Родины. Каждый эмигрант обязан был каяться. И советский человек в лучшем случае снисходительно принимал это покаяние. От всех подряд — даже от тех, кого увезли детьми, даже от их детей. И все недавно публиковалось, буквально срываясь с пера, «раскрывая» почтенного автора, — воспитанное всем предшествующим историческим опытом, неизжитое, прямо-таки государственное высокомерие советского человека перед человеком, часто занесенным не по своей воле невесть куда и радующимся встрече с соотечественником. Откуда эта спесь, этот гонор, полная глухота к чужой судьбе, эта безжалостность оценок?

В число людей, не заслуживающих доброжелательного или хотя бы вдумчивого разговора, попадали почти все без разбора: и те, чьи отцы и дети отправились на чужбину, гонимые безземельем, религиозными преследованиями; и послереволюционные эмигранты, оказавшиеся «по ту сторону баррикад» нередко просто в силу своего социального происхождения; и тысячи «перемещенных лиц», советских граждан, попавших в плен или угнанных на Запад в годы Великой Отечественной войны.

Уже сам факт жизни за пределами Родины делал их по меньшей мере подозрительными людьми. Неписанные правила предполагали, что советским работникам за рубежом следует держаться от них подальше. На приемах мы встречались с разными иностранцами, в том числе с заведомыми врагами. Было хорошо известно, кто они, где работают. Соотечественники? Нет, их следовало обходить стороной. Если кто из нас и поддерживал с ними знакомство, то, как говорится, на свой страх и риск. Исключение составляли только прогрессивные эмигранты, чаще всего небольшие старые общества — русские, украинские, литовские. С ними посольства и консульства поддерживали контакты: присылали докладчиков на праздничные вечера, снабжали советскими кинофильмами. Связи эти были не слишком тесными, а круг таких эмигрантов неуклонно сужался — старели и умирали эти люди, в основном представители дореволюционной эмиграции. И их дети, и дети их детей чувствовали себя больше американцами или канадцами, чем русскими или украинцами. 5

И уж совсем стало трудно, когда сравнительно недавно, в 60—70-е годы, зарубежная эмиграция стала получать свежее пополнение, когда начался приток советских граждан: евреев, армян, немцев, решивших уехать за границу. Хотя это явление приобрело довольно широкие масштабы, по всем идеологическим канонам того времени оно было необъяснимо, а следовательно, нереально.

После доклада Н. С. Хрущева на XX съезде, после возвращения из лагерей десятков тысяч людей и их реабилитации страна только-только начала приходить в себя, начали расшатываться привычные представления о внешнем враждебном мире... И снова медленный откат на целых двадцать — то, что называется теперь периодом застоя. Снова обвиняюще-прокурорский взгляд. Он мешал увидеть реальную жизнь и у себя дома и за границей, лишал возможности налаживать диалог с людьми, многие из которых тянулись к своей Родине. Родина отталкивала этих людей от себя. Сколько недоброжелателей мы приобрели! Скольких друзей потеряли!

Так было совсем недавно. Зачем долго объясняться. Вспомним вопрос анкеты: «Имеете ли родственников за границей?» Вопрос, стоявший где-то рядом с другими: «Состояли ли в других партиях?» и «Находились ли в плену или на оккупированной территории?» Естественно, родственников за границей ни у кого «не имелось». Они стали появляться только после 1956 года, у кого дядя, тетя,

братья и сестры, даже дети. Сталинский взгляд на жизнь, согласно которому по мере развития социализма классовая борьба обострялась и по всей стране раскрывались «контрреволюционные заговоры», связанные со «щупальцами из-за рубежа», продолжал действовать после его смерти. Взгляд этот, его «теоретическая ценность» со временем стали оспариваться. Отношение по инерции оставалось.

И вот перестройка, гласность. Мы заново открываем собственную историю, заполняем белые пятна мира, в котором живем. Одно из них — судьбы соотечественников за рубежом. Это даже не пятно, а рана, кровоточащая рана сердца. Странно подумать, но до самого недавнего времени мы жили в неведении о судьбах даже самых великих своих ученых, писателей, художников, о тех семейных трагедиях, ⁶ которые им пришлось пережить. Кому, кроме узкого академического круга, было известно, что дети Вернадского, сын и дочь, в 20-е годы жили в Европе, в годы войны оказались в Америке, что в глубокой старости, совершенно одинокий после смерти жены, Вернадский мечтал о встрече с ними, готов был ехать в Америку, но шла война, но дети — эмигранты... Основатель учения о ноосфере так и умер, не повидав тех, кого любил. А дочь его до самого недавнего времени жила в Америке, неподалеку от нас, четыре часа езды, но кто же знал?.. Мы, к сожалению, не знали.

Кто, кроме булгаковедов-архивистов и тех, кому была доступна зарубежная русскоязычная литература, знал, что революция расколола семью М. А. Булгакова, что двое его младших братьев оказались за рубежом, в Париже, что в первые годы, когда братья еще не стали на ноги, он пытался им помочь из Москвы, передавая часть гонорара от пьес, шедших во Франции. Лишь недавно опубликована переписка М. А. Булгакова с братом Николаем, прототипом Николки из «Дней Турбиных». И яснее становится смысл письма Булгакова к Сталину, в котором он просит о двухмесячном отпуске за границу: не только о поправке здоровья мечтал издерганный, затравленный писатель, он мечтал о встрече с братьями. И в этом ему было отказано.

А история старшего брата Ивана Бунина, оставшегося в Советской России? Младший брат писал ему из Парижа, разыскивал через племянников и племянниц, старший бедствовал и писал за гроши портреты. Умер в нищете. Бунин все это знал...

Примеры можно множить и множить. Знаменитые, известные наши соотечественники тысячами нитей связаны с родной землей.

Всего одна цифра. За рубежами страны проживает около двадцати миллионов наших соотечественников, то есть каждый четырнадцатый по тем или иным обстоятельствам оказался в течение последнего века за границей.

Как? Почему так много? Кто они?

Тут нам, авторам, пожалуй, следует сделать оговорку. Обычно мы путешествовали по Америке вместе, но часто встречались с людьми, о которых рассказываем в этой книге, и порознь — в разные годы, в разных городах. Поэтому пусть не удивляют читателей перемежающиеся авторские «я» и «мы». Нас — двое. И у каждого из нас свои встречи, свое видение и свои воспоминания.

Вот встреча былых лет. Старушка молоканка в Сан-Франциско пригласила нас в гости. Домик маленький. Такой же ветхий, как сама хозяйка, он еле цеплялся за край холма. На стене старинные ходики. Старушка всю жизнь прожила на этих зеленых холмах, на берегу голубого океана, английского языка так и не выучила, не в состоянии заполнить анкету для получения пособия. «Даже русские испортились. Прошу перевести, а бесплатно здесь никто ничего не делает», — жалуется она. Прощаясь с нами, стоя на верху крутой лестницы, она машет иссохшей ручкой и бормочет: «О'кей, о'кей, благослови вас господь». И как всегда при таких мимолетных встречах, особенно со старыми людьми, — щемящее чувство, что больше не увидимся никогда.

А в Лондоне знакомство с легендарной Софкой, по рождению княжной Долгорукой. Она сидит в кресле, дородная, необычайно красивая и в старости, и каждый жест ее, человека очень живого, полон врожденного достоинства. Софка показывает выцветшие дагерротипы. Она с родителями, она на руках у царя, милое дитя в кружевах. Потом революция, милое дитя подросло, и вот уже Париж, бывшая княжна становится антрепренером ансамбля «Донские казаки». Война застает ее во Франции. Нацистский концлагерь. Снова Лондон, Софка Долгорукая — активный работник лондонской организации Компартии Великобритании. На склоне лет Софка выходит замуж за английского рабочего, они уезжают в отдаленную провинцию Корнуэлл, решив заняться сельским хозяйством. Недавно по английскому телевидению была о ней передача — о лихой наезднице Софке, старой английской коммунистке.

А задолго до Лондона, до знакомства с Софкой — Северная Корея. Война уже закончилась. Умер Сталин. Многие русские, оказавшиеся на Дальнем Востоке, собираются

возвращаться домой, в Россию. Отец Тростянский, высокий, сухощавый, жилистый, пепельные волосы заплетены в две длинные косички, тоже готовится к возвращению, оставив свой приход в одном из небольших курортных городков на северо-востоке Кореи. Пхеньян после войны лежит в развалинах, и отец Тростянский ночует в нашем корпункте. К возвращению на Родину он готовится серьезно, целыми днями штудировал Ленина, Горького, Бухарина и Троцкого, объясняя, что хочет знать ситуацию с разных сторон. Наступает день, когда отец Тростянский садится за полученные в нашем посольстве анкеты. Спотыкается он на графе: профессия.

— Что писать? — спрашивает он нас. — Священнослужитель?

8 — А еще что-нибудь вы умеете делать, отец? — после паузы осведомляется самый осмотрительный из нас. — Ну... или увлечение какое?

Мы молодые, веселы, он кажется нам одновременно и глубоким стариком и почти ребенком, настолько ничего не знает о нашей жизни.

Ему около пятидесяти.

В комнате наступает озабоченная тишина.

— Что еще? Пчелками всю жизнь занимался, — говорит отец Тростянский.

— Вот и пишите, — бурно радуемся мы, — профессия: пчеловод!

Отец Тростянский задумывается, медлит, вздыхает. И, заглядывая ему через плечо, мы видим, как своей крюкастой рукой рабочего человека он выводит: «Профессия — священнослужитель-пчеловод».

Времена уже менялись. На Родине отца Тростянского встретили представители Московской патриархии, вскоре он получил приход на Урале.

И еще одна встреча тех лет. В Мукдене в поезд, шедший в Москву, села пара: седовласый пожилой русский человек и его жена, увядшая нарядная дама. Мы познакомились. Возвращаются в Россию из Северного Китая. В те времена поезда ходили медленно, от Мукдена до Москвы не менее недели. Наш поезд еще идет по территории Китая. Тихий спор у окна, на что потратить последние юани. Полотенца, нет чай. Чай, шепчет муж, нет, полотенца. А поезд отстукивает что-то свое на стыках рельс: проезжаем мосты. Седовласый человек заходит в купе:

— Знаете, а этот мост строил я.

Проходит некоторое время, он все стоит у окна, задум-

чиво смотрит на поля, реки и, когда поезд гулко стучит, проходя по виадуку над рекой, говорит снова:

— И этот мост строил я.

Старый российский инженер, путеец, как он называет себя, через бездны времени, через все революции и войны возвращается на Родину, где не был практически всю жизнь. Мосты все мелькают и мелькают, а я думаю, как много сделал на земле этот человек.

Всю эту неделю мы вместе пьем чай, и я, молодой, гордый собой — наконец-то на самостоятельной корреспондентской работе! — все больше задумываюсь над тем, как нелегко и непросто сложилась судьба моего собеседника и ему подобных людей с советскими паспортами, живших в Северо-Восточном Китае, а теперь двинувшихся на Родину. Каково-то им придется дома?

9

До XX съезда оставалось еще два года.

Потом я не раз вспоминал этого белоголового, крупного по всем своим параметрам человека. Особенно тогда, когда в зарубежных поездках приходилось встречаться — в разговорах с иностранцами, на страницах газет — с именами знаменитых деятелей русской науки, техники, культуры, живших в эмиграции. Они сделали многое для общего блага человечества, но, к сожалению, трудились не у себя в стране.

Снова Лондон. Композитор и музыкант Дмитрий Темкин, представлявшийся на приемах в советском посольстве, где он бывал желанным гостем как «бывший работник ЧК, а ныне магнат Голливуда и обладатель нескольких Оскаров», знакомит меня после премьеры советского фильма «Чайковский» (аранжировка Темкина) с баронессой Бенкендорф-Будберг. Темкин, массивный, лысый, быстро рассказывает несколько эпизодов из жизни баронессы. Революционный Петроград, Москва, буржуазная Эстония, где жили ее малолетние дети, снова Москва, потом Италия, баронесса — многолетний секретарь и подруга Горького, потом Лондон, до конца его дней — невенчанная жена Герберта Уэллса. По приглашению семьи Пешковых в 60-е годы приезжала в Москву, встречалась с писателями. Ах, да, верно, о встречах с ней рассказывал нам покойный поэт Борис Слуцкий. После знакомства мы иногда видимся, хотя она не очень-то любит в свои последние годы встречаться с людьми. Ничего не рассказывает, непроницаемо безразна.

Непроницаемая, железная женщина. Именно железная, так и назвала свою книгу о ней хорошо ее знавшая Ни-

на Берберова, жена поэта Владислава Ходасевича, известная писательница в среде русской довоенной эмиграции в Париже, автор мемуаров, профессор в отставке Принстонского университета.

Но ни «голливудского магната» Дмитрия Темкина, ни баронессы Будберг давно нет в живых, ни о чем не спросишь...

Сколько тайн, сколько неразвязанных узлов современной истории унесла с собой баронесса Будберг — может быть, очень важных для нас, таких, что по-новому осветили бы некоторые факты бурной эпохи первых лет революции. Многие страницы своей жизни она, вероятно, просто вырвала из памяти, многие бумаги (если они были) уничтожила сознательно, еще в молодые годы. Теперь остается только гадать.

Известно лишь, что чемодан с архивом Максима Горького (о чем имеются письменные свидетельства мемуаристов), чемодан, который он передал ей на хранение, возвращаясь навсегда в Советский Союз, как самому близкому и верному человеку, чемодан документов, в котором были письма советских писателей, дипломатов, крупнейших деятелей партии, приезжавших за границу и писавших Горькому о своих тревогах по поводу событий, происходивших в стране в 20—30-е годы, чемодан этот баронесса Будберг посланцам, приезжавшим к ней, отдала, несмотря на строгий наказ Алексея Максимовича никому ни при каких обстоятельствах не отдавать в ближайшие десятилетия. Отдала, как подозревают окружение баронессы и та же Нина Берберова, из чувства самосохранения: уже становилось ясно, что подобные архивы, даже живя в Лондоне, держать дома небезопасно...

Какие документы, оставленные ей на хранение Горьким, баронесса Бенкендорф-Будберг передала вместе с чемоданом? Какие, может быть, великодушно уничтожила? А может, и нет?

Все ушло, исчезло. Она упорно молчала до самой смерти. Обнаружится ли когда-нибудь горьковский чемодан? Что с ним стало в Москве? Кто и с какими целями воспользовался находившимися там документами? Тайна... тайны...

Сколько тайн ушло навеки! Сколько, может быть, уходит у нас на глазах. А ведь некоторые очень старые люди пока живы и могли бы многое рассказать. Многие, может быть, и хотели бы рассказать. Но немощны, больны, бедны, дрожит рука, и Родина так далеко, и они прожили свои

жизни так далеко от нее и были друг к другу зачастую так непримиримы...

И вот прошло время, огромное историческое время. Время смывает обиды, недоразумения, заставляет людей видеть главное, зачастую пересматривать свои политические позиции. Да, но жизнь прошла. Поздно, поздно... А может быть, не поздно?

Нет, поздно! Во многих случаях мы знаем это слишком хорошо! И знаем, кто виноват. Мы сами, пишущие советские люди, прожившие многие годы за рубежом. Сколько интереснейших соотечественников, великих людей ушло из жизни за годы работы в Америке!

Помню один из последних концертов Игоря Стравинского. 1968 год, нью-йоркский Линкольн-центр. Сгорбленный, носатый, похожий на большую птицу человек появляется на дирижерском возвышении, поддерживаемый под локотки двумя музыкантами. Нащупывает ногами твердую почву, утверждает. Взмахивает длинными руками-крыльями, звучит «Весна священная» — острая, ломкая, затейливая, ни на что другое не похожая музыка. Почему я не попытался пройти к Стравинскому во время перерыва, не поговорил?

11

Как живой стоит перед глазами Давид Бурлюк, массивный, лысый, напоминающий огромный камень-валун. Встретив его в начале 60-х годов на приеме в Нью-Йорке в честь Рокуэлла Кента — американский художник вернулся из Москвы, где он подарил советским музеям свои картины, — я был поражен. Передо мной был друг и наставник Маяковского, человек из хрестоматии. «Приезжайте ко мне на дачу, поговорим», — сказал Бурлюк. И ведь не съездил, не поговорил. Все работал, «крутился», как теперь любят говорить в Москве. Казалось, куда спешить, все впереди. И осталась на память об этой встрече лишь присланная Бурлюком папка — письма, репродукции картин, открытки.

Помню Керенского глубоким стариком. Несколько раз видел его по американскому телевидению. Сухое лицо, свинцового цвета волосы бобриком. Бывший премьер России все возвращался к тем далеким временам, сетовал, что Запад не оказал ему достаточной помощи. Он доживал в Калифорнии, где я бывал столько раз. По слухам, перед смертью ему хотелось поговорить с советскими людьми.

Еще в детстве, когда паял свой первый радиоприемник, прочел в техническом журнале имя — Зворыкин. Узнал, что Владимир Зворыкин, русский инженер, изобретатель,

создал кинескоп, основу телевизоров. Первые телевизоры уже демонстрировались в Политехническом музее. Как мне хотелось узнать побольше о замечательном человеке! Но журнальная сноска была короткой и невразумительной. Даже где он живет, не говорилось. Потом, уже работая корреспондентом в США, встречал в американских газетах имя Зворыкина. Писалось оно странно — Zworykin. Русский инженер жил в Нью-Йорке, работал на одной из крупнейших радиотехнических компаний Ар-Си-Эй, занимал в ней пост вице-президента. В 1979 году пресса отметила его девяностолетие. Никогда не прощу себе, что, живя в то время в Вашингтоне, не бросил все дела и не поехал в Нью-Йорк.

В следующую мою командировку за океан Зворыкина
12 уже не было в живых.

Где же мы все были, думаю я, вспоминая и свою работу, и работу своих коллег.

...Я впервые приехал в США в 1960 году. Дело было не только в писаных и неписаных запретах. Может быть, прежде всего дело заключалось в нашей зашоренности, небольшой, прямо скажем, несмотря на окончание престижного МГИМО, образованности? И еще — в полной нашей тогдашней внутренней оторванности не только от тех русских людей, кто прожил свои жизни на чужбине, но и от целых пластов нашей истории. Нет, дело все-таки не в страхе, страха после XX съезда партии в нас не было. Живя в Нью-Йорке, мы спорили ночами напролет о том, что будет со страной, спорили о новых романах и их авторах, спорили так яростно, как потом уже никогда и нигде не спорили. Да, беда, должно быть, заключалась в воспитанном в нас психологическом барьере восприятия, соединенном, смешно сказать, с нашей молодостью. В те годы мы жили и работали весело, дружно, кучно, азартно, открывая для себя и своих читателей эту неведомую Америку.

Открывать русских в Америке? Нет, это нам и в голову не приходило. Открывать великих соотечественников? Записывать за последними мозгиканами всех слоев и направлений эмиграции для будущего, для истории своей страны и своего народа? Быть Несторами? Жизнь открывалась перед нами такая яркая, красочная, такая незнакомая. Для того чтобы быть летописцем, скромнейшим из скромных, нужно обладать определенным уровнем исторического мышления, культурного кругозора и, наконец, хоть небольшим опытом сердца. Ничего! Удивительная, противоесте-

ственная, пугающая сейчас, по прошествии лет, историческая глухота. Да, нас так учили. Но зачем же быть первым учеником?

Сейчас я думаю, что не выполнил какой-то очень важной миссии, которую предназначила мне жизнь и судьба. Нас, пишущих людей, в 60-е годы в Америке работало очень мало, по пальцам перечесть. И я с горечью осознаю, что не только бастующие шахтеры Аппалачей и автомобилисты Детройта, «акулы» Уолл-стрита и бездомные на Бауэри заслуживали нашего боевитого, неутомимого, молодого внимания. Русские люди, самые разные, жили совсем рядом, иногда через несколько кварталов, но мы в своем молодом, зауженном энтузиазме как бы и не знали об этом. И не желали знать. Мы прибыли, чтобы открывать Америку!

13

Можно успокоить себя тем, что время тогда еще не созрело для этой темы. Но почему бы не созреть самому, раньше времени?

...Гласность, демократизация, перестройка меняют и нас самих, и отношение к нам во всем мире. Рушится образ врага, каким изображали Советский Союз на протяжении десятилетий. Стремительно возрос интерес к нашей жизни. Увидеть друг друга. А отсюда не только как нравственный императив, но и как единственно разумная политика — говорить лишь правду.

Свежий ветер перемен, долетавший с Родины, взбудоражил зарубежных русских (всех эмигрантов из нашей страны независимо от их национальности называют за границей русскими). У людей, настроенных патриотически, так или иначе сохранивших в душе привязанность к своей стране, вести о перестройке возродили ощущение сопричастности к происходящему у нас, желание подключиться, помочь. У других, испреклонных ниспровергателей, перемены в СССР вызвали растерянность. Старые клише уже не срабатывали.

Произошел принципиальный сдвиг: не скрываемая от народа правда исходит от нас самих. И вот уже расхватываются советские литературные журналы в тех немногих местах, где их можно купить, и старый книжный магазин русских выходцев из Харбина «Камкин» не успевает удовлетворять спрос.

Да, встрепенулись, зашевелились, заволновались наши соотечественники.

Известный эмигрантский сочинитель песен Вилли Токарев запел:

Я на днях известие в «Известиях» прочел,
что в Союзе приоткрылись двери.
Да чтоб ты был здоров,
Михал Сергеич Горбачев!
Хочется надеяться и верить!

14

Проходит всего год, и Токарев поет уже о родственниках, приезжающих в Америку из Союза,— юмористическая, грустноватая песенка о «горбачевских мстителях», как их тут же окрестили в эмиграции, об их бесконечных покупках, о хождениях по магазинам, разорительных для родни... Даже слушая незамысловатые песенки нынешних бардов эмиграции, поражаешься, как стремительно меняется время, как быстро восстанавливаются кровные связи, как постепенно завязываются связи экономические, возникают совместные советско-американские предприятия, и во многих из них участвуют бывшие эмигранты из Советского Союза.

В самолете, которым мы недавно летели из Нью-Йорка в Москву, было только четыре советских пассажира — остальные эмигранты. Всю долгую дорогу, все двенадцать часов, мы не могли заснуть. Перекрикивая шум моторов, в салоне громко разговаривали: «А у нас в Одессе...», «А у нас в Гомеле...», «Нет, у нас в Кишиневе лучше...» Становилось непонятно, где же живут в конце концов эти люди? Может, они летали в гости в Америку и возвращаются домой? Да нет, ничего подобного, в Нью-Йорке они живут! Летят в гости, летят по делам. Самолет полон...

Но все же стоит отметить, что нынешняя, четвертая волна очень неоднородна по своему составу.

Кстати, к вопросу о нумерации волн. Последнее пополнение эмигрантов из Советского Союза довольно часто называют третьей волной. Думается, это не так, вернее, не совсем так. В этом случае сбрасывается со счетов трудовая эмиграция царского времени, целый поток, направлявшийся до революции в США, Канаду, страны Латинской Америки. Поток огромный — четыре с половиной миллиона человек.

...В одном из американских музеев мы видели список русских эмигрантов, внесших крупный вклад в развитие мировой культуры, науки, техники. Наряду с именами, хорошо известными в Советском Союзе — Шаляпин, Рахманинов, Стравинский, Глазунов, Гречанинов,— были на этой Доске почета и те, о ком у нас знают только специалисты: основоположник телевидения инженер Владимир Зворыкин, крупнейший ученый в области механики Степан Ти-

мошенко, создатель высокооктанового бензина химик Владимир Ипатьев, академик химик Владимир Чичибабин, друг Маяковского лингвист с мировым именем Роман Якобсон.

Итак, нам хочется рассказать о соотечественниках, с которыми довелось познакомиться за рубежом. Чтобы читатель увидел их несхожие лица, услышал самые разные голоса, вдумался в их непростые судьбы.

И вот еще какой проблемы, связанной с рассказом об эмиграции, хотелось бы коснуться. Нам кажется, вряд ли стоит сейчас так шарахаться из одной стороны в другую, как это теперь нередко происходит со многими журналистами и писателями в разговоре об эмиграции.

Прежде всех соотечественников называли лишь врагами и отщепенцами.

15

Нынче все, как один, стали друзьями.

И полилась на страницы газет и журналов патока мало-квалифицированной, нередко полуграмотной информации. Боль и кровь, погубленные таланты, исковерканные судьбы становятся расхожей темой. А там, где мода, где поспешная бойкость пера, там всегда досадные передержки, вымыслы, фактические ошибки... И в итоге искажение горькой исторической правды.

Эмиграция со своими многочисленными политическими, бытовыми, национальными оттенками — слишком сложное явление, как это отметил еще несколько десятилетий назад известный поэт и критик русского зарубежья Георгий Адамович.

С очень разными людьми сталкивались мы за рубежом. Но приоритет общечеловеческих ценностей, провозглашенный нашей страной, означает широкое непредвзятое видение мира, в том числе возможность и необходимость диалога с самыми разными людьми. А если эти люди — наши соотечественники?

И вот еще о чем, пожалуй, напоследок стоит упомянуть.

Время, события, атмосфера, настроения в нашей стране меняются стремительно как никогда. То, что было новостью утром, к вечеру уже устаревает. Каждый день приносит что-то новое.

А книги?

Процесс их издания по-прежнему крайне замедлен. Книги не поспевают за событиями.

Когда мы брались за работу о судьбах русской эмиграции, мы не были до конца уверены, увидит ли свет все то, о чем мы пишем. И вот пришла наконец верстка, потом

сверка, и само слово «эмигрант» уже звучит иначе, стремительно теряя некий жестковатый, отчужденный оттенок. Да и как же иначе? Каждый человек теперь имеет право покинуть свою страну и вернуться домой, если захочет — так ведь говорится в Венском документе, подписанном Правительством.

И слава богу. Через трагический зигзаг, стоивший народу многомиллионных жертв, страна наконец-то с трудом выбирается из ухабов и колдобин на дорогу, по которой движется человечество.

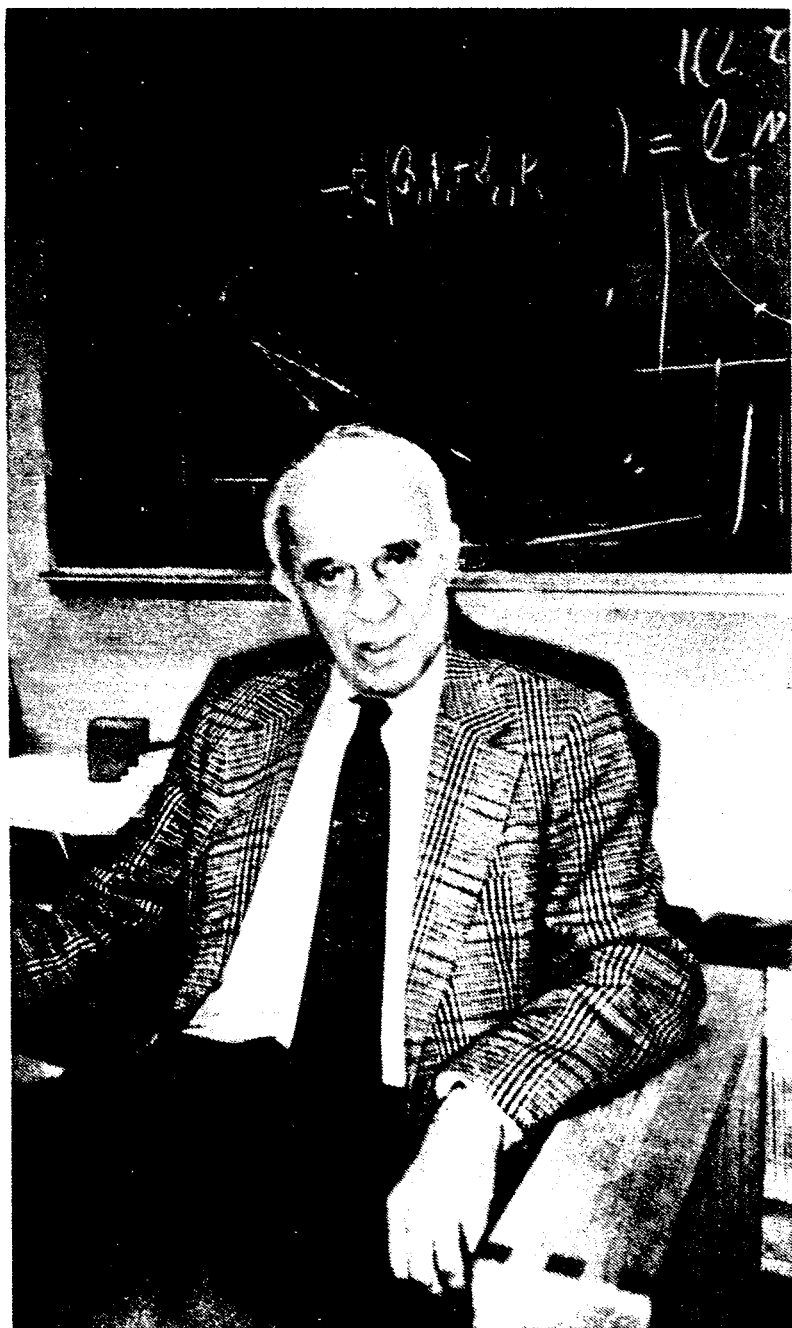
В своей работе мы не стремились поспешать за событиями.

Мы хотели рассказать только о тех, с кем знакомы, с кем жили рядом, сталкивались на улицах. Со многими из них мы продолжаем поддерживать отношения и сейчас. Некоторые стали нашими близкими друзьями.

О них, наших соотечественниках, эта книга.



**ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МОТИКАН**



В один из холодных зимних дней без снега, каких в Нью-Йорке много, когда ветер с океана сбивает с ног, мы собираемся в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, расположенную на перекрестке 5-й авеню и 42-й улицы. Весь день от ветра пошатывало небоскреб, в котором мы живем. Кажется, ветер раскачивает даже автобусы, не только мотает деревья на крышах, по которым, выглянув в окно, легко определить погоду.

Вот и знаменитые львы, оберегающие с двух сторон торжественную лестницу библиотеки, на ступенях которой отдыхают и приезжие и жители города, тем более что по незапамятной традиции по углам лестницы обычно играют оркестры, собирая вознаграждение.

19

Сегодня на лестнице никого. Холодно, неуютно. Поднимаемся по ступеням, входим в гулкий, отделанный темным камнем холл. Мир перестает пошатываться. Здание старое, могучее, построенное в XIX веке. Мы идем на прием, посвященный памяти основателя славянского отдела библиотеки. Событие не такое уж великое в жизни огромного разнородного города. Но почему так много народу в раздевалке? Заняли очередь. Увидели впереди давнюю знакомую, дочь Джорджа Кеннана — Грейс Кеннан-Уорнке. Грейс в годы войны, когда ее отец работал в американском посольстве в СССР, жила в Москве, училась в московской школе, в детстве мы ходили с ней по одним переулкам, только разошлись во времени. Она любит Арбат, вспоминает свою школу.

Мы отходим от своего места вперед, поздороваться с Грейс. И тут же получаем в спины, по-русски:

— Ну вот, начинается!

— А что такое? — оборачиваемся мы.

— Ничего, — бурчит себе под нос невысокий, сухоощавый, темноглазый старик. Из вредных, думаем мы, типичный московский скандалист, и продолжаем разговаривать с Грейс.

— Там, где собираются русские, там вечно очереди и беспорядок.

Грейс смущается.

*Лауреат Нобелевской премии
профессор Василий Васильевич
Леонтьев.*

— Так вот всегда,— продолжает свое старик. Глаза у него быстрые, молодые, очень цепкие. Он внимательно нас изучает. Обоих. Чего-то для себя не поняв, отворачивается.

Прием на втором этаже, в славянском отделении. Перед входом в зал стол, на котором раздают наклейки с нашими именами. Ходим, знакомимся, сталкиваемся с темноглазым стариком, призывавшим к порядку. С любопытством читаем имя: «Василий Леонтьев».

— Вы тот самый Леонтьев?

— Ну...

— Экономист, знаменитый...

— Насчет этого не знаю, может, есть другой Леонтьев.

— Нобелевский лауреат, по экономике...

20 — Ну я. А вы кто?

Мы представляемся. И тут старик из очереди внезапно преображается. Нет, он не становится дружелюбно улыбкающим, вовсе нет. Он все так же сосредоточенно насуплен. Он решительно берет нас обоих под руки и отводит в сторону от вращающейся толпы — набирающего скорость приема.

— Рад,— говорит он,— очень рад.— Пауза. Чему он рад, не нам же в конце концов? Нет, не нам.— В России происходят чрезвычайной важности события,— сообщает он.— Чрезвычайной.

Мы что-то бормочем, еще не оправившись от смущения: не каждый день встречаешь Нобелевского лауреата, да к тому же соотечественника.

— Гласность и демократизация — это хорошо, но это норма, не правда ли? — Он сурово глядит на нас, ожидая ответа. Мы молчим.— Экономика — вот что сейчас главное.

На нас смотрят со всех сторон и, прямо скажем, разными глазами. Русских разных возрастов и поколений здесь много. Советские — только мы.

Доволен нашим появлением директор библиотеки — реклама. Довольны его помощники, доволен сотрудник славянского отдела, американец: «Приятно видеть постоянных читателей»,— говорит он. А есть и недовольные: ходят за нами, прислушиваются, подслушивают, можно сказать. Мутных людей с хорошим русским языком в Америке много.

Василий Васильевич чувствует обстановку:

— Давайте походим по библиотеке, покажу вам книги.

Мы идем вдоль узких книжных стеллажей. Чего на них

только нет! Много редких дореволюционных изданий, много советских книг.

— Самое главное — раскрутить экономику, — говорит Леонтьев, возвращаясь к своим мыслям. — Вы знаете, в лекциях студентам я часто использую такой образ — руль и паруса. Чтобы яхта шла быстро и туда, куда нужно, требуется и то и другое. Так и с экономикой. Руль — это государственное регулирование. Паруса — личная инициатива людей, их заинтересованность. Сейчас у вас очень мощный руль, а паруса пообмякли. Наполните их ветром инициативы и заинтересованности — и все заработает, закрутится. Ведь страна такая богатая! А люди какие! Грамотные, смекалистые.

Мы возвращаемся в зал. Джордж Кеннан держит речь о русской литературе, ему за восемьдесят, патриарху 21 американских советологов, историку, дипломату, знающему нашу страну не понаслышке.

— Я был студентом и часами просиживал в этих залах. Здесь всегда было шумно, здесь не просто читали, здесь шли постоянные споры. Большевики, меньшевики, эсеры, бундовцы — кого я здесь только не видел! Накал страстей был так велик, что эсеры не садились за один стол с меньшевиками, а прибывшие позднее эмигранты из тех, кто уехал из революционной России, избегали тех и других. А я, совсем тогда юный, слушал их разговоры, с благоговением вдыхал воздух мудрых книг и время от времени, глядя на портрет на стене, встречал взгляд своего знаменитого дяди Джорджа Кеннана, и взгляд его как бы говорил мне: «Ну что ты можешь понять в России. Проехал ли ты тысячи миль по ее бескрайним просторам, где на собачьих упряжках, где на повозках, запряженных лошадьми, видел ли ты столько русских людей, как я, говорил ли ты с ними, как я?»

Дядя укорял и подбадривал, споры русских и мешали и помогали работе. И всех нас, таких разных, что-то объединяло, над всеми нами витал дух великой русской культуры, глубокой, трагической, гуманной. Я прошу вас, обратился Кеннан к работникам библиотеки, при ваших очередных уборках не мойте окна слишком уж тщательно, пусть сохраняется в этих залах полумрак святилища... И не сдувайте слишком уж старательно пыль с книг — пусть для тех, кто приходит сюда, эти великие русские книги, так же как для меня, дышат историей.

...Лауреат Нобелевской премии во время речи Джорджа Кеннана думал о чем-то своем.

Кончились речи, он снова подошел к нам:

— Я все думаю, как подключить американских финансистов и бизнесменов к сотрудничеству с Россией, тех из них, кто хорошо и разумно смотрит на мир. Я хочу помочь своей Родине, буду стараться, у меня есть друзья в деловом мире.

— Мы еще увидимся? — спросили мы. — Хотелось бы поговорить.

— Милости просим в Нью-Йоркский университет. Я живу возле Вашингтон-сквера, окна на сквер, вам будет интересно взглянуть. Звоните в любое время. Жду!

2

22 Корпуса Нью-Йоркского университета тянутся на добрый десяток кварталов. Начиная с 12-й улицы и перекрестка Бродвея на уровне вторых этажей развеваются на ветру голубоватые огромные флаги с двумя белыми буквами — «NY». Красноватые кирпичные здания возникают то там, то тут приблизительно до 3-й улицы, занимая изрядный кусок района Гринвич-виллидж. Издавна здесь жила богема, писатели, художники, переместившиеся сейчас в соседний район, Сохо. Гринвич-виллидж все больше становится комфортабельным, очень дорогим и благопристойным районом. Здесь-то, в самом сердце его расположен Институт экономических исследований при Нью-Йоркском университете, возглавляемый Василием Васильевичем Леонтьевым. Здесь же неподалеку он и живет в большом старом доме, немного похожем на наши сталинские небоскребы: такие же затейливые лепные завитушки наверху, то ли вазы, то ли башенки.

Если не знать жизни Леонтьева, все покажется просто: дом — институт, всего пять минут ходу через всегда гремящий уличными оркестрами Вашингтон-сквер с его фонтаном, вечной толпой, длинными скамейками, на которых часами засиживаются заезжие зеваки. Вашингтон-сквер — Мерсер-стрит, размеренная профессорская жизнь: на работу и обратно домой, лекции, консультации, вечерние прогулки по одному из самых приятных районов Нью-Йорка.

Но эта, такая очевидная и естественная в возрасте Леонтьева схема (а ему за восемьдесят) тотчас же рушится, едва хоть немного соприкасаешься с ритмом его жизни. Оказывается, профессора Леонтьева трудно застать не просто в институте — в стране. То он в Италии, то

в Англии, то в Японии. Каждый день, каждая неделя расписаны заранее — на годы вперед. Но наконец мы его настигаем, и, к нашему удивлению, он тут же назначает встречу: «А можете подъехать через полчаса?»

Узкая уютная улица Мерсер, темный, кажущийся закопченным дом постройки начала века, стеклянный подъезд, второй этаж. По коридору бродят студенты. Мы давно привыкли к тому, что научные институты в Америке часто небольшие. Но тут — отгороженный стеной кусок коридора и несколько комнат. Институт — это сам Леонтьев и его идеи. И еще несколько сотрудников. Этого вполне достаточно, больше, видимо, и не нужно.

...Нобелевский лауреат сидел в своем просторном кабинете у краешка длинного стола, маленький, какой-то скособочившийся, как случайный гость, а не хозяин. Он 23 поднял лицо, худощавое, загорелое, немолодое. Мы едва возникли на пороге, а он уже спрашивал:

— Какие последние новости? Как дела в Советском Союзе? Вы ведь больше знаете. Садитесь-садитесь, рассказывайте. Хотя у меня есть план: пойдете-ка лучше на ланч, посидим в кафе, это будет приятнее!

Мы едва успеваем оглядеть его кабинет. Таблицы, таблицы. Стена из книжных стеллажей. Фотография под стеклом: солдат-китаец сидит под аркой Великой китайской стены, глядит в открывающиеся запретные дали, в руках у него авоська с яблоками.

— Это я фотографировал,— говорит Леонтьев.

— Это не фотография, а метафора.

— Да, удачно получилось,— соглашается он.

Мы показываем на таблицы:

— Как вам удалось разработать этот метод, можно сказать, еще до компьютеров?

— Повезло, конечно. Хотя всегда везет тому, у кого голова на плечах. Еще очень молодым я догадался: для того чтобы понять, как работает экономическая система, надо иметь и громадное количество информации, и хороший метод ее анализа. Я всегда интересовался теорией. Но меня всегда волновали факты. Я стал составлять таблицу по методу «инпут — аутпут», когда учился в Германии.

...Если заглянуть в нашу экономическую энциклопедию, там написано просто: американский экономист, родился в Петербурге (1906 г.), окончил Ленинградский университет (1925 г.), учился в Берлине (1925—1928 гг.). В 1931 году эмигрировал в США, где преподавал в

Гарвардском университете. С 1948 года — директор службы экономических исследований. По контрактам с правительственными организациями выполнил ряд работ по прогнозированию экономики. Автор метода экономического исследования «затраты — выпуск». Лауреат Нобелевской премии (1973 г.).

Как и подобает справочнику, все изложено коротко и бесстрастно. Но вчитываемся в цифры. В девятнадцать лет Леонтьев оказывается за пределами Родины. В 1973 году получает Нобелевскую премию. Основы идей, за которые он ее удостоен, заложены в его работах 40 — 50-х годов.

24 Это было во многом поворотное время, когда капиталистические страны оправлялись от разрушительных последствий великого кризиса, когда им пришлось задуматься еще над одной проблемой: как перевести экономику с военных рельсов на мирные. Капитализм переживал период реформ. Принесший Леонтьеву всемирную известность метод экономического анализа «затраты — выпуск» («инпут — аутпут») позволял устанавливать четкие количественные взаимоотношения между валовым общественным продуктом, национальным доходом, развитием различных отраслей экономики. В стихийную рыночную экономику Запада метод Леонтьева вносил элементы прогнозирования и программирования.

Леонтьев стал вычерчивать свои знаменитые таблицы. Он построил их на анализе огромного объема информации. В докомпьютерную эпоху он стал делать то, что как бы предвосхищало появление ЭВМ, в своих изысканиях непосредственно опираясь на практический опыт планирования, накопленный в СССР в 20-е годы, на теоретические изыскания советских экономистов тех лет.

Представление о мире как едином, взаимозависимом, неделимом — один из главных постулатов нового политического мышления. Но разве взаимосвязь и взаимозависимость возникли только сейчас? Они существовали и прежде. История открытия Леонтьева — это, если разобраться, рассказ о том, как капитализм учился у социализма, заимствовал то, что можно было, видоизменив, применить к своим нуждам.

...Мы сидим в кафе «Свенсенс», расположенном через дом от института Леонтьева. «Свенсенс» по всей стране торгует мороженым, но, борясь с конкурентами, с недавних пор предлагает своим поклонникам к тому же обеды

или, если считать по американским меркам, завтраки. Рассказываем о перестройке, расспрашиваем о его судьбе. Почему так случилось, что девятнадцатилетним мальчиком Леонтьев уехал за границу и вернулся на Родину только в конце 50-х годов в качестве именитого иностранного гостя?

— Вообще-то еще в университете я понял, что не смогу работать в Петрограде научно.

— Но ведь вы поступили в университет очень рано, когда вам было пятнадцать лет. Вы были вундеркиндом, да?

— Каким вундеркиндом, ничего особенного. Но уже тогда, когда я был мальчишкой, у меня начались трудности.

— В такие юные годы — трудности?

25

— Характер. Я всегда говорю свободно. И меня за это часто сажали в тюрьму. Но всегда выпускали,— говорит он с удовольствием.

— А за что вас сажали? За что-то конкретное?

— Да, всегда за конкретное. Высказывал недопустимые мнения. У меня было много друзей-коммунистов. Но это дела не меняло. Хотя у меня с ними были хорошие отношения, меня сажали. То на несколько дней посадят, то на месяц.

— И так несколько раз?

— Конечно. Но я никогда не злился. Знаете ли, посадят, выпустят. Потом опять посадят. Почти всегда на праздники, особенно на пасху.

— Зачем?

— А чтоб хорошо себя вел. Это было очень горько для моих родителей.

— И все-таки за что вас сажали?

— Я протестовал против того, что профессорам не давали говорить то, что они хотели. Вообще-то ничего особенного, типичный студенческий протест. И я не злился, но поражался: за что? А они считали, что я выхожу за пределы приличного. Это все на Гороховой происходило. И у меня там были очень интересные разговоры, может быть, из самых интересных в моей жизни.

— С кем? — не сразу поняли мы.

— С моими судьями. На Гороховой в то время работало много интеллигентных людей. У меня были с ними большие споры. О философии, о Марксе, Гегеле. А потом запретили мою статью. Журнал Академии наук принял, а цензор запретил.

— Когда же это было?

— Вероятно, 1924 или 25-й, не помню точно. Статья экономико-философская, тоже ничего особенного. Я понял, что надо ехать учиться дальше за границу, к тому времени я уже окончил университет, меня взяли в аспирантуру. Но паспорт заграничный мне, конечно, не давали. И тут мне в некотором смысле повезло. Вот посмотрите!

На правой щеке Леонтьева большой шрам и впадина. Может быть, асимметрия лица и придает ему всегда вопрошающее выражение?

— В молодости у меня было что-то неправильно с челюстью. Врачи определили, что у меня рак. Меня оперировали. Замечательный хирург. Отрезал у меня конец челюсти и вложил вместо нее часть моего ребра. Громад-
26 ная операция, часов пять. По тем временам блестящая. Военный хирург, императорский. Ну и дали мне паспорт, чтоб я уезжал умирать...

— И вы думали, что умирать?

— Конечно,— отвечает Леонтьев очень спокойно.— Это был 1925 год, я поехал в Германию и начал учиться. Хотел получить докторат. В молодости не веришь в смерть.

Покончив к этому времени с супом, мы едим горячий хамбургер (бутерброд) с жареной картошкой. Вокруг гомонит молодежь, в основном парочки, едят мороженое, запивают кока-колой или пепси со льдом. А за окном хлещет дождь, он с утра еще накрапывал, а сейчас начался просто потоп. Стало холодно. Но американцы народ закаленный, и мороженое, и напитки со льдом они пьют и едят и в жару, и в несусветный холод. Студенты воркуют о своем, иногда раздаются взрывы хохота. А мы вспоминаем давно минувшее и до сих пор не зажившее. Но, как кажется нам порой, не зажившее скорее для нас, заново открывающих свою историю, чем для непосредственных участников тогдашних событий.

— Вы только легче, легче, если будете обо мне писать,— просит Леонтьев,— я ведь действительно никогда не злился. И я не эмигрант, я уехал учиться.

— Но на какие деньги вы учились?

— Сам себя обеспечивал, правительство мне не помогало. Я был тогда очень-очень бедный. Писал заметки для советского экономического журнала. Он выходил в Берлине. Не теоретические, а чисто деловые статьи. Это был деловой журнал. Получил я докторат, и меня сделали научным сотрудником.

— Где все это происходило?

— В Киле. Там большой институт по экономическим проблемам.

— И все это время вы жили с советским паспортом? — продолжаем допытываться мы, пытаясь понять, как же это происходило в те годы — лишение гражданства?

— Да, сначала был советский паспорт, потом мне выдали какую-то бумагу с печатью. И с ней я уехал в Китай.

— Но каким образом?

— Меня пригласило китайское правительство.

— Но вам же было всего двадцать три года, каким образом китайцы о вас узнали?

— Все очень просто. В Германии длинные перерывы на обед. Часа два. Обычно сотрудники института ходили 27 обедать в кафе, сидели за столиками и обсуждали мировые проблемы. Около нас всякий раз сидело несколько китайцев, они присоединялись к общему разговору. И в один прекрасный день раздался звонок от китайского посла: наше правительство приглашает вас приехать советником. Годовой контракт.

— А что делать?

— Вот я тоже спросил: что делать? Оказалось, консультировать с экономической точки зрения строительство железных дорог. Так я на год стал советником министра железных дорог Китая. Им был сын Сунь Ят-сена. В молодости хочется посмотреть мир. Я выбрал самый медленный путь. Сел на японский пароход в Марселе, он вез и грузы, и пассажиров. И везде останавливался. И в Египте, и в Сингапуре. Так я впервые познакомился с миром. Проработал год. С тех пор у меня связи с Китаем. И при Мао там был, и при новом правительстве был, поездил по тем железным дорогам, которые когда-то планировал... Через год так же медленно возвратился в Германию, в тот же институт. И тут меня пригласили в Америку. Я прожил шесть месяцев в Нью-Йорке, потом переехал в Гарвард, где и работал с 1932 года по 75-й. В 1959 году я впервые возвратился на Родину. Был такой замечательный ученый Немчинов, он меня и пригласил. Знаете, мне кажется, с большим риском для себя. С тех пор и приезжаю каждые три-четыре года. В 70-е годы я много работал в Комитете по культурным связям с советскими учеными. Тогда я хорошо познакомился с академиком Иноземцевым, он часто приезжал сюда, мы гуляли вот здесь, ну вы знаете, по Вашингтон-скверу, и думали

вместе, как помочь России, что делать с экономической точки зрения.

— А было уже достаточно ясно, что с экономикой неблагополучно, что надо срочно принимать какие-то меры?

— Ну он же советский человек, я никогда ничего прямо ему не говорил, знаете, как это, я не толкал его... Он и сам все понимал. Я был знаком, можно сказать, дружен с академиком Петром Капицей, всегда, когда приезжал в Москву, бывал у него на обедах. Он собирал много гостей, среди них бывали и протестующие люди. Да-да, ну не знаю, диссиденты ли, но люди с протестом. Мы всегда много разговаривали. Однажды кто-то сказал: а почему бы Леонтьеву не выступить по советскому теле-
28 видению? И я выступал. И не было никакой цензуры. Это было для меня потрясающее событие — говорить с русским народом. А главное — после этого я начал получать массу писем из Советского Союза. Это было очень интересно.

— Ну а наши нынешние события? Как вы к ним относитесь?

— Вы же знаете, я об этом много говорил, о моем отношении писали советские газеты. Перемены в стране носят поистине революционный характер, но надо что-то срочно делать. Положение в экономике остается неблагополучным. И жизнь людей очень трудная. Главное, что в течение десятилетий не работали экономические стимулы. Фактор заинтересованности — вот что сейчас очень важно. Мало одного энтузиазма. Об этом хорошо знал Ленин, когда вводил нэп. Надо задействовать рыночные механизмы. Хорошо или плохо работает человек или предприятие, должен решать не Иван Иванович или Петр Петрович, а рынок — посредством образования цен.

Василий Васильевич увлекся, разговорился, подходил официант и все подливал и подливал кофе — разговор продолжался, теперь уже на профессиональные для Леонтьева темы.

— Советский Союз и США как бы два противоположных конца радуги. Есть страны между ними. Они используют и рыночный механизм и государственное регулирование. Из всех стран, у которых можно поучиться, я бы выбрал Японию. Японское правительство играет большую роль в экономической жизни страны, широко пользуется экономическими расчетами. Система цен — вот что очень важно. Сейчас цены в СССР часто не соот-

ветствуют издержкам производства. Без перехода к обобщенной системе цен не обойтись. Но это надо делать так осторожно... Иначе не избежать социального хаоса. Я бы сказал, это похоже на спуск с крутой горы. Без тормозов никак не обойтись. Вообще проблем много. Есть еще одно — горькое — сравнение. Знаете, пингвины. Попробуй научи их летать, если они последний раз летали миллионы лет назад. Надо учиться летать! А тут еще люди, которые противятся перестройке. Это не только те, кто уселся в удобных креслах. Упрощать не надо. А население? Подумайте, любой нормальный человек и хочет перемен и побаивается их: все привыкли к гарантированной работе, к постоянной зарплате, к социальному обеспечению. А тут... совершенно новая жизнь. И еще проблема цинизма... Цинизма я тоже опасюсь, особенно у молодых 29 людей. Они мало во что верят, тем более что материальные плоды перестройки созревают медленно. Потребуются годы, чтобы жизненный уровень народа начал повышаться. Ждать всегда трудно.

— А как, по-вашему, сколько придется ждать?

— Ну лет пять-шесть, не меньше. Это при том, чтобы не спать, а работать. Но я верю в гласность, верю в роль интеллигенции. Интеллигенция в России всегда играла особую роль, была духовным наставником нации. Кто в Америке главный герой? Удачливый бизнесмен. А в России? И в советской, и в старой, дореволюционной? Писатель, ученый, инженер, доктор. Я думаю, интеллигенции удастся убедить народ, особенно молодежь. Я ведь не специалист по Советскому Союзу, это всего лишь мое объяснение того, что происходит.

— Василий Васильевич, вы занимаетесь вопросами будущего мировой экономики. Как вы представляете себе в этом будущем место человека?

— Просто говоря, люди будут работать все меньше и меньше. В XIX веке паровая машина освободила большое количество физического труда человека. Теперь налицо новый рывок вперед. При разумных условиях он должен сделать жизнь человека легче. Когда я хочу пошутить, я говорю: «В раю Адам и Ева жили без работы очень неплохо. Потом они согрешили, за что были изгнаны. Их заставили работать по восемьдесят — сто часов в неделю. Все развитие человечества состоит в том, чтобы вернуть человека в рай, где он будет работать столько, сколько ему хочется, где он будет заниматься только тем, что ему по душе».

Уже в начале второй мировой войны официальная рабочая неделя в США составляла сорок два часа. Сейчас сорок часов. И так будет продолжаться. Но тут, конечно, большой вопрос. Если машина может заменить человека, то зачем предпринимателю люди? Ведь машины не требуют зарплаты и не бастуют. Но массовая безработица грозит серьезными социальными последствиями. И тут свою роль должно сыграть государство. Потому что если оставить это механизму конкуренции, то он выбросит рабочих из системы, как тракторы выбросили лошадей. Но если бы лошади могли голосовать, то дело бы обстояло иначе. К счастью, люди могут голосовать.

Помните, я говорил, что советская и американская системы — это как бы противоположные концы радуги.

30 Я надеюсь, что в итоге реформ в Советском Союзе сложится такая система, которая сохранит в себе внимание к человеческим нуждам. Высокая производительность труда очень нужна, но то, как продукт распределяется, социальная справедливость, это тоже очень важно.

...Заканчивается наш завтрак, мы прощаемся. Леонтьев приглашает в гости к себе на дачу, в Коннектикут.

— Вот бы где мы могли спокойно поговорить! А здесь... Одни обязательства, да к тому же через день улетаю в Японию.

— А как вы переносите бесконечные перелеты? И еще разница во времени?

— Я? — он улыбается. — Просто не замечаю. Привык. А что делать? Выхода нет. Ну до встречи в Коннектикуте.

3

В Коннектикут мы так и не собрались: наша командировка пришла к концу. В следующий раз я приехала в Нью-Йорк одна и, о совпадение, жила на той самой улице Мерсер, на которой расположен институт Леонтьева. Я позвонила. Леонтьев был за границей. Мы встретились с его женой Эстелл, с которой были знакомы. Пешком через сквер, в знакомый дом. Жена Леонтьева — молодая, стройная женщина, поэтесса, музыкантша. Мы почему-то сразу заговорили об Ахматовой, о том, как готовился сборник ее поэзии на двух языках. В издательском проекте, как здесь принято называть, принимали участие и Леонтьевы.

В гостиной черные кожаные диваны, рояль, музыкальная система, масса пластинок. На стенах хорошая живопись. И рисунок мальчика. Знакомая манера.

— Это Петров-Водкин, — говорит Эстелл.

— А мальчик похож на Василия Васильевича.

— А это он и есть, когда ему было десять лет. Петров-Водкин рисовал его еще до революции. Мать сохранила. Вы знаете историю его родителей?

Да, историю родителей я знаю, я уже давно прочитала книгу Эстелл Леонтьевой, вышедшую на английском языке, «Женя и Василий». Вот откуда, вспоминаю я, мне знаком мальчик на стене! На обложке книги фотография: отец Леонтьева, мать, мальчик с длинной челкой на руках у отца. Я читала эту книгу давно, и — я не могу сейчас признаться в этом ее автору — у меня осталось от нее 31 тягостное впечатление.

История родителей Леонтьева — это история двух русских интеллигентов, попавших в мясорубку 37-го и уцелевших.

Отец его был профессором экономики в Ленинграде, потом работал в советском торгпредстве в Берлине. Когда его отзывали обратно, он не вернулся, остался с женой в Германии, и, поскольку был человеком совсем не политическим, его не разыскивали и не трогали. В 1939 году, когда жить в Европе становилось опасно, сын выписал родителей в Америку.

С этого момента и начинает Эстелл Леонтьева свою книгу, посвященную, по существу, людям русской культуры и русских привычек, вынужденно оказавшимся на чужом берегу. Книга написана американкой, может быть, поэтому она особенно интересна. Все, что составляет повседневный стиль жизни в России (во всяком случае, так было до недавнего времени): сосуществование под одной крышей разных поколений; приверженность к праздникам: семейным, религиозным, государственным — любым; отношения родителей к детям, которые так и не становятся самостоятельными в глазах родителей до седых волос, — все кажется странным и начинает постепенно раздражать молодую американскую жену молодого русского профессора из Гарварда. А родители между тем не могут найти себе места в новой для них цивилизации.

Оба — люди из России, оба из Европы, с ее старыми традициями. Они и познакомились в начале века в Париже, где вместе учились, он — сын богатого купца-старообряд-

ца из Петербурга, и она, приехавшая из Одессы, дочь бедных родителей еврейского происхождения, выросшая в семье с социал-демократическим уклоном. Любовь была мгновенной и, как оказалось, на всю жизнь, брак — бомбой для обеих ортодоксальных семей. Мать Леонтьева при замужестве приняла христианство, стала глубоко верующим человеком. Она была очень активна — со своими взглядами на живопись, музыку, литературу. Духовными интересами — только этим и жила семья. И оба не смогли найти себе работу в США, хотя обладали незаурядными и полезными знаниями. Возраст? Обоим было за пятьдесят, когда они оказались в Америке. Вряд ли только возраст. Неумение преподнести свои знания, узко специализировать их, приспособить на американский лад. Кстати, общая беда многих одаренных эмигрантов. И при этой беспомощности, душевной распахнутости, неумелости — стремление жить одним домом с сыном. (Как у Толстого семья Ростовых, пишет Эстелл Леонтьева.) Жить вместе... вещь редкая, нежелательная и уж, во всяком случае, необязательная для американцев.

Эстелл Леонтьева описывает эмигрантские будни своих русских родственников детально, откровенно, очень искренне, не приукрашивая ни их характеры, довольно непростые, ни свой собственный. Единственный человек, который в мемуарах практически не присутствует, — это ее муж, сам Василий Васильевич Леонтьев. Становится ясно: как мог, он пытался смягчить родителям удары непонятной для них жизни; ясно и то, что отец и мать были ему близки, они часами разговаривали о чем-то своем по-русски.

Дождались родители и первой поездки сына на Родину, в Советский Союз, его рассказов о Ленинграде, о встрече с сестрой матери Любой, отсидевшей десять лет в Сибири, с двоюродными братьями отца, чья судьба сложилась более спокойно.

Каков обычно замысел у мемуариста, кроме дани памяти умершим? На мой взгляд, Эстелл Леонтьева написала воспоминания, имеющие более широкий и печальный смысл.

Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, я снова заглянула в ее книгу, посмотрела фотографии, еще раз перечитала отмеченные прежде места. И простая, почти детская мысль снова и снова не покидает меня. Ну почему? Почему XX век обошелся нашей стране так тяжело, такими огромными потерями? Почему оба Леонтьевых должны

были оказаться в Америке? Почему старшему не дано было преподавать экономику в Ленинграде, что он и делал в 20-е годы? Младшему — планировать ту же экономику, открывать свои, известные теперь всему миру законы, применяя их на практике в народном хозяйстве? Почему? Ответ прост и давно всем известен. Но это все равно не утешает. И в памяти невольно всплывает все тот же хорошо знакомый (теперь!) ряд — Ипатьев и его музей в Стэнфорде, Гамов, фотография Зворыкина с кинескопом в руке, фигура Сикорского на фоне вертолета. Вот уже и мемориальные доски начали ставить, как поставили на доме Сикорского, и приглашается из Америки в Киев его родня...

А я невольно вспоминаю сказанные Леонтьевым слова: «Знаете, свое открытие я мог бы сделать, пожалуй, только в Америке, я имею в виду то огромное количество экономической информации, которая мне предоставлялась во время работы». А ведь основы этой работы были заложены в Петрограде в беспокойные послереволюционные годы: и основы знаний, и основы тех фундаментальных идей, которые Леонтьев впоследствии развивал. Даже в архивах коммерц-коллегии он успел поработать, изучая в подлинниках указы Петра Первого, ища закономерности в экономической политике грозного реформатора.

Все основы успехов Леонтьева были заложены в России. Прошли десятилетия. Давно умерли его неприкажные, так и не приспособившиеся к «стране без традиций» родители. Еще при их жизни сын стал всемирно известным экономистом. Последний из русских могикан большой мировой науки...

Пока ни методы Леонтьева, ни его советы у нас в стране не используются. С одной стороны, может быть, рано, с другой — раздаются голоса: дескать, нечего нам слушать советы заезжих американских экономистов. В который раз все то же закоренелое пренебрежение, но в момент для страны настолько решающий, что пренебрегать добродетельными дельными советами вряд ли стоит.

...Мы сидели с Эстелл в гостиной, вспоминали прошлое. Мне захотелось посмотреть коллекцию пластинок. Среди классики я обнаружила много дисков с русскими и советскими песнями.

— Из каждой поездки в Советский Союз привозит, — сказала Эстелл. — Очень любит русские песни. Знаете, когда сидит дома, ставит русские пластинки.

— Работает под музыку?

— Да, под русские песни.

Она подошла к роялю, заиграла знакомую мелодию, странно прозвучавшую в большой пустой квартире, за окнами которой шумел Вашингтон-сквер: «Ты меня провожала к откосу... Руку жала, провожала...» Эстелл запела по-русски: «Провожала, провожала».

Она пропела песню до конца, помолчала, потом сказала:

— Мы всегда поем эту песню вместе, хором...

**ПУТЕШЕСТВИЕ
В ФОРТ-РОСС**





Сколько лет смотрел я на карту Западного побережья Америки, находил написанное мелкими зелеными буквами название — Форт-Росс. И синий изгиб рядом — Рашен Ривер, Русская река. Как хотелось попасть в старинный русский форт и как это казалось несбыточным: округ Сонома закрыт для советских дипломатов и журналистов, работающих в США. Раз закрыт, значит, не пустят. Но однажды я все-таки решился и попросил исключения у Государственного департамента. Тем более что была хорошая причина — годовщина закладки старой русской крепости. И, к моему удивлению, разрешение дали.

И вот я стою на бугристом, волнующемся выгоревшим 37
ковылем поле, читаю надпись на железной табличке: «Здесь находилось русское кладбище. Здесь похоронены пятьдесят человек, основавших Форт-Росс и живших в нем». Впереди огромный, почерневший от дождей и снега деревянный крест, за ним, пониже по склону, тесовые стены крепости, конусообразная башенка часовни с крестом на ней, а дальше — сверкающий в полуденном солнце океан.

Кладбище... Но ни надгробных памятников, ни крестов, и нельзя прочесть имена моих соотечественников. Время сделало свое дело: кресты разрушились, сгнили. Осталось только это волнующееся золотистым шелком поле да бугры. Бугры, под которыми лежат русские люди.

Как-то забывается порой, что Аляска принадлежала России, что было русское поселение и в Калифорнии и основали его еще тогда, когда сюда не дошли американцы. Они еще катили в своих фургонах по прериям Среднего Запада. В Калифорнии тогда властвовали испанцы и жили русские.

Подумать только, доплыли, дотопали до самой Калифорнии! В музее Форт-Росса есть карта мира. На ней помечены два маршрута. Один из Петербурга вокруг Европы проливом между Австралией и Малайзией на наш Дальний Восток, на Камчатку, а оттуда в Западное полу-

*Профессор
Николай Иванович Рокитянский
с флагом
Русско-Американской кампании.*

шарие на Аляску, а с Аляски, южнее, в Калифорнию. Другой — вокруг Южной Америки через Тихий океан сначала туда же, на Камчатку, а потом в Северную Америку. Даже сейчас это серьезное путешествие, а во времена небольших парусных судов да конной тяги? Это был гигантский поход, продолжавшийся месяцы, нередко и годы.

Да, смелости, предприимчивости, стойкости русским людям было не занимать. И мастера они были отличные. Когда испанцам нужно было что-то починить, выковать, сделать, они обращались к русским в Форт-Росс и относились к ним с почтением, потому что кроме умения строить, мастерить у русских была немалая по тем временам сила — несколько сотен кремневых ружей, пушки и много бочек пороха.

38 Сталкиваясь с живой историей, удивляешься чаще всего не чему-то общему, а деталям. Так вот и Форт-Росс. Меня поразило и взволновало там несколько вещей. В доме последнего коменданта форта — Ротчева (из всех сооружений в первоначальном виде более или менее сохранился только этот дом) я обратил внимание на стены, вернее, мои спутники указали на них: «Вот видите эту побелку, а пониже голубую краску — это с тех времен, когда здесь жил Ротчев». Краска хоть и облупилась кое-где, но была тут, на тесовых досках и бревнах, непонятным, но волнующим образом соединяя с людьми, которые жили в этих стенах полтора века назад.

Еще одна деталь: в комнатах дома Ротчева лежали большие, крупные в квадратном сечении чурбаки с пазами и выступами — остатки первоначальной стены. Поразила чистота работы: выступы точно соответствовали пазам — так соединялись бревна в углу дома. Удивился я еще и потому, что знаю, как сейчас строятся избы с перекрещивающимися бревнами в углу, с выступающими концами, строятся довольно грубо, на глазок. А тут такая чистота работы, как будто все делалось по линейке с точностью до миллиметра. А ведь делалось все это пилой, долотом, топором. Видно, большие умельцы были эти русские люди, что жили когда-то здесь, на тихоокеанском берегу, видели этот беспредельно голубой океан, уходящий к сизовой дымке горизонта, эту накатывающуюся на песок волну, слышали крик чаек.

Они пришли сюда, отодвигая все дальше и дальше восточные границы нашей страны. Это было как бы продолжение походов Ермака, экспедиций Дежнева — расширение русского государства. Форт-Росс возник как база,

необходимая для поддержки русской Америки на Аляске, для того чтобы снабжать продовольствием тот богатый пушниной, но скудный земными плодами край, а заодно — как расширение территории, на которой промышляли русские охотники и работавшие вместе с ними алеуты и индейцы.

Кстати, отношения русских с туземцами были на редкость дружественными и, как мы бы сказали теперь, конструктивными. Алеуты жили вместе с русскими. Тут, в Форт-Россе, их было примерно столько же, сколько и русских. К ним присоединились индейцы. В дружбе с русскими они видели защиту от колонизаторов-испанцев, а может быть, и французов. У многих русских на Аляске жены были алеутки. И сейчас на Аляске живут потомки наших людей — полурусские, полуалеуты.

39

Но, конечно, кроме продовольственных и охотничьих функций форпост России в Калифорнии имел и политическое значение — это был своего рода колышек, забитый в процессе расширения власти русского государства.

Стены из почерневшего теса с заостренным верхом, сторожевые башни на двух углах, в третьем углу тоже деревянная, такая же темно-серая островерхая часовня с крестом, два бревенчатых дома. Высокие стены внушительной по тем временам крепости, из бойниц башен смотрят пушечки, впереди — сверкающий простор океана, с тыла — крутые уступы гор. Форт специально построили так, чтобы с суши к нему невозможно было подобраться с артиллерией, а море и вся гавань хорошо просматривались со стен башен и были в пределах пушечного обстрела.

2

Было заранее договорено, что из Сан-Франциско мы тронемся в путь от моей гостиницы в семь утра, но, как известно, русский человек выше мелочной пунктуальности. Николай Иванович Рокитянский, профессор местного колледжа, прибыл в начале девятого.

От Сан-Франциско до Форт-Росса часа два езды на север. Дорога живописная. Чем ближе Форт-Росс, тем она становится красивее. Сначала пожелтевшие — к июлю здесь уже не остается влаги — холмы. Но на них все равно пасутся коровы и овцы. Потом река, довольно широкая, но обмелевшая к лету, в зеленых, кустистых берегах.

— Славянка, — говорит Николай Иванович, так ее

называют русские.— Ну а американцы — Рашен Ривер, Русская река.

Так мы и ехали до самого Форта по берегу Славянки, которая становилась все шире, приближаясь к океану. Вот он загорелся, сияющий синевой, уходящий далеко к горизонту, накатывающий белые барашки на прибрежные скалы. Берега между тем становились все круче, а дорога все уже. Встречные машины аккуратно разъезжаются. Ошибешься на полметра — и поминай как звали. И бесконечные скалы, островки. На одной такой гряде лежище тюленей. Лежат себе спокойно под солнцем, ноль внимания на двух любопытных мальчишек, которые подошли довольно близко.

40 Подъехали к Форт-Россу. На парковке рядом — столпотворение. Люди, машины, и все это движется к построенному рядом с парковкой музею. Сегодня день особый — «Ливинг хистори дей», день живой истории. К тому же сегодня юбилей — 175 лет со дня закладки форта. Входим в музей. Николай Иванович гордо сообщает, что мы члены Исторического общества. Проходим без очереди и билетов. Тропинка от музея ведет уже к самому Форт-Россу.

Поспели вовремя. Представление уже начиналось. Перед домом Кускова расположилась живописная группа «русских». Одеты они так, как представляет себе русских средний американец: все, как один, бородатые, с мушкетерами, командир в зеленом мундире с шашкой на боку, перед ними начальственная пара. Это, надо полагать, сам основатель Форт-Росса, уроженец города Тотьмы, Кусков и его жена, круглолицая дама в пышном платье и чепце на голове.

— Я вижу чужестранцев! — кричит дозорный с башни. И через ворота во двор форта входит компания «испанцев», как и положено, усатых, с острыми бородками, в широкополых шляпах и расшитых камзолах. Они останавливаются перед встречающими их русскими. Главный парламентар читает по бумаге:

— От имени губернатора Агирро... я должен выразить обеспокоенность появлением русских на наших берегах. Ваше присутствие создает напряженность. Я настоятельно рекомендую оставить нашу землю и вернуться в свои владения.

— Уважаемый посланец губернатора, — отвечает Кусков, — передайте вашему начальству: я не могу выполнить подобную просьбу. Мы пришли сюда с мирными наме-

рениями, мы никому не угрожаем. Если губернатора беспокоит наше присутствие, пусть он обращается к моему правительству в Санкт-Петербург. Мой долг защищать этот форт, и я буду это делать, если возникнет какая-либо угроза.

Геральд испанского губернатора в замешательстве. Видя это, Кусков предлагает:

— Может быть, почтенные гости хотят ознакомиться с нашим фортом, увидеть наших людей?

Посланец губернатора соглашается. Русские моряки-охотники берут ружье к ноге, испанцы обходят караул. Затем начинается веселая, шумная и обязательная для всех американских исторических празднеств стрельба из мушкетов. Русские выстраиваются в шеренгу, берут ружья на изготовку, офицер в зеленом камзоле взмахивает саблей, гремят выстрелы, клубится сизый пороховой дым. Испанцы явно под впечатлением. 41

Но на этом представление не кончается.

— А теперь мы покажем вам, на что способна наша артиллерия, — объявляет офицер. И «испанцы», и все прибывшие на праздник туристы гурьбой идут к распахнутым воротам форта, где установлена нацеленная на побережье пушечка и, опираясь на копьё, стоит картинный «индеец».

Обмакнув в воду пушечный шомпол — подобие поршня, — ствол прочищают от накопившейся пыли, закладывают пороховой заряд, поджигают фитиль, пушечка гремит ко всеобщему восторгу зрителей.

«Ливинг хистори дей» продолжается. Так по сложившейся, но варьируемой в зависимости от сюжета традиции отмечают здесь исторические праздники: День независимости, когда разыгрывается битва англичан и американских повстанцев на Пенсильвания авеню перед ступенями Национального архива в Вашингтоне, годовщины разного рода сражений на тех полях, где они состоялись.

Конечно, можно сказать, что это еще один пример деловитой американской стандартизации, той, что делает неотличимыми друг от друга бензоколонки, закусочные «Макдональдс», полки с продуктами в супермаркетах и в магазинах «Вулворт», где те же самые товары лежат на тех же самых местах, будь то в Нью-Йорке, Вашингтоне или в Чикаго.

Над стандартизацией у нас принято иронизировать: убивает она самобытность, делает все и вся на одно лицо.

Что ж, в этом, конечно, есть свой смысл. Но в стандартизации есть и сильная сторона, идущая от сути нашего века массового производства товаров, массового потребления, достаточно высокого среднemasсового уровня жизни. Стандартизуется то, что удобно, полезно, что облегчает жизнь человека в наш напряженный, быстрый, ведущий отсчет уже не месяцами, не днями, а минута-ми век.

...На этом окруженном темными деревянными стенами дворе мы провели почти целый день. Жарилась на вертеле туша кабанчика, варилась в котлах похлебка, стояли деревянные столы, за которыми под вечер предполагалось устроить грандиозное пиршество.

А перед тем как началась вся эта пальба и гульба, 42 в часовне пел хор. Небольшая тесовая часовня, икона на стене, красный язычок лампадки. Она спускается на цепи с потолка. «Русские ребята» в расшитых косоворотках, подпоясанных поясками с кисточками, исполняли церковные песнопения. Бородачи и с бритыми лицами, лысые и с лохматой шевелюрой, они и впрямь казались русскими, хотя произношение — пели они по-русски — выдавало американцев. Пел хор «Славянка», самодеятельный коллектив энтузиастов русского песнопения. А потом хор переместился в зал коменданта Кускова и лихо грянул: «Калинка-малинка, калинка моя...»

Узнав, что среди посетителей Форт-Росса оказался советский корреспондент, добры молодцы в расшитых русских рубахах радостно меня приветствовали. Какой-то фотограф, видно очень серьезный, поскольку снимал с треножника, расставил весь хор, попросил меня подойти к певцам, и мы все вместе спели «Эх, дороги...».

Странно мне было петь здесь, в маскарадно-праздничной обстановке, эту трагичную, незабываемую песню о войне. Сколько раз я ее слышал по радио, сколько сам пел со своими, среди своих. Пел и до сих пор пою с тоской — в каждой семье свои потери, и наши потери общие, всей страны... Эта песня одна из лучших о войне — наша общая память. А тут вокруг меня стояли веселые, старательные американцы-хористы. И почти никто из них ни слова не понимал по-русски. Их завораживала, очевидно, сама протяжная щемящая мелодия, должно быть, она казалась им выражением «русской души».

Директор хора Поль Эндрус, здоровенный молодой мужчина с русой бородой, и впрямь кажется былинным русаком, правда, из американской постановки. Он рас-

сказал мне, что хор самодеятельный, все певцы где-то работают: один — программист ЭВМ, другой — учитель, третий — аспирант. Почему собрались вместе? А им нравится петь русские песни. Более точно происхождение русского хора в Сан-Франциско объяснить он не смог. А называется хор «Славянка» в честь русской реки. На карточке, которую мне вручил Поль Эндрус, написано так: «Славянка», мужской славянский хор района залива». Центр его в университетском городе Беркли.

...Я стоял и оглядывался вокруг. Форт-Росс. А где же русские? Неужели только мы с Николаем Ивановичем? Нет, оказывается, русские были. Пожилая женщина с седыми волосами. Знакомимся. Елизавета Николаевна Сидорова. Живет в Калифорнии. Дочь русского генерала, внучка губернатора Сибири. Так она, во всяком случае, 43 сказала. «Из России меня увезли маленькой. Сначала были в Ялте, потом — в Стамбуле, там заболела и умерла моя мама. Потом жили в Париже, а затем перебрались в Америку». Недавно Елизавета Николаевна побывала в Москве. Я услышал, как она рассказывала об этом Николаю Ивановичу, жаловалась: все было как-то не так. И в церковь, куда она хотела сходить, вроде бы ее не пустили. В Ленинграде не попала на Кировский балет.

Конечно, «Интурист» работает не ахти как, но резануло ухо, что вот побывала русская впервые у себя на Родине и ничего не увидела, запомнила только мелкие неприятности. Потом Николай Иванович рассказал мне, что она чуть ли не праправнучка Кропоткина.

— Я ей говорю, когда она вернулась из путешествия в Россию: какой позор, в честь вашего предка названа одна из самых старых улиц Москвы, вот чем вы можете гордиться! А вы мне о какой-то чепухе вроде Кировского балета! Подумаешь, балет! Он к нам в Сан-Франциско приезжал.

Когда мы осматривали сторожевую башню, к нам подошла молодая женщина в русском сарафане, в чепце и с хлебом-солью на подносе.

— Это Марина Ильина, — сказал Николай Иванович, — участница нашего исторического комитета, родственница поэта Баратынского.

— Поэт Баратынский был дедушкой моей бабушки, — объяснила Марина.

— Она — учительница, вот только на полставки, постоянной работы найти не может. Хорошо говорит по-русски, любит русский язык, русскую литературу.

— А вот мама по-русски не говорит. Она у меня американка.

Отец Марины — адвокат.

По части русских в Форт-Россе было негусто. И посетители, и исполнители всех ролей были американцы, хотя русских в Сан-Франциско немало. Тысяч восемьдесят в районе залива, говорит Николай Иванович.

Сегодня по случаю праздника он надел голубую, расшитую золотыми лентами рубашку, нечто вроде старорусского одеяния. Высокий, костистый, с прямыми чертами лица, крупным носом, он из той русской породы, которая стала редкой в последние годы. От голода, бед, войн измельчал русский человек.

44 Он стоял у высокого деревянного креста и рассказывал. Очень высокий, слегка сутулый. За ним был Форт-Росс, а дальше сверкал океан. Так я и сфотографировал его.

Николай Иванович Рокитянский — преподаватель русской истории, в основном истории русских в Америке. Он один из тех, на ком и держится Форт-Росс. Сколько сил, души и скромных сбережений отдал он этому делу, восстанавливая разрушившиеся и постаревшие строения. Несколько лет назад сгорела часовня. Он разыскивал ее чертежи и в Америке, и у нас, в московских архивах.

Семидесятилетний Николай Иванович — это тоже история русских землепроходцев, в данном случае тех, кто оказался на чужбине не по своей воле. Родился он на Украине, но детство и отрочество провел в Китае, на КВЖД. Отец его работал там прорабом. В его подчинении было, как вспоминает Николай Иванович, сто двадцать русских и китайцев. А Николай Иванович учился в городе Ходахез в русской советской школе.

— Занимались по советской программе, потому что были советскими гражданами. И должен сказать, в жизни это мне помогло. У меня школьное образование лучше, чем было в те годы у американцев. Нас больше учили химии, физике, математике.

В 1935 году его отец вернулся в Советский Союз. Николай Иванович с матерью — отец и мать были к этому времени разведены — переехали в Америку.

— Это было время «ежовщины», — говорит Николай Иванович. — Написал нам отец несколько писем. Мы ему в ответ. А потом наши письма стали возвращаться к нам обратно. Поразительно, как аккуратно работала почта, — удивляется Николай Иванович, — письма возвращали!

И надпись была: «Адресат по данному адресу не проживает».

Николай Иванович тоже мечтал вернуться домой, в Советский Союз.

— Пришел я к консулу, а было это году в тридцать седьмом. Говорю: хочу вернуться на Родину. А мне: «Сиди, Николай, не рыпайся, визу тебе не дам. Иди учись. Везде можно приносить пользу своей Родине».

Он мыл посуду, работал грузчиком и учился, учился

— Ведь в советской школе в Китае нам говорили: учиться, учиться и учиться, так завещал Ленин. Учиться — это было у меня в крови, — гордо вспоминает Николай Иванович. — Я работал электросварщиком в корабельных доках и одновременно учился в Калифорнийском университете. Началась война, учебу пришлось бросить. Пошел я работать в доки. Советскому Союзу по ленд-лизу предоставляли старые американские суда. Мы приводили их в порядок, оснащали и отправляли в море. Сварщик... Это тяжелая работа и для глаз, и для легких. И тут мне предложили стать переводчиком, доллар двадцать пять центов в час. Я засел штудировать морскую терминологию, выучил больше двух тысяч слов. Помогал я в основном советским капитанам, чуждые были люди. Но особенно мне нравились матросы. А матросы меня боялись, наверное, думали, что я шпион. Но я все равно старался им всячески помочь, я же видел: им интересно, как живут в Америке. Им хотелось поехать на ферму, увидеть, как люди работают, что едят, всякие бытовые детали. Большинство ребят было из крестьян. В Сан-Франциско в это время активно работали комитеты помощи Советскому Союзу, особенно женский. Они собирали посылки, продукты, деньги. И всем нам хотелось помочь морякам. Мы ведь не знали, куда пойдут наши ящики. А вдруг только начальникам и комиссарам, а простому народу ничего не достанется? И я получил разрешение от комитетов покупать все, что хотят матросы, — костюмы, пальто. Я брал с собой в магазин матросов и одевал. Почему-то они все страшно любили пыльники. Я покупал все самое дорогое, хорошее, они благодарили, а потом должны были украдкой проносить вещи на свой корабль, чтоб никто не подумал, что американцы их подкупают.

— Сколько вам тогда было лет?

— Двадцать четыре. А капитанов я всегда возил в рыбный ресторан, в Беркли...

— Это тот, где мы с вами были?

— Да-да, это очень старый ресторан. Капитаны интересовались разными сортами рыбы и просили показать им склады. Идут, бывало, а там целые дома из рефрижераторов, и обсуждают, откуда какая рыба, все сорта знали. Один был капитан корабля «Пищевая индустрия». Он мне как-то говорит: «Вот, Николай Иванович, индустрия у нас во Владивостоке есть, а пищи нету. Дали бы ловить рыбу частникам, все бы было». Я теперь этого капитана часто вспоминаю, когда у вас изменилось отношение к частному сектору... И все очень волновались, как там новости на фронтах. Прихожу в семь утра, мне говорят, свежая газета есть? И я сразу сажусь переводить. Успокоились немного, когда была победа под Сталинградом, я помню хорошо, это был у всех у нас настоящий праздник. Любили капитаны читать эмигрантские газеты. Там все новости. Я их тихонько приносил, никому ничего не рассказывал. Помню, война уже давно кончилась, звонит мне из Сизтла капитан Ивакин, старый мой знакомый: «Загружаю судно нефтью, Николай Иванович. Приветствую вас, вы мне не пришлете русских газет?» Ну я взял и целую пачку послал. Да, это сорок седьмой год шел, «война холодная» началась, уже пошли разговоры, что в Советском Союзе применяется труд заключенных, что лагерей много, уже были пикетчики против связей с Россией... Тяжелое время. А я страшно любил этого капитана Ивакина! Так обрадовался, когда он мне позвонил... Слушайте, а ему не попадет, что я его назвал?

— Да что вы, Николай Иванович, сейчас другие времена.

— Да? Это точно? Может, вы тогда о нем напишете? Он прочтет во Владивостоке, и я его найду. Меня столько лет интересует, как капитаны мои поживают. Ведь ничего о них не знаю. Полный обрыв — сразу. А всю войну — друзья. Еще был такой капитан Волчкович, привез однажды полный рефрижератор мороженой рыбы, кеты. Куда ее девать? Ремонтироваться нужно, разгружать. Поговорил я в порту, и раздали рыбу докерам и всем желающим. Американцы в очереди стояли, и все получали по огромной рыбине. Мне было очень приятно наблюдать. Я и профессору своему из Калифорнийского университета взял, он очень уважал Советский Союз. Он мне говорит: «Что ты, Коля, у меня жена американка, она и не знает, как с русской рыбой обращаться». А я говорю: «А у меня жена датчанка. Сами все сделаем и попробуем русскую рыбу».

— А подолгу корабли стояли на ремонте?

— Да кто как. Кто три, кто девять месяцев. Некоторые суда были очень старые, но все чисто, красиво, все хорошо покрашено. Американцы устанавливали новые части, заменяли все старое. У морской комиссии с капитанами отношения были очень хорошие, почет и уважение были большими. Ну и ленд-лиз, конечно. А что ленд-лиз? Мы, русские, жизнями жертвовали, спасали всех, это американцы понимали. «Война холодная» все испортила. Хотя и тогда американцы удивлялись: почему это русских матросов не выпускают на берег? Что мы, враги им, что ли? Мы союзники! А как объяснишь. Боялись, что кто-то убежит. А американские рабочие очень хотели русских к себе домой пригласить. Иногда получалось, тайком, капитаны делали вид, что не заметили... И удивлялись еще, как русские жили. В отели жить своих не пускали, ночевали в порту, строили там нары и вповалку... Некоторые на судах жили во время ремонта, а это тяжело, молотки стучат, американцам такое непонятно... А как отплывало домой обратно судно, я стоял на берегу, печально махал всем матросам. И мне все машут, а некоторые стоят и благословляют меня крестом.

— Неужели были открыто верующие?

— Не знаю, были, значит, на каждом судне кто-то да меня благословит. А я стою, мне приятно, и сердце за них болит. А еще помню, один советский механик купил за двадцать пять долларов машину, сам починил и катался в ней потом по Сан-Франциско, без всяких правил движения. Его даже и не останавливали. Я за него гордился, золотые руки. Вообще советские механики очень-очень дельные были ребята... Отвлекся я что-то на войну. Ну кончилась она, снова пошел учиться, в Стэнфордский университет. Заканчиваю его и тут же приглашение — в ЦРУ. Приглянулся, видно, потому что хорошо знал русский. Получаю от них анкету, кипу бумаг со всевозможными вопросами: где родился, где учился, какие взгляды, кто друзья. Связался с работодателями, спросил: «Вы что, хотите меня на парашюте в Россию сбросить? Для этой роли я не гожусь». Нет, говорят, вы у нас будете заниматься исследовательской работой. Но я решил: лучше держаться от них подальше. А в это время поступило другое предложение — работать референтом славянского отдела Библиотеки конгресса.

Работал Николай Иванович в Библиотеке конгресса, потом в министерстве просвещения. И все по русской части. Имел дело с русскими книгами. В министерстве

изучал опыт народного образования в Советском Союзе: наступили времена, когда американцы публиковали в журналах статьи под заголовками «Что знает Иван и чего не знает Джонни». Это было после запуска первого советского спутника. А потом Николай Иванович переехал в Сан-Франциско, поближе к русским памятникам на американской земле. С головой ушел он в дело восстановления и сохранения Форт-Росса.

Я познакомился с ним в прошлый свой приезд в Калифорнию. Он возил меня по крутым сан-францисским улицам, сам за рулем, жена Камилла — на заднем сиденье. Камилла русского языка совсем не знает, поэтому на крутых поворотах она только восклицала беспомощно: «Николя, Николя!», а Николай Иванович рассуждал о
48 перестройке в нашей стране:

— Молодец Михаил Сергеевич! Я молюсь за него в церкви. Дай бог вам удачи с реформами! Русскому народу так много досталось! Революции, гражданская война, коллективизация... А потом последняя страшная война! Столько трудностей, несправедливости, бед, страданий! Надо сделать все, чтобы перестройка удалась!

Как-то я спросил Николая Ивановича: каковы отношения между разными волнами русской эмиграции? Он забормотал что-то не совсем ясное, явно не хотел отвечать. Эмоции в этом вопросе прорвались у Николая Ивановича неожиданно. Мы заговорили об одной русской семье.

— Не люблю я их, уж извините, — сказал вдруг он, — эти аристократы, не все, но многие — пустые люди. Правда-правда, я же с ними учился, работать-то они потом не хотели. Женились на богатых иностранках. Имена, титулы. Американцы на это падки. А кто хотел работать, тот своего добился. Вот среди нас, харбинских, почти все — трудовые люди, не только такие, как я, дети простых железнодорожников. Интеллигенция тоже трудовая. Отцам в Харбине пришлось нелегко, и дети в Сан-Франциско пробивались трудно. Конечно, чего удивляться, теперь многие из наших инженеры, адвокаты, профессора. Многие, как и я, попали в Америку случайно. Но все мы занимались делом, пробивались своим трудом и потому чего-то сумели добиться!

В представительном американском профессоре вдруг выиграл простой русский человек, гордящийся тем, что и отец его был человек рабочий, и сам он добился всего своими силами.

А потом мы возвращались из Форт-Росса в Сан-Франциско. Справа от дороги был океан, а слева поднимались в небо высокие стволы красного дерева. Порой они окружали нас с обеих сторон. Издалека, если смотреть на ту сторону реки Славянка, они были похожи на наши ели, только выше елей. Вблизи у них очень прямой, морщинистый ствол и высоко-высоко темно-зеленая крона. На первый взгляд отличное корабельное дерево. Оказывается, нет, для строительства судов не годится, чересчур мягко. А вот для домов идет отлично. Все постройки Форт-Росса сооружены из этих деревьев.

Где-то на полпути из Форт-Росса справа от дороги увидели отходящую в сторону узкую дорогу, начало которой увенчивала деревянная арка: «Монтерье. Вокейшен уандерленд» (Монтерье — земля чудес для отдыхающих) — было написано зеленым по белому вверх арки. 49

— Тут, в стороне, находится самое знаменитое место, где отдыхают президенты и министры, — сказал Николай Иванович.

— Богемиян клуб? — встрепенулся я.

— Да. Богемиян клуб.

О Богемиян клуб пишут порой, но не слишком часто американские журналы. Эксклюзивный, отгороженный от всех курорт, где президенты, министры, тузы крупнейших компаний могут расслабиться, позволить себе все, что хочется. О Богемиян клуб ходят всякие истории, но никто, кроме самих избранных, там не бывал. Охрана строжайшая.

— Даже подъехать к изгороди не разрешают, — говорит Николай Иванович.

Вот мы проехали и город Севастопол, так здесь произносится. То есть Севастополь. Городок славится своими яблоками. Жаль, что чудесными севастопольскими яблоками еще не торговали. Начнут, наверное, через месяц. Перед въездом в город справа от шоссе увидели довольно большой щит на столбе. Наверху нарисовано яблоко, а надпись гласила: «Добро пожаловать в Севастополь — зону, свободную от ядерного оружия. Город-полюс японского города Ямаучи».

Снова мост Золотые ворота, справа на холмах зеленый парк, который называют здесь Президио. Это то место, где находилась испанская крепость, где жил испанский губернатор. Потом была американская военная база. В уютных коттеджах жили генералы, адмиралы,

полковники. А еще в этом зеленом, благополучном, залитом солнцем парке расположена лечебница для ветеранов. В ней, как мне рассказывали, доживает свои дни немало участников вьетнамской войны.

* * *

Сейчас, когда я вернулся в Москву, Николай Иванович время от времени звонит мне, всегда по конкретной причине, так или иначе связанной с советско-американскими отношениями. Голос у него ликующий:

— Ко мне опять подходили профессора и преподаватели нашего колледжа, поздравляли с очередным шагом в улучшении отношений между нашими странами. Я говорю: «А меня-то почему поздравляете?» А потому, отвечают, что ты русский.

И я понимаю, что для Николая Ивановича Рокитянского это всегда особые дни, те счастливые минуты в его долгой жизни, когда как бы исчезает мучительное противоречие между его русской душой и американским подданством.

**БУДЬТЕ
ДРУЖЕЛЮБНЫ!**





— Запомни, Русская Горка, Сан-Франциско, молокане,— сказал мне Геннадий Васильев, когда я улетаю в Америку.— Разыщи, если кто-то остался. Старые адреса я давно потерял, прошло почти тридцать лет...

Легко сказать, Русская Горка, разыщи... Который день живу в Сан-Франциско и все время расспрашиваю: хоть бы один точный адрес, хоть одно знакомое имя. Не знает никто. Не знает даже Николай Александрович Слободчиков, бессменный директор Русского музея при Русском центре. А может, молокан в Сан-Франциско уже не осталось? Разъехались, растворились среди американцев...

— Остались,— уверяет меня Николай Александрович.— Но к нам они не обращались ни разу за все мои десятилетия в музее.

И Николай Александрович везет меня к своей племяннице, адвокату Русско-Американского кредитного банка: а вдруг она кого-то знает? Деньги, кредиты, русские... Но, увы, молокане здесь не бывают. Зато племянница готова помочь, вместе с нами листает она тонкие желтые страницы справочника Сан-Франциско. Нет, никаких следов.

— Сейчас позову Ильина,— говорит племянница.

Появляется еще один адвокат фирмы. Статен, крепок, седоват, нос с породистой горбинкой. Ильин начинает вспоминать: не то 23-я улица, не то 17-я... Где-то там, на Потреро-хилл, а в просторечии на Русской Горке.

— Дядя, тебе туда ехать нельзя! — пугается племянница.— Там так круто, такие повороты, в твоём возрасте...

Николай Александрович недовольно пыхтит, Ильин улыбается.

— А вы потомок Баратынского? — спрашиваю я его.

— Да, прямой. А разве в Москве это известно?

— Известно,— говорю я, не добавляя при этом, что известно и о существовании большого архива Ильиных — Баратынских. Что-то с ним станет? Но я не уполномочена задавать деликатные «архивные» вопросы. Не спрашиваю я и о портрете поэта, хранящемся в этой большой разветвленной семье. И, словно читая мои мысли, Ильин отвечает:

— Портрет поедет в Мураново, в Союз, это мы точно решили.

Он ведет меня в свой кабинет, показывает фотографии двух старинных русских пушек, которые он много лет назад случайно купил по дешевке в оружейном магазине.

— Сейчас это было бы совершенно недоступно, — говорит Ильин.

— А вы коллекционер?

— Да, собираю оружие. А пушки... Одна стоит в Форт-Россе, вторая здесь, в Сан-Франциско. Я их выставил на обозрение, пусть люди смотрят.

— Молокане, адреса... — снова настойчиво напоминаю я. Адвокаты пожимают плечами. Нет, в конторе Русско-Американского кредитного банка помочь мне не в силах.

54 А между тем дни бегут. И вот однажды утром...

Однажды утром я просыпаюсь от того, что дождь льет, как безумный, завывает ветер, темно, за сплошными стеклянными окнами раскачиваются сосны. Туман закрыл вид на город, на океан. Словом, мрак и жуть. (Кстати, типичная июньская погода для Сан-Франциско, где все лето бывают туманы. Но не обязательно же дожди, когда у путешественника, как бы ни была долга его командировка, дни все равно сосчитаны...) Дождь за окном шумит как могучий пылесос. Включается и выключается отопление — в комнате тоже холодно. И все равно придется вставать, начинать этот ничего хорошего не предвещающий день.

С противоположной стены большой комнаты, почти зала, смотрят на меня два портрета знаменитой испанки Концепсион, возлюбленной основателя Форт-Росса Рязанова. Она его уже потеряла, она уже знает (по другой версии — не знает), что он умер. Синеватый размытый колорит, прямая фигура на берегу покрытого барашками моря, глаза глядят вдаль. И второй портрет — средних лет женщина сидит на камне, все еще верна своему долгу, смотрит на воду. В полумраке комнаты, наполненной свистом и шорохами ветра, фигура легендарной Концепсион проступает как-то особенно выпукло. Спина ее полна укора. Не особенная любительница классического реализма, я вдруг чувствую, что прекрасный реалист покойный художник Соколов с его Концепсион в самом буквальном смысле этого слова сметают меня с постели и принимают за меня решение...

— Ну что, едем искать молокан? — предлагаю я за завтраком гостеприимному и предупредительному хозяину дома Игорю Соколову, сыну покойного художника. Пред-

лагаю, как в воду кидаюсь: только безумцы могут срываться из дому в такую погоду без срочной на то необходимости. Игорь откладывает утреннюю газету, допивает кофе и хладнокровно отвечает:

— Поехали!

2

И мы едем.

Сан-Франциско — небольшой город, пересечь его из конца в конец можно за полчаса. Через двадцать минут мы приближаемся к Русской Горке.

23-я улица, как советовали знающие адвокаты Ильин и Слободчикова, 17-я... Ничего. Улицы необыкновенной даже для Сан-Франциско крутизны, двухэтажные белые дома, зелени мало — район средней руки. Зато солнце! Солнце блестит асфальтом дорог, сверкает на стоящих вдоль улиц автомобилях. И ослепительно голубое сан-францисское небо. А там, на Форест-хилл, на другом холме, где стоит дом Игоря Соколова, по-прежнему завывает ветер, раскачивая огромные древние сосны. После нескольких дней тоскливых дождей солнце здесь, на Русской Горке (рядом, рукой подать), и радует, и как-то обнадеживает. Но ни молоканских храмов, ни русских примет не видно. А как их увидишь? С 17-й улицы, поверху, откуда открывается замечательный вид на небоскребы Даун-тауна, деловую часть города, мы резко и безнадежно сворачиваем куда-то вкось и направо. Обрывающаяся вниз улица совершенно пустынна и называется Кэрлайн. Никакой надежды. И все же, все же... «Надо спрашивать», успокаиваем мы друг друга, хотя у американцев принято не спрашивать, а нормальным образом читать указатели. Игорь останавливает машину и из сочувствия к моему тихому разочарованию звонит в первую же дверь. Выходит молоденькая приветливая американка, любезно объясняет, что да, русские живут здесь, на этой улице, всего через три дома. Едем вниз, не едем, а будто падаем, настолько крута дорога. Цветет желтая акация, какие-то чахлые розочки, красные герани... Акации и герани кажутся мне особенно убедительно русскими, хотя американцы любят герань не меньше, чем мы. Через три дома мы попадаем опять на американку, теперь уже сердитую: да, русские где-то здесь, на этой улице, и она неопределенно машет рукой. Едем вниз, потом вверх и опять вниз, уже не едем, а ползем. Вдруг мы оба замечаем, как к внушительному

желтоватому дому, на который мы и внимания не обратили, лихо подруливает пожилая женщина, видна ее белая, фасонисто надетая на голову косынка.

— Русская! — кричим мы друг другу. Не помню, как мы остановились и выскочили из машины, помню до сих пор, как бежит Игорь вниз по горке и я бегу за ним следом, изо всех сил стараясь не упасть.

— Вы молоканка? — хором спрашиваем мы, хотя задавать этот вопрос бессмысленно — она стоит возле дома, на котором большими русскими буквами написано: «Русский молоканский дом».

56 — Вера меня зовут, — быстро отвечает улыбаясь, пожилая женщина и поправляет косынку извечным российским жестом. А под белой косынкой прячутся розовые бигуди. (Американская привычка ходить на людях в бигуди, к которой я никак не привыкну.) Глаза у Веры очень живые, близко посаженные, и лицо живое, подвижное, любопытное. Мы коротко представляемся. Вера улыбается, любопытство в быстрых ее глазах нарастает. Она тут же деловито приглашает:

— Идите враз ко мне, вниз по улице. Скажите бабушке и Сергею — Вера прислала, а то мне еще скамейки ставить надо.

— Вы работаете в храме?

— Помогаю. Я уже шестнадцать лет как интересуюсь помогать нашему сродству.

Осторожно спускаемся вниз. Нажимаем кнопку на двери дома номер 771. Стоим, прислушиваемся. Кто-то долго спускается с лестницы. Дверь распахивается. На пороге мужчина в бархатистом темно-вишневом халате с серым капюшоном. Черная с редкой проседью борода, худое иконописное лицо. Черты его настолько правильны и красивы, что просто не верится — возможно ли еще такое, неужели еще не повывелись такие одухотворенные, полные внутреннего достоинства лица, такие внимательные, спокойные, без всякой суеты и спешки глаза. В них нет даже обычного в таких случаях вопроса. Просто люди пришли, ну и хорошо. Значит, это Сергей, муж Веры. Мы поспешаем за ним по крутой, как вся эта улица, лестнице, а наверху стоит бабушка. Не бабушка — живая иллюстрация из книги народных сказок. Невысокая, полная, в светлом халате, она тоже ничуть не удивлена: незнакомые люди пришли, поглядим, кто такие, написано на ее лице. А лицо округлое, полное, без единой морщинки, глаза голубые, невыцветшие и тоже глядят на нас со спокойным до-

стоинством. На голове у нее белый платок в мелкий цветочек, повязанный точно так же, как и у Веры. Не спрашивая, кто мы и откуда, сказочная бабушка приглашает:

— Садитесь вот тут в кресла.— И только по медленности ее движений становится ясно, как она стара.

Мы садимся, неторопливо усаживается и она. После нее садится Сергей.

— Сын мой,— говорит бабушка.— А меня Анна Даниловна зовут, а вас?

Быстро рассказываем о себе, а хочется расспрашивать ее. И вдруг я ловлю себя на ощущении, что меня все сильнее одолевает накопившаяся за эти недели нервная усталость, необходимость с утра до ночи быть на людях, держаться, улыбаться, отвечать впопад... Я гляжу на ее важное 57 в своей внутренней гармонии лицо и еле сдерживаю желание успокоиться наконец, затихнуть, ни о чем не спрашивать. Взять бы и прижаться к ней, забыть обо всем, о том, что еще надо успеть сделать в Америке, и о том, что уже наверняка не успею. Не все ли равно... успею, не успею, все недостойная суета. Не спрашивать, а рассказывать хочется мне под ее невозмутимым голубым взором — о себе, о Москве, как она просит, о своей семье и домашних проблемах. До чего похожа Анна Даниловна на мою покойную бабушку Прасковью Васильевну! Только моя бабушка никогда не носила косынки, а до самой смерти укладывала косы вокруг головы.

— Молокане мы, молокане, правильно вы попали,— говорит Анна Даниловна,— ты не волнуйся, все расскажу. Значит, здесь, на Горке, молокане постоянные, а в Лос-Анджелесе больше прыгуны. Мы поем псалмы, а они поют и еще и приплясывают. Бумагу достаете?

— Боюсь забыть ваши выражения.

— Убери бумагу, какие у меня выражения, мы из России с тридцать второго года.

Я покорно убираю блокнот.

— А напевальник, Галя, у тебя есть? — спрашивает Сергей.

— Какой напевальник?

— Ну, куда песни записывают. Запишешь наши песни.

— Такой? — достаю я диктофон.

— Такой. У нас тоже такой есть. Для гимнов...

— Как же, Анна Даниловна, в тридцать втором году вы могли из России прямо в Америку попасть? Это невероятно,— удивляюсь я.

— Что ты, милая, какая Америка, мы в персидскую сторону тогда попали,— говорит она и без всякой просьбы начинает свой рассказ, начинает как-то сразу, с полуфразы, будто все про злоключения молокан, раз я их разыскиваю, мне должно быть хорошо известно.

58 — Говорят нам, Галя, в тридцать втором году: идите в коммуну. А мы в ответ: в коммуну — пожалуйста, не возражаем, любая власть от бога, тогда оставляйте нам часть для еды, ну хоть бы одну десятую. А они нам — нет, нам вашей молоканской работы мало. Мы должны от вас взять ваших людей в партию и детей возьмем тоже, на правильное воспитание. А к вам других людей пришлем. Мы тогда в Туркмении жили. Кого к нам пришлют? Туркменов, значит, или православных? А мы свои обычаи блюли, детей держали в молоканстве. Один начальник тогда говорит: вы с молоканами тише обращайтесь, а то вон она, граница, уйдут, они привычные. А другой говорит: граница близко, да не для них, не пушу. Злой был очень, фамилию помню — Борисов. Все равно, говорит Борисов, я всех молокан в коммуну заведу. А мы и вовсе не против. Тогда он еще пуще: выдать, говорит, мне всех ваших старцев! Собрались мы: что нам делать? Наших отцов расстреливать будут, а мы терпи? А до границы всего три версты.

— А почему вы считали, что расстреливать?

— Он нам так пообещал. Тогда один туркмен знакомый, он моему отцу был как брат, услышал он такое и говорит: скоро я собираюсь делать контрабанд. Знаешь, что такое контрабанд?

Мы с Соколовым дружно киваем.

— Я, говорит, солдат с поста отведу подальше, а вы идите. Ну и шугнули мы совсем.

— Сколько ж вас было человек?

— Сорок две подводы.

— Так много? — изумляемся мы с Соколовым.

— Два поселка молоканских сразу ушли.

— А как же вы жить собирались? В чужой стране? Что можно взять на подводку?

— Постель взяли и посуду. И только всего. А скот — и овец, и лошадей, и фургоны — угнали заранее. Так ночью и заехали в Персию. Но они могли за нами поскакать и нас порубить. Это закон такой есть, рубить, это пожалуйста. А если дальше уехать, верст шесть, Борисова уже власть не пустит, персидская. Зажили мы в степи, открыли палатки, брезент у нас был. И жили так три месяца. Потом власть определила нам поселок. Вы, говорит, будете туда

иттить и ехать. А мы вас будем караулить, чтоб назад не ушли.

— И караулили?

— А как же. Они думали, что мы шпиона, вот и стерегли. Ну, сели на подводы, поехали. А у моего мужа брат был, у него две девушки, дочери, одна беленькая Маргарита, все сидела на телеге, на гитаре играла и пела, а я возму и подпою:

Уж ты степь, наша степь.

Степь далекая была...

А муж мне запретил: не пой. Ну и в нее влюбился один начальник.

— Перс?

— Перс. Продайте мне белую девку Маргариту. Там, в Персии, жен покупали. А ее отец очень сердитый был, 59 встает на телеге и прямо весь трясется, и с кулаками. Мы его уговаривать: ты не горячись, ты погляди, где мы живем, мы ведь теперь на персидской стороне. Молчи! У нас ведь так, как у вас, у вас тоже не любят, чтоб какая-нибудь девушка выходила за иноземца. Такой всегда порядок в России был. А этот перс взял и выдал нас советским от злости, сказал, что мы здесь. Другой перс приходит и говорит: прямо сейчас, не медля, езжайте на эту гору, прячьтесь. А гора была, как стена. Подводы пусть едут кругом, а люди пускай пешком идут. А как пешком? Там обрывы да тропочки. Мы детей ведем, вниз не смотрим. Вышли, стало смеркаться. Равнина на горе пошла, легче стало идти, расстелили мы чуни, детишки спать завалились, а мы сидим, подводы ждем. Как, если не придут? Караульщик только и знает, что туда-сюда бегает: не видать подвод. А одна женщина тут задумала родить. Ну куда ее? Куда? Завели ее в кусты. Персия... Не кусты, а палки. Там она и родила. Тут первая подвода показалась, мы ее туда положили и вывезли с мальчиком. Арсением назвали. Опять ждем. Подъехали подводы, и стали мы скакать, быстро — ну, невозможно. Подъехали до речки, а вода в ней такая горькая, в рот нельзя взять.

Тут начальник персидский скачет. Мы говорим: рубите нам головы тут, всем вместе, а не по одному, как дома обещались. Мы отсюда не уйдем, рубите, мы не против.

— Страшно было?

Анна Даниловна надолго умолкает, руки ее, бывшие в непрерывной работе выражения самых разнообразных чувств, до сих пор крепкие руки человека тяжелого физи-

ческого труда, на миг опускаются, складываются вместе:

— О, как было страшно! Страшней не упомяну! Персы распоряжаются: мужикам саблей головы отсечем, а вас, баб, забираем.

— Только мужикам?

— Да. Баб продавать будем, какая красивая, ту дороже.

— А вы красивая были?

Вопрос мой звучит глупо: что спрашивать, если она и сейчас, в глубокой старости, красавица?

— Красивая не красивая...— Анна Даниловна даже развеселилась от такого несурзного вопроса.

— Конечно, красивая, глаза вон какие голубые...

60 — Вот муж и не велел мне ни за что при персах петь... Тут еще один начальник приезжает, чисто по-русски говорит, в России учился, в Москве. Все у нас выпросил, а своих персов по разу ударил плетью, а в ней проволока. Так персы кровью и залились. Все, говорит, я ваш спор решил: ступайте дальше. Я посылаю с вами два солдата, только харчи для них будут ваши.

И ехали мы на подводах три дня и три ночи, у кого детей много, пешком шли, дети у всех маленькие...

— Сергей, а вы что-нибудь помните? — спрашиваю я.

— Нет, я тогда только недавно родился,— отвечает Сергей, почтительно, не перебивая, слушавший все это время мать.

— Маленький, а выжил. А дети умирали часто, у всех почти умерли, а у меня выжили. Приехали мы на место, нам назначенное. Цветы кругом, каких на свете нету. Такое красивое место! Только скучное. Горы высокие да небо. И кругом ничего. Степь. Тут мы кинулись дома лепить, кто как.

И прожили мы на этом месте два с половиной года.

— Как же?.. Как же всё? — недоумеваю я.— А соль, спички?

Анна Даниловна снова смеется:

— А зачем спички? В золе огонь тлеет до утра, разгребут, соломы подкинут, все загорится, огонь по избам и разнесем. Лампы,— она показывает на пышную американскую люстру под потолком и снова смеется,— лампы там не было.

— И как же вы жили? — Мне хотелось сказать: как Робинзоны, да? Робинзоны поневоле почти в середине XX века.

— Как жили? Сначала у нас скотина была. Потом

подохла скотина, и мелочь вся подохла. Дети стали еще пуще умирать. Муж мой первый умер.

— Как же вы с тремя детьми остались?

— Милая моя,— она снова улыбается.— Это тута, в Америке, мы с детьми не можем, если правду сказать. А там наденешь рубашонку — и все, бегай.

Сергей спокойно кивает, видно, что-то уже помнится ему с тех давних времен.

— Пожили мы два с половиной года и снова поехали. Тут мы ехали семь дней и семь ночей.

— Как же вы ехали?

— А все так же, на своих подводах. Гнали нас, сами не знаем куда. От границы подальше, все подозревали в шпионстве. Были у нас люди, уходили обратно домой, на Родину, но не шпиона́ ж они были, молодые, бездетные. 61 Скучно на чужой стороне, Галя... Ехали-ехали, приехали. Поселили нас в хатенках у одного богача. Тут мы и зажили!

— Как это? — удивляюсь я. — Так сразу и зажили?..

— Почему... — невозмутимо, словно рассказывает о чужой жизни, отвечает Анна Даниловна. — Первый год был у нас голод. Все у нас подохло, люди снова стали умирать, спать ложились всегда голодные. Через год дали нам власти зерна, делили кому пуд, кому два, посеяли и после уж зажили, не сразу. Хлеба досыта ели. Одежду справляли, сахар был. И прожили мы в этом поселке... Сергей, сколько лет? Двадцать?

— Нет, мама, четырнадцать. Это всего двадцать лет мы ездили.

— Землю — сколько хочешь бери, пахай. На быках пахали. А дальше — больше, молотилка началась.

— А почему вы из Персии начали уезжать?

— Не знаю почему. Сродники разбогатели в Америке, значит, надо в Америку. Сестры мужа до революции уже здесь жили, письма писали, езжайте, мол, к нам.

— А вы разбогатели?

— И мы разбогатели!

— Скажешь ты, мама! — первый раз за весь разговор возразил матери Сергей. — Две рубашонки — значит разбогатели. Мы в одних рубашках сюда ехали. Уезжали, потому что умирали много. Ты, мама, забыла, вода плохая, докторов нету...

— А как же детей рожали? — спрашиваю я.

— Я принимала.

— Она в бане принимала, я помню, — говорит Сергей.

— У нас не так было, как тута,— смеется Анна Даниловна.— Тута в положении, сразу бегут к доктору. У нас никто не знал, в положении ты иль не в положении. Когда родить приходится, тогда меня звали. Много в родах умирали. Если ребенок неправильно идет, оба умирали — что я могу делать? А тута чуть что боится: ребенок там у нее...

— Сродники прислали деньги на билеты,— прерывает акушерские воспоминания матери Сергей.— В сорок восьмом году билеты взяли и поехали, квота русская в Америке была пустая, нас научили: скажите, что вы из России, не из Персии. А откуда мы? Мы и есть из России. Один за один дочиста быстро переехали. И сразу в Сан-Франциско. Сродники подмогнули, дали две тысячи долларов, дом 62 купили.

— Этот дом мой муж сам строил,— объявила Анна Даниловна.— Он все мог. А я на тряпки работать пошла.

— Как на тряпки?

— Фабрика тут рядом такая была, тряпки привезут, надо их бросать в разные стороны — какие в белье, какие, где штаны иль пиджак. Работали на ней молокане, а хозяйева — итальянцы, хорошие люди. Одели нас, ковры нам дали. Здесь все почти новое выбрасывают, а итальянцы говорят — выбирайте, мы к вам домой свезем. Харчи стали покупать в долг. Покупай, вари. Неделю берем в долг, потом рассчитываемся. А из тряпок бумагу потом делали.

— Трудная была работа?

— Легкая, сама подумай.

— А дом молоканский уже был?

— Давно был. Ледник нам сродство купило. Муж мой второй — плотник, самая дорогая работа. Ребята подрастать стали.

— Сергей, а как вы на Вере женились? — спрашиваю я.

— Сам. Мама с папой только деньги заплатили. У нас по-старинному детей женят. Вере семнадцать, мне восемнадцать было. Я один раз только и видал ее в жизни, в Лос-Анджелесе.

— Отец сказал, кто на молоканке, сам женю. А если американка, ничего не дам,— добавила Анна Даниловна.

Вера, давно пришедшая из молитвенного дома, закричала из кухни:

— Сергей меня на русскую картину повел, вот и все. Вернулись, а сродники уже мед пьют. Значит, невеста давай жениху залог, а жених невесте.

— А что вы дали, Сергей?

— Платок дал и долларов двадцать, не помню. А невеста мне шарф белый.

Вера выходит из кухни и смеется:

— Ой, не могу! Сергей мне все намекает, а ничего не говорит, а они мед пьют. А свекр мой уже вовсю поет соборные песни, веселый очень был. После залога всех сродников на завтра собрали, снова мед пить. Это уже обручение. А Сергей все молчит. А тут уж скоро свадьба.

— Через месяц,— напоминает Сергей.

— Посылают меня из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Приезжаю, ничего не знаю, где будем жить, что делать. Остановилась у сродников. Утром выхожу, девчата русские на улице. Девчата, спрашиваю, где мой жених живет? Иди, говорят, ровно, не сворачивай, найдешь. Вот и пришла. 63

— Вместе все стали жить, на чердаке комнату им построили,— вступает Анна Даниловна.— Это сейчас, только свадьба, сразу — отдельно хотим! Раньше у нас такого не было.

— Чай, пожалуйста, пить! — приглашает Вера.

За чаем, за красиво накрытым столом, мы ведем уже современные разговоры — о перестройке, о гласности, об изменениях в церковных делах. Сергей, оказывается, два раза был в Советском Союзе, в Сочи и Пятигорске. Тридцать пять лет отработал шофером, как-то поднял тяжелое, надорвал спину. Съездил в советское консульство в Сан-Франциско, посоветовался, помогли поехать в Сочи. А в Пятигорске был в молоканском собрании:

— Тесно только там у них и быстро служба проходит, а так хорошо принимали,— вспоминает он,— день провели в радости и простоте сердечной. Вообще все изменилось! Теперь книжки молоканские можно возить, вези, никто на таможне и не интересуется... если книжек пять-шесть.

Мы пили вкусный, крепко заваренный чай, Вера угощала своими пирогами, лососиной, которую присылают им сродники с Аляски. Все на столе было свое, домашнее. Чай пился в охотку, чашка за чашкой, а Вера все нарезала и нарезала хлеб — совсем не американская привычка, здесь все отмеряется и нарезается в разумных пределах.

— Ведь не съедим, засохнет!..

— Пусть,— беспечно отмахивалась она,— сегодня у нас праздник. Свои, русские, в гостях!

Анна Даниловна показывала семейные альбомы. Везде на фотографиях мужчины с бородами и в косоворотках.

Будто в старой Вологде или Перми сидим, а вовсе не в Сан-Франциско.

— Угощайтесь! — все настаивал Сергей. — У нас, молокан, разные люди есть. Мы вам рады, а есть такие, что пока и не рады. И русский язык нам слушать приятно.

— Да, — заговорила Анна Даниловна, замолчавшая было за столом: зубов у нее нет, жевать трудно, невестка Вера подкладывает ей кусочки помягче, — когда я жила в России, в гимназии училась, хотела потом учительницей быть. В Ставрополе это было. А тут война гражданская, отец мне учиться и запретил. Иль кадеты, говорил, явятся, иль большевики придут, тебя и заберут. Будь простая девушка.

— Почему кадеты? — спрашиваем мы все сразу, и 64 Сергей, и Игорь Соколов, и я.

— Не знаю, он так мне говорил: кадеты — богачи, а большевики идут как бедный народ.

— А я, мама, знаю, — сказал Сергей, — были белые и красивые, я так понимаю. И война шла за веру: кто в революцию верил, а кто в другое.

— Хорошо дома жили, пока раскулачивать не стали и грозиться на веру молоканскую, — снова вступает Анна Даниловна. — Работали мы много, а им того мало. Пришли раскулачивать, а меня в кровать положили. «Кто такой лежит?» — спрашивают. «Дочка моя одна-единственная, — отец говорит, а сам весь дрожит. — Ни сына у меня, ни брата, никого, одна у меня Анюта, и будет она на вас работать». — «А что она умеет?» — «Все умеет». А они не слушают. Смешно, — продолжает Анна Даниловна, — в деревне Анютой звали, в Ставрополь переехали — Нюрой или Нюсей, замуж вышла — Аннушка. А мужу не нравится: нету у нас, говорит, Аннушки, у нас есть Оня. Вот тебе и Оня, где оказалась... Дочка за русского вышла, и Сергей на Вере женился, а остальные сыновья — на американках. Жены, правда, хорошие, старательные...

— Да, — говорит Игорь Соколов, — выбор здесь, как говорится, сугубо лимитирован. Ничего не поделаешь.

И я понимаю течение мыслей Игоря: у него у самого две дочки на выданье.

— В Лос-Анджелесе выбор строже, — объясняет Сергей, — там больше молокан, там семь церквей.

— Да ну? — удивляюсь я. — Бывала я в Лос-Анджелесе, а о молоканах и не слышала.

— Погляди, Галя, вот у нас какая книжка есть. — И Сергей показывает справочник на английском языке с

указанием адресов, где есть молоканские «собрания». В Америке это Калифорния, Орегон, штат Вашингтон. Есть общины в Канаде, Австралии, Уругвае.

— Что ж получается? — спрашиваю я. — В России молокан меньше всего?

— Пожалуй что так, не знаю... — отвечает Сергей. — В Пятигорске большое собрание, в Ереване два собрания, а больше я не слышал. Сейчас много народу к нам в гости из Союза едут.

— Молокане?

— Как сказать?.. Из молокан, сродники. Племянница к нам два раза приезжала. Обижается, что мы не едем.

— В Ставрополь нас все зовет, — говорит Вера. — А куда нам ехать, нам мамашу оставить нельзя, одна я все ее привычки знаю. Вы к нам завтра приезжайте, на родительский день. Большой праздник будет, скамейки уже расставила. 65

— Напевальник свой, Галя, не забудь, гимны наши запишешь, — напоминает Сергей.

— А удобно?

— Почему неудобно, если нашей верой интересуешься...

Мы прощаемся, Анна Даниловна нас целует:

— Такое мне сегодня удивление. Даже и не ждала, что русскую когда увижу, прямо из Москвы.

3

О молоканах, об их нынешней судьбе известно мало. Может быть, потому, что молокан в стране стало мало? Не знаю...

Религиозная рационалистическая секта, выделившаяся из духоворчества еще в конце 60-х годов XVIII века, молокане отвергают и обрядовую, и отчасти догматическую сторону православного учения. Свое название «молокане» они объясняют тем, что все их учение заключается только во вкушении «млека» Слова Божия. Молокане не носят крестов, не признают иконы, мощи святых, монашество, традиционную православную иерархию. Истинный смысл жизни, спасение и блаженство человека состоит по молоканскому учению в раскрытии заложенного в человеке богом доброго начала, в нравственном совершенствовании людей. Традиционно (после слияния молокан с сектой иудействующих) они не едят свинину. Кстати, именно это обстоятельство, по словам Анны Даниловны, больше всего

и располагало к ним персов. Постоянный рефрен в ее рассказе о персидских скитаниях — два грозных вопроса, которые задавали им персидские начальники: «Кресты носите? Свинину едите?» «Кто не знал ответа — православные, тех в Персию не пускали. Отца моего, бывало, персы вызовут на границу и спрашивают: «Ты нам скажи, православный это человек бежит али ваш, молоканин?» Отец мой православным и шепчет: кресты, мол, быстро в башмак спрячьте и ступайте. А персам отвечает: это наши, мол, молокане, исправные работники, такие везде нужны. Много православных людей спас, иначе бы им головы посекали».

66 Воспоминания Анны Даниловны со сказочными, почти былинными оборотами речи — ехали три дня и три ночи, скакали семь дней, семь ночей, реки у персиян горькие, травы высокие... — по-своему, ярко и трагически, отражают историю преследований и бесконечных странствий и переселений сектантов в России. Кажется, только сейчас, в годы перестройки, эти непрерывные, то затихающие, то вновь усиливающиеся вплоть до кровавых развязок гонения начинают прекращаться. И это впервые с XVIII века! Как говорится, не прошло и трехсот лет.

...Молокан, считавшихся до революции одной из «вреднейших» сект, начали выселять на окраины империи еще в середине XIX века. Выселяли их из самого центра России — Тамбова, Саратова, Воронежа. Переселяли в Таврическую губернию, на Северный Кавказ, в Сибирь, в Закавказье — в бывшие турецкие владения, в район Карса. Работящие, очень сплоченные, молокане везде быстро приживались, налаживали крепкие крестьянские хозяйства, прославились как замечательные землепашцы. И сейчас в Калифорнии, в районе города Фресно, один из лучших тамошних фермеров — молоканин.

В отличие от духоборцев молокане никогда не вступали в острый конфликт с государством. И все равно их теснили и теснили. Так, по-видимому, вырабатывалась привычка к внезапным переселениям, к освоению новых земель, к любым превратностям судьбы, умение к ним приспособливаться.

После Октябрьской революции к религиозным разногласиям с властью прибавились «классовые»: молоканские поселки никогда не отличались бедностью. И снова начали молокане кочевать — с Кавказа, как семья Анны Даниловны, в Баку, из Баку в Ставрополь, из Ставрополя в Туркмению. К 30-м годам, к началу коллективизации, снова возродились в Средней Азии цветущие молоканские посел-

ки — со скотом, со своими маслобойками, с хорошими домами, налаженным бытом. Но когда молоканских старцев, пресвитеров, потребовали выдать властям, молокане снова снялись с места и в 1932 году на своих телегах двинулись дальше — в Персию.

В былинном рассказе, по сути, краткая история русско-го сектантства — в XIX веке заселяли «туретчину», в начале XX духоборцы уезжали в Канаду, молокане в Америку. Разбогатевшие братья и сестры в Америке, вызывавшие своих сродников со всех концов света, — это те самые переселенцы и их дети, уехавшие от религиозных преследований еще в начале нынешнего столетия.

4

67

...И вот на следующий день я сижу в молоканском собрании. Большой зал на втором этаже молитвенного дома. Почти все мужчины в косоворотках, розовых, голубых, желтых. Поверх них — обычные пиджаки. Голые стены, высокие узкие окна, простые длинные лавки. В окна видны сан-францисские небоскребы и куски голубого неба. А там, где я живу, на Форест-хилл, по-прежнему и сегодня льет дождь и стелется низкий неотвязный туман.

Мужчины сидят на лавках вокруг стола, женщины — в стороне. Все женщины нарядно одеты, все в светлых праздничных платьях, у всех на головах косынки, у многих кружевные. Косынки укреплены заколками. Молодежи мало. Больше пожилых и старых людей. Дети остались под присмотром на первом этаже, где готовится общее угощение. Сегодня один из важных праздников — родительский день.

У американцев есть два национальных праздника, носящих скорее коммерческий характер: «День матери» и «День отца». Серьезно их не празднуют, только посылают родителям открытки да дарят подарки. Родительский молоканский день приходится как раз посередине между этими двумя праздниками.

Старенький пресвитер и другие уважаемые люди, сидящие вокруг стола, по очереди читают Библию. Потом поют молоканские псалмы, поют все вместе, хором. Один человек произносит первую строку, остальные подхватывают по памяти. Особенно истово поют песнь четырехста девяносто восьмую из «Сионского Песенника», изданного в Австралии в 1978 году. Потом мне его подарили.

Любезные дети, будьте вы умны,
Имейте в предмете, кем вы рождены.
Ведь волю святую нужно исполнять,
Почтите родную первым долгом мать.
Она слез и крови много пролила,
Страдала от боли, как вас родила.
Грудями кормила все себе во вред,
Лицо изменила, весь прекрасный вид...

Поют все хором, и я тоже незаметно для себя начинаю подпевать.

Все песни длинные. Каждая строка повторяется дважды.

68 ...Служба началась в десять, заканчивается к двенадцати. Все спускаются по лестнице на первый этаж, где в таком же большом зале накрыты длинные столы. Вернее, столы пока пусты. Только на одном блюда с едой. По американской манере выстраиваются длинные очереди, каждый накладывает себе на тарелку, что хочет. Угощение состоит из того, что прихожане сами приготовили к празднику. Здесь и русские пирожки, и винегрет, и салаты, и рыба. Всего очень много. Все выглядит аппетитно. Но проговаривать некогда. Подходят и подходят люди, знакомятся. Сергей усаживает меня рядом с собой.

Начинается праздничный обед. Начинаются и разговоры за столом.

Красивый пожилой человек с военной выправкой, седые волосы ежиком, румяное лицо, синий блейзер с золотыми пуговицами, наклоняясь ко мне через стол, неожиданно спрашивает:

— А Шолохов жив?

— Умер,— отвечаю я.

— Как умер? — огорчается он.— Мой любимый писатель и умер? Сколько раз читал «Тихий Дон», если вы меня и спросите, то не отвечу, так люблю. Про войну, про казачество. Мне близко.

— А вы военный?

— Догадались? Я бывший военный, Шебалин моя фамилия. Мы из Китая приехали.

— А в Китае разве тоже была колония молокан?

— Порядочная, но в основном, конечно, православные. Там, где я вырос, в поселке при станции, всего-то было одно семейство молокан, наше. А в Харбине, думаю, было человек пятьсот — шестьсот.

Зал шумит, гул голосов нарастает, но Шебалин произносит слова четко, по-военному, и я все слышу.

— Мой отец был белый офицер, — говорит Шебалин.
— Молоканин? — глупо и некстати удивляюсь я.
— Да, попал с белыми частями в Маньчжурию, там их разоружили. Образованный был человек, бывший учитель. Работал потом тяжело, на лесозаготовках. А в Америку нас дядя вызвал. Здесь и с женой познакомился.

Жена его улыбается мне, протягивает через стол руку:

— Мы с ним в шестидесятом году познакомились, — говорит она. — Как познакомились, все время песни пели. Помнишь, что мы пели?

— Помню, — отвечает Шебалин. — «Сан-францисские вечера» мы пели: подставляли слова из «Подмосковных вечеров». А Симонов жив?

Я не успеваю ответить. Встает маленький, сморщенный, седенький старичок пресвитер. Сколько ему лет — даже и 69 не угадать. Очень много. Пресвитер произносит короткую проповедь.

— Благословит вас господь не унывать, а простираться вперед. Давайте славить господа и дружить... Дай Бог благополучия и ангела-хранителя в домах ваших и во всех путях...

После пресвитера встает Тимофей Гусев, человек лет шестидесяти пяти, среднего роста, черноглазый, загорелый, радостно-озабоченный. С ним мы уже успели познакомиться. Гусев — один из самых активных членов молоканского собрания.

— Как сказал пресвитер, благослови вас господь и сделай непоколебимыми. Я прочту вам небольшой стишок о матери из «Вестника христиан-молокан» (потом, когда я проглядываю этот «Вестник», я вижу, что стихи написал сам Гусев):

Ты, мать, полна святых идей,
Всегда отважная в бою,
Ты, мать, за счастье детей
Готова душу дать свою...

— Теперь я прочту вам стишок об отце, — продолжает Гусев.

День родителя почтите,
Потому что он везде
Достает вам что хотите,
Весь в заботе и труде...

Легко в жизни не дается,
Чтобы враз разбогатеть,
Так что труд нести придется,
Чтоб иметь все, что хотеть.

Но отец все без обману,
Нездоров аль слаб и болен,
Что достать не по карману,
Терпит все, судьбой доволен.

Как выясняется позже, это тоже стихи Тимофея Гусева. Дальше Гусев говорит уже прозой. Он напоминает о судьбе русского языка, о том, как трудно сохранить его в условиях чужой страны (именно так он выражается). И Гусев снова переходит на стихи:

Пусть тернистой вам будет дорога,
Пусть к чужому немного привык,
Но славить великого Бога
Нам нужен родной наш язык.

70 — На своем родном языке прилично славить Бога! — завершает свою речь Гусев. — Поэтому давайте держаться крепче и иметь мужество сохранить русский язык.

И снова пение псалмов. «Будьте дружелюбны!» — заводит пресвитер. «Будьте дружелюбны!» — подхватывает хор.

Постепенно меня охватывает чувство покоя и радости, я перестаю стесняться. Почему я была так скована, так напряжена все эти часы, если люди вокруг меня полны участия и открытости? В самом деле, будем дружелюбны! Будем... но какая сложная заповедь в наше время!

...Праздник заканчивается. Люди группами выходят из молоканского дома, рассаживаются по машинам.

— Вы каждое воскресенье здесь бываете? — спрашиваю я у незнакомого человека.

— А как же? — удивляется он. — Если принадлежишь к общине, надо ее поддерживать. Я в Грузии рожден, но ничего не помню, родители перебрались в Персию, а в Америке жили сродники, в Америку нас долго не пускали. Через Израиль уже сюда нас выхлопотали.

— А меня зовут Фетисов Владимир Андреевич, — подходит ко мне пожилой, респектабельного вида человек. — Запишите, если можно, мой телефон и фамилию. Фетисов-хоккеист, он мне не родня? Если что узнаете, знак мне подайте, хорошо?

Толпа постепенно редет, люди тянутся вверх, в горку, домой.

Отъезжают машины. Машины все дорогие, в основном «кадиллаки», «линкольны», «крайслеры». Молокане и здесь, в Америке, люди далеко не бедные. Или, как любят говорить американцы в Сан-Франциско: «О, молокане! Богатый народ!»

А я думаю о том, каким невероятным трудом обеспечено это устойчивое благополучие. Физический труд, труд умельцев в Америке ценится высоко. Молокане умели делать все, когда приехали в эту страну, и это их спасало. Они работали плотниками, слесарями, рубили лес, которого так много в окрестностях Сан-Франциско, потом открывали свои маленькие мастерские. «Кадиллаки» и «крайслеры» — это не операции на бирже, не акции, вложенные в компании, не торговля недвижимостью — самое выгодное занятие в условиях этого города, где цены на дома очень высоки. Сверкающие под солнцем дорогие разноцветные машины, в которые степенно рассаживаются бородатые мужчины в русских косоворотках и женщины, одетые словно солистки из ансамбля «Березка», — это в начале всего и прежде всего мозоли, физическая работа от зари до зари. 71 «Молокане без дела сидеть не могут», вспоминаются мне благодушные слова Анны Даниловны. Она полна благодушия, потому что представляет себе жизнь только так: заполненную каторжным, истовым, честным трудом.

Они осторожно вырывают со стоянок, отъезжают вниз по горке, машут на прощание, и я думаю с каким-то светлым отчаянием, если отчаяние может быть светлым: почему, почему так получается? Почему наша страна так нерасчетливо, с такой холодной жестокостью на протяжении целых столетий избавлялась от своих работающих, надежных, любящих Родину детей? Костры, дыбы, колодки каторжников, тюремные цепи... все было. Почему государство избавлялось от старообрядцев и сектантов с такой запредельной мстительностью в те времена, когда протестантизм в Европе и Америке давно получил все религиозные права? Что это? Косность, упрямство, слепота, невежество власти? Что это было?

Крупнейшая и поныне старообрядческая община была основана в Риге еще в конце XVIII столетия — вне России. В начале нынешнего века, в 1904 году, открылся за тридцать земель — на Русской Горке — первый молоканский храм. А духоборцы — реальная сила в экономике Канады? А первая русская православная церковь в Бруклине в Нью-Йорке? О ней мало кто знает, сейчас она оказалась в опустившемся черном районе города. Она тоже построена давным-давно. А многочисленные церкви и собор в Сан-Франциско? А церкви Няяка и Сиклифа под Нью-Йорком... Сколько же русских людей оказалось в Америке!

Не нужны... Работающие и умелые, умные и образованные...

...Они приезжают сюда на своих «кадиллаках» каждое воскресенье, на улицу Кэролайн, поют, разговаривают, они читают русские книги. И так длится не год, не два — десятилетия... Какая же могучая сила привязывает молокан к родному языку, культуре! И как нужны были бы эти люди со всеми своими умениями у нас дома именно сейчас!

«Зовет сродник домой, на Украину, пишет, давай вместе землю в аренду возьмем. Думаю, соберу семью, поеду. Вы как советуете? — спросил меня один из молокан, человек помоложе остальных, с округлым, добродушным крестьянским лицом.— На Родину хочется, язык кругом будет свой...»

72 А во мне все сжалось: что ответишь? Не Василий Селюнин я и не Анатолий Стреляный, не знаю точно, как идут дела с арендой, но понимаю, что негладко, и не может быть сразу гладко даже для привыкшего к нашей жизни человека. А новичку будет каково? Да еще из самой Америки, несусветно богатому придурку, с точки зрения соседей? И я промолчала, грешна!

Я стою на пороге с Сергеем и Верой Волковыми. Разъезжаются машины, и все уже позади — улыбки, объятия, общая радость.

* * *

Потом я иду прощаться к Анне Даниловне: по своей глубокой старости она давно уже не бывает в собрании. У нее сидит дочка, только что с собрания пришедшая.

Анна Даниловна глядит на меня, как на свою:

— Вот она, про которую тебе толкую, а это дочка моя одинокая.

— Да, я одинокая,— подтверждает дочка.

Доверчивость, уверенность, что другой, совсем незнакомый человек сразу поймет тебя и не осудит, заново поражают меня в этих людях, как вчера, при первом знакомстве. Так просто, сразу... все семейные тайны наружу. И я понимаю наконец, что у этих людей тайн друг от друга нет. Есть жизнь, которая проживается рядом и осмысливается всеми вместе, всем сродством.

— Муж у меня убился, пять детей оставил, с постройками упал.

— Отец его услышал, сразу помер,— прибавляет к рассказу дочери Анна Даниловна,— два гроба у нас стояло.

— Как же вы подняли пятерых детей?

— Слезми,— отвечает дочь, а мать кивает.— Сколь-

ко раз травилась, — мать снова кивает. — Выросли теперь, тоже горе принесли. Детей народили, разженились, к маме обратно пришли. Я говорю: когда же вы маме дадите радость какую-нибудь? С вами тряслась, теперь с детьми вашими трясусь. Когда ж жить я буду? Сын в Лос-Анджелесе, инженер, звонит, говорит: мам, уезжай ко мне, они тебя угробят.

Анна Даниловна кивает:

— На той неделе все поедem.

— Да, — тоже кивает Сергей, — с мамой, Верой, все вместе сестру повезем.

— ...Знаешь, Галя, плохо у нас здесь с детьми, детям деньги глаза залепили, — говорит на прощание Сергей. — У нас с Верой еще хорошая дочка, и муж у нее хороший, инженер, русский. Вернулись к нам недавно назад из Орегона: на собрания наши оттуда далеко ездить. Ты только, Галя, сама-то на будущий год приезжай! 73

— И мы приедем! — бойко крикнула со своего вечного поста, из кухни, Вера. — Здрасьте вам, не ждали, молококан из Америки в Москве гостить надумали!..

Мы возвращались от молококан по дороге, ведущей в город из аэропорта. По обеим сторонам магистрали тянулся маленький бизнес. Пекарни, небольшие фабрики, производящие товары для огромных конгломератов. Все тринадцать миль, то есть почти двадцать километров подряд, и в глубь шоссе километра на два... Одноэтажные, двухэтажные здания, трубы, заборы. Нелегкий это путь для простого человека — обзавестись подобным бизнесом, где доход в год от ста до двухсот пятидесяти тысяч долларов, где нужно нанимать рабочих и платить им, если они американцы, от семи до четырнадцати долларов в час.

Молококан оказались конкурентны и успешливы для жизни и работы в одном из самых дорогих городов Америки. Хороший климат, военная промышленность, бурно развивающаяся компьютерная — цены в Сан-Франциско все растут. Сейчас они почти такие же, как в самом дорогом городе страны — Нью-Йорке. А цены на дома? У всех молококан свои дома, и очень неплохие. Между тем дом в Сан-Франциско стоит в среднем двести тысяч, о чем напоминают, гордясь, по местному телевидению. А в «глубинке» хороший дом — это двадцать — двадцать пять тысяч.

Так что можно неплохо подзаработать в Калифорнии, как, допустим, у нас в Сибири, и уехать обратно домой, купить на деньги за проданный дом все, что хочешь, и еще останутся сбережения на старость.

Некоторые русские семьи из старой эмиграции так и поступают: продают дома и уезжают километров за сто, в город Санта-Розу, например. Я там бывала, у русских. Район Санта-Розы — сплошные городки пенсионеров. Странно это наблюдать: на скамеечках сидят только старые люди, ими заполнены и местные ресторанчики. Еда там без соли, напитков не подают — никто давно не пьет. А у русских к тому же есть свои церкви и часовни — в районе Русской реки и города Себастопол. Построены они давно, еще в 30-е годы.

Молокане тоже понемногу разъезжаются из Сан-Франциско. В округе остался всего один молитвенный дом. Но, выходя на пенсию, люди рассчитывают свою жизнь так, чтобы было нетрудно каждое воскресенье приехать на Русскую Горку. Вот и выстраиваются вдоль улицы Кэролайн по воскресеньям машины, и далеко-далеко по округе разносится старинное унисонное пение.

...Мы возвращались домой. Все синело, лиловело на наших глазах, потом все краски стерлись, снова наполнил привычный туман, заволакивал солнце, так ослепительно светившее над молоканским домом. Может быть, молокане, люди земли, по своим крестьянским приметам и место для жизни и храма выбирали такое, где всегда светит солнце и не дуют холодные ветры? И мне все вспоминалась непрехотливая строка из гимна, повторенная сегодня, в родительский день, столько раз: «Любезные дети, будьте вы умны, имейте в предмете, кем вы рождены...» Может быть, потому, что эти немудреные старые слова, как бы гладко ни складывались наши отношения с детьми, все равно нет-нет да и отдаются болью в любом родительском сердце. И еще один завет, который эти люди упорно повторяют друг другу: «Будьте дружелюбны!»

И когда наша машина взбирается по узким, извилистым улицам на горку почти такую же крутую, как Русская, на Форест-хилл, где живут крупные инженеры, адвокаты, врачи, где, покачиваясь на ветру, переговариваются о чем-то своем могучие породистые сосны, я вдруг ловлю себя на том, что все еще продолжаю шептать то, что так важно сейчас каждому из нас в моей родной стране: будьте дружелюбны!..



В БРУКЛИНЕ
У БОЛЬШОГО ДЕРЕВА



Когда я подошла к своему месту, в кресле рядом уже сидел крупный старик с большим, массивным, румяным лицом. То есть старик еще не сидел, а активно усаживался, размещая длинные руки и ноги. Плечи его казались шире спинки кресла. Клетчатый иностранный пиджак, роговые очки, добротные башмаки на толстой подошве. Американец, небедный... Но откуда в американце эта беспомощность, суетливое желание пристегнуть ремень, хотя табло не загорелось, это неуверенное выражение лица? Почему от волнения у него дрожат руки? Неамериканское поведение в самолете... Американец давно бы уткнулся в газету.

Наконец он пристегнулся, уgomонился, достал огромный клетчатый платок (нет, американец все же!), утер пот с лица, стал смотреть в круглое окно иллюминатора. 77

А за окном был безумный нью-йоркский аэропорт — садились самолеты, деловито сгружался багаж, на дальних дорожках взлетали машины разных авиакомпаний мира. Лицо моего соседа светилось изумленным восторгом. Он повернулся ко мне:

— Душенька, — сказал он на прекрасном, давно позабытом нами русском языке, — душенька, как я рад, я ведь загадал: с кем окажусь рядом в самолете, так меня на Родине и встретят.

— А вы русский?

Сосед мой хотел было обидеться, но тут же простил:

— Я ж говорю, первый раз лечу на Родину. Как я рад, душенька, меня зовут Иван Нестерович, а вас?

— Галина.

— Красивое имя, старинное. А из каких вы мест?

— Из Москвы.

— А я, душенька, всю жизнь в Нью-Йорке прожил. Вот... первый раз... — У Ивана Нестеровича сделалось совершенно детское выражение лица, и он испуганно приложил ладонь ко рту. — Первый раз в жизни полечу на самолете. Страшно будет, да, душенька?

— А по Америке вы ни разу не летали?

— А зачем? Всегда ездил с женой поездом. Она умер-

*Иван Нестерович Сидоров
у своего
«Большого дерева».*

ла недавно, тоже русская, хорошая была женщина.— Он снова испуганно поглядел на меня, снова этот жест, ладонь ко рту.— Труженица была. Мы с ней, когда путешествовали, всегда брали, как это сказать, комнату...

— Купе?

— Нет, комнату, знаете, такую, со всеми удобствами, большую! И ехали на Западное побережье, это был наш отдых.

Самолет взревел, покатился по дорожке, стремительно поднялся в воздух.

— Ах, какие прекрасные летчики, русские парни,— сказал Иван Нестерович,— лучшие в мире, правда, душенька? А мы уже по-настоящему летим? Уже высоко поднялись?

78 — Раз над облаками, значит, высоко.

— Как интересно, душенька, и я совсем не боюсь. Давайте поближе познакомимся. Поглядите на мои руки. Я портной. Почему вы удивились? Хороший портной нынче редкость. А я с мальчиков начинал, в швейных мастерских. Я, душенька, своим трудом много добился. У меня швейная фабрика была, одежду шили. Продал недавно. Купили с женой в шестидесятом году, а перед ее смертью, в восемьдесят третьем, продали. Я не хотел продавать, мне мой бизнес нравился, я свою профессию люблю. Жена настояла. Я, душенька, человек небогатый, но обеспеченный. А что мне после ее смерти надо? Ничего...

— Что за сосед такой разговорчивый попался? — буркнул сидевший слева от меня сотрудник ООН, ученый довольно известный, но брюзга, вечно всем недовольный.— Дед, а дед, ты русский американец, что ли? Вроде я твои фотографии видел, давай знакомиться, дед!

— Давайте,— радостно согласился Иван Нестерович.— Я, знаете ли, первый раз в Россию...

— Все слышал, дед, мы сейчас с тобой вот что организуем, мы сейчас с тобой выпьем.

— Давайте,— счастливо сказал Иван Нестерович,— со своими, с русскими, вот, дождался... Только, чур, я угощаю, можно? — просительно сказал он.

— Нужно,— отрубил ООН.

— Девушка, девка! — позвал Иван Нестерович стюардессу.— Девка, это я правильно называю? — испуганно приложил он ладонь ко рту.— Я всех молоденьких девками люблю называть, красиво получается, старинно. Девка — это ведь комплимент, да, душенька?

— Давай, дед, не тяни, заказывай!

— Нам, милая девка,— сказал Иван Нестерович подошедшей стюардессе,— самую большую бутылку неси!

— А чего, дедушка?

— Виски,— сказал ООН.

— А я думал, водки «Столичной»,— огорчился Иван Нестерович.

— Нет, виски. Водкой в Москве зальешься,— распорядился ООН.

— А бутылку самую маленькую,— вступила я.

— Все ясно,— четко сказала стюардесса, и на моем столике появилась бутылка. Так или иначе, но советский человек сейчас вроде бы не очень-то пьет, особенно прилюдно, и ООН трусливо переставил бутылку ко мне.

— Ну что,— сказал Иван Нестерович,— за нашу великую Родину, за наш народ!

— Ну ты даешь, дед! — сказал ООН.— Политический ты какой старик!

— Я не политический, я Россию люблю.

— Это ты, что ль, деньги жертвуешь на русские нужды?

— Ну я,— застеснялся Иван Нестерович.— А откуда вы знаете?

— Газеты читаю. Выпьем давай. Фамилия у тебя какая?

— Сидоров.

— Точно, Сидоров. Помню. На Чернобыль. На газету «Русский голос».

— Я всю жизнь на эту газету жертвую,— сказал Иван Нестерович,— я член комитета.

— У вас что, и комитет есть? Небось выборный? — хохотнул ООН.

— Выборный...

— Даешь ты, дедуля. Где жена-то твоя? Один почему летишь?

— Умерла,— голос у Ивана Нестеровича дрогнул. Он отвернулся от нас к окну. На вопросы ооновца больше не отвечал, делал вид, что не слышит.

Так мы летели долго. Ооновец заснул, но и во сне часто вздрагивал, ошаривал стоявший у него в ногах крупногабаритный кассетник, который он пронес в салон. Коробка мешала нам с Иваном Нестеровичем выйти, мы сидели тихо как мыши и шептались. Он рассказывал свою жизнь, расспрашивал меня. Чем ближе мы подлетали к Москве, тем больше он возбуждался.

— Душенька, я весь открыт радости, я помолодел,

как мальчик. Правильно я выражаюсь? Я все люблю! Самолет люблю, небо люблю. Душенька,— голос у него дрогнул,— я ведь совсем один, только кошечка у меня, тоже старая, больше никого. Меня в Москву на два месяца пригласили, а я не могу. Некому за кошечкой присмотреть, взялся один человек всего на месяц, деньги с меня большие взял. Такая страна Америка, ничего не попишешь. Просил на два месяца — не могу, говорит. Бросить кошечку — это предать животное. Нехорошо, правда, душечка? — Он понизил голос.— Я готов полюбить, вот какой я вам открою секрет. Я сам ее буду обшивать, на руках носить стану. Готовое — это плохое. Если сейчас в России кого встречу, полюблю — женюсь.

— Не женись,— проснулся ооновец.

— Почему? Считаете, я старый?

— Не женись,— повторил тот.— Вдруг жену к тебе не выпустят?

— Сейчас другие законы, сейчас всех выпускают! Венские соглашения, не читал? Общеввропейский дом, я — старик и то в курсе!

— Все равно, мало ли...

— Ну и что? — по-детски удивился Иван Нестерович.— Тогда я с ней на Родине останусь, даже лучше.

— Не связывайся ты с русскими бабами, дед.

— Русские девки — лучшие в мире. Я точно знаю. Я молодой был, красивый, я знаю. Негритянки — хорошие девки, а русские еще лучше.

— Не связывайся, дед, не советую.

— Почему он такой злой, душенька? — зашептал Иван Нестерович.

— Жена у него такая...

— Да? — успокоился он.— А я думал, это он ко мне так, за то, что я американец. Душенька, а вы мне советуете... если встречу?

— Как сложится.

— Да-да-да, как сложится, вы правы, я по городам буду ездить, гулять по улицам стану, с Родиной знакомиться, с людьми... Как сложится, душенька.

Самолет шел на посадку, появились подмосковные леса, озера, вот и березы стали видны. Мой сосед неотрывно смотрел в иллюминатор, лицо его побагровело. Я испугалась.

— Вам плохо?

— Чего? Первый раз вижу,— задохнулся он,— первый раз, березы, красота-то какая, лес какой!..

— Как в Канаде,— подбросил ооновец.

— Молчи, дурак,— вдруг грозно оборвал его Иван Нестерович.— Теперь ты у меня помолчишь! — И, обернувшись ко мне: — Я горжусь, что я русский! Я всегда гордился, даже когда был этот подлец, как его... сенатор Маккарти... Вот она, Родина, хоть напоследок увижу.

Самолет приземлился. Ооновец скрылся, не попрощавшись. Мы вышли, прошли по рукаву, вошли в первый зал. Ивана Нестеровича встречали трое молодых людей с букетами. Они тут же подхватили его под руки и куда-то быстро поволокли.

— Душенька, душенька! — кричал, оглядываясь, Иван Нестерович.— А телефон, ваш телефон? В каком я буду жить отеле? — спрашивал он встречающих.— Знакомая у меня...

81

— Найдется, найдется,— утаскивали они его, а он все вырывался.— У вас плотная программа встреч, Иван Нестерович.

И мой спутник исчез, растворился в толпе. Все вокруг куда-то бежали.

2

Вернувшись из отпуска в Нью-Йорк, мы разыскивали Ивана Нестеровича, приглашали в гости. Он звал к себе, в Бруклин, далекий от нас район города, каждый раз подробно объясняя, на каком светофоре сворачивать. По его описанию все выходило просто: «налево, направо, как въедете на улицу, сразу останавливайтесь у большого дерева. Под деревом мой дом. У дерева я буду вас ждать».

«Иван Нестерович, да дайте нам номер дома!» — возражали мы. «А зачем? — удивлялся Сидоров.— Заблудитесь только! Я вам точно адрес даю. Такого большого дерева во всем Бруклине больше нет».

Он упорствовал. Мы все не ехали. Наконец встретились на юбилее газеты «Русский голос». Юбилей праздновали на Манхэттене, в «Украинском доме». Большой зал был полон людьми. В президиуме сидели приехавшие из Москвы гости, сотрудники советского посольства и консульства.

По американской традиции сначала был обед. Мы расселись за длинные столы, на которых стояла горячая картошка, селедка, огурцы, ветчина — стандартная русская закуска. Милые женщины обносили тушеным мясом: «Кушайте, пожалуйста». Было много водки. Напротив

нас оказался какой-то древний старичок с такой же древней женой. Хорошо закусывал, еще лучше пил. Пил он из стакана, рюмку он сразу решительно отодвинул. Он все чокался с нами, гостями из Москвы, и хитровато улыбался щербатым ртом. Рядом с ним сидел пожилой чернявый человек, бывший капитан Советской Армии. Сражался, попал в плен, бежал, оказался в Европе, перебрался в Америку, инженер, много лет сотрудничает в «Русском голосе». Он и радовался нам, и стеснялся, и горячо рассказывал о войне, о плене, и признавался:

— К бывшим военнопленным до сих пор как-то странно относятся. Вроде бы все и хорошо, а недоверие к себе до сих пор ощущаю. И проверили меня давно, и езжу к родственникам в Союз, а все равно... Что здесь делаю? Работают, пишу в нашу газету, помогаю материально.

— О-о,— улыбался старичок,— хорошо помогает, молодец, всегда деньги дает. Я тоже активист, но я бедный, я на пенсии. Вон, поглядите, вам один человек машет с того стола, тоже наш активист, Иван Нестерович. Иван, поди сюда,— задребезжал старичок.

Подошел высокий, валяжный Иван Нестерович, очень нарядный. Модный пиджак, модная рубашка, дорогой галстук солидного человека:

— Душенька, наконец-то! Это ваш муж? Когда ж ко мне приедете? А я все один, душенька, так и не женился.

— У Ивана жена умерла,— задребезжал старичок.— Мы ему невесту ищем. Он у нас завидный жених, с капиталом, фабрикант.

— Я есть фабрикант, но не эксплуататор,— начал Иван Нестерович с обиженным видом.— Я своих рабочих не эксплуатировал, я просто хороший закройщик...

— Да ладно тебе, Иван...

— Не ладно, перед людьми позоришь, правда, душенька?

Но тут их спор перебили. Обед кончился. Пошли торжественные речи. Газета «Русский голос» отмечала свой семидесятилетний юбилей. Говорили гости из Москвы, один из них, представитель общественной организации, заключил свое приветствие стихами Владимира Набокова:

Бессмертное счастье наше
Россией зовется в веках.
Мы края не видели краше,
А были во многих краях.
Но где бы стезя ни лежала,
Нам русская снилась земля.
Изгнание, где твоя жалость?
Чужбина, где сила твоя?

В зале захлопали. Оратор продолжал:

Мы знаем молитвы такие,
Что сердцу легко по ночам.
И гордые музы России
Незримо сопутствуют нам...

По залу снова пошел радостный гул.

— Да-да,— сказал официальный гость.— Сейчас, в эпоху гласности, мы печатаем и лучших эмигрантских писателей.

— Кого-кого он читал? — громко переспросил наш сморщенный старичок.— Набокова? Он был аристократ, я его книги не понимаю, я простой рабочий.

— Ну и не понимайте,— стыдясь перед нами за старичка, быстро сказал участник Великой Отечественной войны.— Пусть другие почитают. 83

— Пусть,— радостно согласился старичок.— Разве я против? Пусть каждый читает что хочет.

— Ну, это вы уж слишком,— сказал участник войны, беспокоясь: вдруг так говорить пока не следует?

— Давайте выпьем за гласность! — распорядился старичок.— Только за нее полными стаканами! Иван! — закричал он,— иди сюда, за гласность пьем!

— Тише ты! — низким баритоном отвечал ему с другого конца Иван Нестерович.

А милые женщины все носили новые и новые блюда: «Кушайте, пожалуйста».

Потом приехавший из Москвы артист пел русские романсы и песни, зал подхватывал.

Потом снова пошли речи. Замечательно говорили два главных редактора — украинской и венгерской газет. Оба старые убежденные люди, много видевшие, пережившие разные времена. Они говорили о том, как начиналась газета, о том, как была насущно необходима газета, как она объединяла русских людей, приехавших из России на заработки, от голода, от политических преследований. В зале вдруг повеяло тем живым воздухом давно минувших лет, когда так сильно было в Америке левое движение, профсоюзы, когда объявлялись и с кровью выигрывались массовые забастовки. 20—30-е годы вспоминали эти люди. Выходило в те годы много газет на русском языке, а из прогрессивных выжил только «Русский голос».

Зал, состоявший из очень пожилых людей, замер. Зал тоже вспоминал. Потом объявили, что выступит старей-

ший читатель газеты. И он встал. Да, это был наш старичок.

— Я старейший! — гордо сказал наш старичок. — Я самый в этом зале старый. Мне девяносто четыре года. Удивились?

Он покосился на нас с торжеством. — Я читаю нашу газету с самого первого номера. Все новости узнаю из нее, вот так. Всегда помогал, чем мог...

— Помогал, помогал! — зашумели в зале.

— Будьте здоровы, живите долго! — сказал старичок. — Ура! Выпьем за здоровье! — жена щедро плеснула ему водки.

84 Он стоял очень ровно и, к нашему изумлению, совершенно трезвый. Со всех сторон подходили и целовались с ним старые русские люди. И со всеми он нас знакомил. Девяносто три, девяносто два, девяносто... Люди помоложе были ему уже не так интересны. Почти все наши новые знакомые оказались бывшими рабочими, почти все или родились в Америке, или были привезены сюда детьми еще в конце XIX века.

Потом снова запел артист из Москвы. Праздник разгорался.

А старичок между тем рассказывал:

— Как оказался в Америке? Приехал в 1910 году из Херсона. Было мне шестнадцать лет. Сначала был черно-рабочим, потом на электрика выучился. Потом в армию забрали, воевал в первую мировую войну во Франции, немцы меня газами отравили, в госпитале лежал полгода. Потом пенсию дали — семьдесят восемь долларов. Потом? Всю жизнь работал. Теперь в отставке. Садик у меня, огород. Картошку, помидоры развожу. Теперь сын мое дело перенял.

— А вы в Советском Союзе бывали?

— Я? — удивился старичок. — Четыре раза был, к сестре ездил. Не видал ее пятьдесят пять лет. Умерла она уже. Старше меня была. Съездил бы еще, да здоровье не позволяет. А так... я закадычный патриот своей Родины! Иван, иди сюда, подтверди.

— Да, мы закадычные патриоты, — тихо сказала его жена. — Вот и дочка наша тоже. Наташа, предложи гостям мяса!

— Эта ваша дочь?

— Конечно. Вон и внуки сидят с женами. Мы все, русские, держимся вместе...

Наш старичок неожиданно встал. Ему захотелось спеть.

Степь да степь кругом,
Путь далек лежит.
В той степи глухой
Замерзал ямщик...

Дребезжащий голос его выровнялся, стал плавен, подчинившись мелодии песни. Ему подпевали жена, друзья-старики. Они выстроились вокруг него, прижавшись друг к другу.

Пела старая, казалось, давно ушедшая Россия. Окна в зале были открыты. Песня вырвалась на Манхэттен, где на ступеньках домов сидели негры, где торговали в своих магазинчиках корейцы, где славянские забегаловки и рестораны уже были полны русскими, украинцами, белорусами, поляками, литовцами, где в маленьких независимых театрах уже начинались представления — экспериментальные группы играли пьесы всех времен и народов, в том числе (перестройка!) уже шли и советские пьесы... 85

Старики пели. Зал замер так напряженно, как у Тургенева в «Певцах» слушатели-судьи. И ясно было, и никакие слова этого передать не могут, что есть на свете вечные вещи — Родина, ее народная культура, ее песни, неистребимо заложенные в нас с генами. Глухая степь, буран, братство людей, высота и благородство человека перед лицом смерти...

А коней моих отдай батюшке,
Передай привет родной матушке...

Мне вспомнилось, что мой двоюродный дед, любимый бабушкин брат дядя Дема, замерз в степи в санях, возвращаясь из города к себе в деревню. Значит, и я прикосновена к этой песне, к ее печальному и вечному смыслу.

Песня лилась над Нью-Йорком, который готов, кажется, проглотить и переварить все что угодно, стереть у людей во имя сиюминутных задач и целей (в некотором смысле облегчая им жизнь) историческую память. А эти древние русские люди, так много и тяжело поработавшие в чужой стране, все пели:

А жене скажи, пусть не печалится.
Если есть другой,
Пусть венчается...

Почти столетними жизнями своими, пением старики доказывали, что память отцов и дедов — реальность, что корни живы, что Родина, как бы тяжело ни складывалась

в XX веке ее история, остается Родиной, даже если в течение долгих десятилетий туда нельзя было ни вернуться, ни приехать погостить.

Наконец певцы смолкли, аплодисментов не было, зал молчал.

...С Иваном Нестеровичем мы договорились, что приедем к Большому дереву в самое ближайшее время.

3

86 Большое дерево оказалось найти нелегко. Мы крутили уже больше часа, а все никак не могли вырулить на маленькую улочку, расположенную в середине квартала. Наконец стоп: мелькнуло огромное дерево. А вдруг? Поехали наудачу.

Под Большим деревом стоял Иван Нестерович и укоризненно качал головой.

Двухэтажный деревянный дом, очень скромный. И улица скромная, из тех, на которых живут представители «лоу миддл класса» — низшего слоя среднего класса. Бывший хозяин фабрики и эта улица? Да, значит, фабрика была небольшая. «Аппер миддл класс», высший слой среднего класса — это уже люди с миллионами, и живут они, как правило, или на Манхэттене, или в небольших городках неподалеку от Нью-Йорка на берегу океана в собственных виллах.

А может быть, выбор жилья — это еще и характер человека? Вся его предшествующая жизнь, привычки? К тому же мне вспомнилась газета: ни один список пожертвований не обходится без имени Сидорова. Причем почти всегда это довольно крупные суммы.

Поднимаемся по крутой лестнице. Иван Нестерович арендует второй этаж. Входим сразу на кухню. Это большая комната без окна. Стол празднично накрыт. Селедка, малосольные огурцы, салат, ветчина...

В кухню заходит пожилая женщина, яркая, худощавая, нервная блондинка, очень скромно одетая.

— Вот познакомьтесь, из наших активисток, попросил помочь.

— Да, они просили...

Знакомимся. Она из перемещенных лиц, из-под Киева, девочкой угнали на работу в Германию, там вышла замуж, в конце концов оказалась в Америке. Стесняется нас, даже боится. «Перемещенные лица» ведут себя так почти всегда.

— Хорошая женщина, труженица,— говорит Иван Нестерович.— Двух сыновей подняла, работала, надорвалась, болеет теперь...

— Да, я часто болею...

— А дети где?

— Дети у нее профессора в Вашингтоне.

— Сто тысяч долларов в год, а старший почти двести,— гордо сообщила блондинка.

— А вам помогают? — задаем мы извечный бестактный «русский» вопрос.

— Зачем? — пугается блондинка.— Мне хватает.

— Дети здесь родителям не помогают,— смягчает Иван Нестерович.— Она с ними надорвалась, а помогать не помогают.

— У них у самих дети,— говорит она.

— И дома с бассейнами,— вставляет Иван Нестерович.

87

Блондинка обижается и уходит в соседнюю комнату: «Я вам больше не нужна, все закрыто».

— А картошка?

— Картошка варится,— обижается она еще больше.

— Вот, душенька, какой характер,— обескураженно говорит Иван Нестерович,— украинка, вот и характер.

— У них тоже характер,— доносится из соседней комнаты.

Мы ходим по квартире. Запущенное стариковское жилье. Кругом нестертая пыль. пышная, чисто американская спальня: широченная кровать, покрывало с рюшками, дешевые картинки в дешевых рамках. Нет, совсем не жилье миллионера.

На тумбочке у изголовья кровати две книжки. «Стихи» Анны Ахматовой и ее «Биография», изданная Лениздатом. «Биография» открыта на годах, посвященных войне.

— Любите Ахматову?

Разводит руками: да, дескать, люблю, что поделаешь? Молчит, потом говорит:

— Жизнь вот ее прочел, большая она была труженица, Ахматова Анна.

В маленькой гостиной со сплошным стеклянным окном на улицу всего два кресла и журнальный столик. На нем груда газет и журналов, все на русском языке. И книга лежит. Василь Быков, «Знак беды», Минск, на белорусском языке.

— А вы знаете белорусский?

— Так у меня ж отец белорус. А мать русская... Тяжелый был человек. Такой тяжелый, что, когда я родился, запросилась она у него к родным домой съездить. Он сказал: езжай, но обратно не приму. Она не поверила, увезла меня на пароходе в Россию. Война началась. Первая мировая. Мать со мной скиталась, мы же из Белоруссии, разыскала тетку в Ташкенте, поехала туда. В Ташкенте первый раз увидел на базаре негра. Что туда его занесло, до сих пор не понимаю. А было мне тогда три года. Я думал, сажей человек измазался, а он высморкался, нос платком вытер, а следов на платке нет. Вот я удивился! Потом мать нашла сестру в Польше, перебралась к ней. Отдали меня учиться в портняжную мастерскую. Сколько мне было? Мало. В школу надо было идти учиться.

88 В Польше очень высокий класс шитья. Поучился, поплыли к отцу в Нью-Йорк. Он нас, как и обещал матери, не принял, хотя женат не был. И пошел я в пошивочную мастерскую. Так жизнь и пошла: шил, строчил, стал дизайнером по снятию модных моделей.

— Много работали?

— Мальчиком с утра до ночи. Потом меньше. У нас были профсоюзы, мы боролись. Нью-Йорк был город швейников. У швейников всегда были сильные профсоюзы. Тогда совсем иначе рабочие жили. Дружно. Догадайтесь: сколько я языков знаю? И белорусский, и польский, и еврейский... Да-да, был у нас один парень, совсем по-английски не мог, я ему переводил и через него идиш выучил. А объяснить? Это я на многих языках могу. Такой был когда-то Нью-Йорк! Интернациональный был город, ничего не скажу. Это теперь все кончилось.

Ну а мы, русские, еще в наших клубах объединялись. Вокруг газеты «Русский голос» молодые ребята крутились. Редактором был тогда Крынкин, чудный человек, добрый. Избрали мы с ним рабкоров газеты. Читать-то многие из нас не очень умели, а уж писать!.. Крынкин нас соберет, лекцию прочтет: с чего начинать писать, чем заканчивать. Сам он был доктором юридических наук, а простой народ любил, жизнь свою, можно сказать, ему посвятил. Показывать вам мои заметки? Пойду поищу. Жена-покойница вырезки делала.

Иван Нестерович ушел в соседнюю комнату, там что-то загрохотало, то ли чемодан упал, то ли стул, испуганно закричала приятельница-блондинка.

— Да не ищите, Иван Нестерович, не надо!

— И куда девалась папка? Ничего без жены найти

не могу, — растерянно сказал он. — Никак не привыкну... Ну ладно, я на словах скажу. О предприятиях мы писали, о русских вечерах, о банкетах. — Иван Нестерович приложил ладонь ко рту, задумался. — Я вам признаюсь, врать не стану. Крынкин прочтет мою заметку и так необходимо все и перепишет заново. И все равно, я хожу горжусь, подпиш в газете: Иван Сидоров, рабкор.

— Иван Нестерович, а почему вы все стоите?

— Я, душенька, сидеть не люблю. Я ж всю жизнь артистом был, на сцене представлял...

— Как артистом?

— Так, обыкновенным. Артисты на сцене ходят, вот я и привык, с людьми когда говорю, стоять или ходить. Я в спектаклях, душенька, играл, в водевилях. Пел, декламировал. И это кончилось, закрылись русские клубы, где мы пьесы ставили. — Иван Нестерович вздохнул. — Некому больше играть. А вы удивились, что я артист? — вдруг обиделся он. — Я ж видный парень был, красивый, можно сказать. Высокий, кудрявый. Меня за это на главные роли представлять звали. Кудри белые, глаза голубые. Девки меня за красоту любили. Я потому и женился поздно, девки проходу не давали. — Тут он испуганно приложил ладонь ко рту. Нет, блондинка молчала.

— А что? Пусть слышит. Она мне просто знакомая, да и не верит уже, думает, я всегда такой старый был.

— Я не думаю, что вы старый, вы шумный, — донеслось из соседней комнаты.

— Слыхали? А я не обижаюсь, нисколько. Жизнь у нее тяжелая была, обид много. Недавно на Родину ездила, у родни гостила.

— Вам понравилось? — громко спросил он.

— Красиво... Только одежды хорошей мало, и ботинок нет, — сообщила блондинка. — А так ничего. Фрукты летом лучше наших, а зимой их нету.

— Слыхали? — расстроился Иван Нестерович. — Вот какая женщина! Спорю с ней, спорю! Контра!

— Я не контра, я правду люблю...

— Родину ты не любишь!

— Родину я люблю, только у меня здесь дети.

— Дети у нее, слыхали?

— Я лучше домой поеду, Иван Нестерович, поздно мне уже. А вы тут про свою жизнь людям расскажите, про то, как кудрявым были...

— Слыхали? Язва какая! — Он приложил ладонь ко рту. — Обиделась, — прошептал он нам. — Куда же вы на

ночь глядя поедете, у вас там негры безобразничают. Вас мои гости по пути довезут.

— Благодарствую, Иван Нестерович, не нищая, я и такси взять могу.

— Врешь ты все, денег у тебя нет,— рассердился Иван Нестерович.— Давай лучше за стол сядем, картошку подавай, разварилась уже.

— И мясо давно готово,— раздалось из соседней комнаты.

Мы прошли на кухню, долго искали по комнатам лишний стул, гости тут были, видимо, в редкость. Потом вместе с блондинкой перемывали тарелки и бокалы. Бокалы оказались совсем запыленные, долго не употребившиеся. Наконец все уселись, принялись за еду.

90 — Ну! — поднял рюмку со «Столичной» Иван Нестерович.— Даже я и не верю, что вы у меня дома. Первые советские гости за всю жизнь.— Он приложил ладонь ко рту, задумался.

— Да ешьте вы,— с досадой сказала блондинка.

— Вру! — вдруг сказал Иван Нестерович.— Вспомнил. Были у меня советские гости. Один раз. Во время войны. Матросы. Хорошие парни. Приезжали они в войну забирать пароходы. Мы их приглашали. Собирались в Русском христианском народном доме. Концерт, речи, я тоже пел в концертах. Поговорим, споем, а потом по домам к себе русских парней. И так сладко мне было, такие счастливые мы ходили. Выпьем давайте! За войну, за победу, за нее,— кивнул он на блондинку,— за жертву, девочкой немцы угнали.

Лицо у блондинки сморщилось, в носу что-то подозрительно булькнуло. Она подняла свою рюмку:

— За победу,— сказала она застенчиво.— За то, что мы выжили с вами, правда? И вы, и я вот... тоже...

— И мы в войну без дела не сидели,— сказал Иван Нестерович.— В войну вообще все сразу изменилось, можно сказать, в первые же дни. Сразу начали проводить митинги солидарности с воюющей Родиной. Многотысячные собрания были. Белоэмигранты пришли. Все сидели вместе: князья, графы, рабочие — в одном зале. Все русские были. Давид Бурлюк был, друг Маяковского, он в нашу газету в 30-е годы много писал, князь Юсупов был, наш Крынкин. И все мы в конце митинга спели новую песню:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная, священная война...

Потом мы эту песню всю войну пели. Да... И за дело принялись... Каждый в своем комитете. Их создавалось много, по всей стране. У нас в Бруклине было общество интернациональной рабочей защиты.

— А что вы делали?

— Деньги собирали, одежду для Родины...

— А как собирали?

— Очень просто, по домам ходили. Кто что даст. Многие наши парни в Красную Армию хотели записаться, в Вашингтон в посольство ездили, да никого не взяли, даже генерала Яхонтова, хотя он уже старый был, шестьдесят лет. А нашего Крынкина к себе президент Рузвельт приглашал, в Овальный кабинет, называлось — для частной беседы. Обсуждали русские нужды, помощь Советской России от русских американцев. Жизнь у нас в 91 войну просто кипела, спать было некогда. Днем на работе, а по ночам в комитете свое дело делаешь.

Был у нас еще такой рабочий союз — русские, югославы и евреи — на Бродвее, Девятнадцатая-стрит. Мы там такую ленточку к каждой одежде пришивали, на трех этих языках: «подарок» там было написано. Потом мы ящики картонные покупали и туда все складывали.

— Все сами?

— А кто за нас делать станет? Потом траки заказывали. По четыре, по пять траков сразу приезжали, увозили наши ящики в гавань. Там мы их тесно перевязывали проволокой, приплывал «Калинин» — пароход, или «Тунгур», грузили. Пароходы уплывают, а мы стоим на пристани, крестимся и говорим: «С богом!»

Так мы жили в войну, душечка. Были у нас такие удивительные активисты, чудно умели собирать деньги. Одна женщина была, пожилая русская дама, прекрасная, она по двенадцать тысяч долларов в год собирала. Это очень много. Мы на деньги эти несколько машин для рентгена купили и послали в Боткинскую больницу. Это только наше общество, другие тоже посылали.

Когда мы воевали, знаете, какая была у американцев симпатия к Советскому Союзу? На сто процентов. И все простые люди на всех митингах кричали: «Немедленно открывайте второй фронт!» «Русский голос» работал день и ночь, ежедневная была газета. Печатали сводки с фронтов. Когда прилетали русские летчики, мы плакали от радости. Шли вместе с ними по улицам в обнимку, и все нам вокруг хлопали. А летчики все удивлялись, поче-

му мы плачем. А мы от счастья плакали. А уж когда Красная Армия в Берлин вошла...

Мы гордились, что мы русские. А когда маккартизм начался... Шантаж, угрозы, по телефону звонили, оскорбляли, подслушивали. Отрекитесь, дескать, от того, что вы русские, вы давно американцы. Да, но мы русские американцы!

— А сейчас как?

92 — Сейчас? Как политика меняется, так и отношение к нам меняется. Сейчас снова руки жмут: перестройка у вас на Родине, приветствуем. Не все, конечно, но многие. Сейчас полегче стало. А вообще пойду погляжу.— Иван Нестерович легко поднялся со стула, прошел в соседнюю комнату, выглянул в окно.— Вроде никакой машины не стоит. И то хорошо,— успокоенно сказал он.— Ничего страшного, а неприятно. Привык, а неприятно. Человеку с русской фамилией тяжело. Многие поэтому поменяли. А я не стал. Иван Сидоров я — вот вам, терпите!

— Так вы же сами терпели.

— А что мне терпеть? Я всю жизнь среди русских людей провел. Есть у нас клуб имени Чернышевского. Там мы собираемся, говорим о политике, приглашаем советские делегации. Стол у нас всегда накрыт. Поговорим, споем, насмеемся вдоволь. И расскажем свою беду друг другу. Вот как мы общались. А как иначе жить? Особенно мы, славянский народ, мы привыкли общаться...

— Они много общаются, друзей у них много...

— А ты разве нет?

— Я тоже,— застенчиво сказала блондинка.— Я завтра с нашими девочками в Атлантик-сити на экскурсию еду, на автобусе. На целый день. Там мы купаемся, гуляем, играем по маленькой.

— Дуры бабы...

— Я там отвлекаюсь...

— Отвлекается она, в рулетку играет...

— Русские люди всегда рулеткой отвлекались, даже писатели.

— Аристократка какая нашлась!

— Я лучше домой поеду, Иван Нестерович.

— Сиди, негры у тебя там шалят, прибьют, я отвечай. Все хуже становится у русских с общением,— заключил Иван Нестерович.— Уже рулетка в ход у баб пошла. Почему? Отмирает старая русская колония. Дети, внуки уже американцы, вон как у нее. Не все, ничего не скажу,

но многие. И поддерживать русскую газету тоже стало трудно. Мы ж молодые были, когда она начиналась, полные сил.

Потом приехали эмигранты из Шанхая, из Аргентины, тоже в поддержку. И белоэмигранты, у них тоже свои общества, они нынче тоже все старые. Кончается русская кровь в Америке, к тому идет...

Давайте чай пить. У меня для вас особый пирог. В старую русскую лавку ездил, боялся, не закрылась ли.

Мы сели пить чай с пирогом. У ног Ивана Нестерова мостилась та самая кошка, из-за которой он не может надолго отлучаться из дому.

— Иван Нестерович, а как вам гостилось в Советском Союзе?

93

Он задумался, приложил ладонь ко рту, долго молчал.— Родина, одно слово. Кремль красивый очень, люди добрые, может, это ко мне, старику, не знаю. Только... нет, не стану говорить...

— О чем?

— Не стану. Я всем отвечаю: «На моей Родине все прекрасно!..» Пошли на улицу выйдем,— предложил он вдруг.

Мы вышли на улицу, остановились под Большим деревом.

— Здесь все же лучше разговаривать, спокойнее. Прекрасная Родина,— грустно сказал Иван Нестерович,— только беспорядку в ней много. Не ожидал я такого противоречия. Причем на каждом шагу.

Живу я в отеле «Ленинградская», наслаждаюсь, чудный номер, Москва вся видна. Прихожу утром в ресторан, чаю прошу. «Можем,— отвечают,— рекомендовать холодный ромштекс». — «Девки,— говорю,— как же так, я же старый, мне б с утра чего горяченького выпить». — «А у нас, дедушка, ремонт и самовар тоже сломан». А сами сидят, наряд у них веселый, пепсы пьют и хохочут. И рабочие тут же сидят, курят, шуточки с ними шутят. «Какой же,— говорю,— у вас ремонт, если они курят?» — «Они не курят, у них перекур». А всего лишь десять часов утра. Ничего я не понял, днем прихожу. Шесть девок борщ мастерят.

— Девчата, говорю, кому борщ варите?

— Клиентам.

— Да вы ж все, что сварите, сами и съедите.

— Ничего, и вам достанется, сейчас нальем.

Приходит официантка, приносит тарелку:

— Ешьте.— И сама возле меня села.

— Чего ты сидишь, говорю, у тебя полный зал народу, тебя клиенты ждут.

А она только рукой махнула, дескать, подождут.

— Ну, говорю, я б такую девку с работы сразу выгнал.

А она мне:

— Мы не в Америке. А ты, дедушка, случайно не из Америки?

— Из нее.

— А жена у тебя есть?

— Умерла, невесту ищу. Ты девка складная, пожилая, иди за меня.

— Я б с удовольствием, больно Родину оставлять
94 страшно.

— Что тебе страшно, приезжать будем каждый год. Или у тебя дети?

— Нет, я одна, муж ушел от меня давно. Боюсь я просто...

— Видите, как все сложно получается? Работать она не хочет, а такая добрая девка, патриотка, в Америку совсем и не стремится.

— А еще что вы заметили?

— Изучал я магазины во всех городах. Не обижайтесь, душенька, но я поражен. В какой магазин не зайду, стоят продавщицы без дела. Особенно там, где сувениры. Прошу что показать, как истуканы стоят, будто не слышат. «Девки, говорю, на работе шевелиться надо». А они мне: «Что за настырный дед». Куда ни войду, всюду мне это слово предъявляют: настырный... А я им в ответ: «Девки, я б вас всех уволил. Если бы у меня так рабочие на моей фабрике работали, я б сразу разорился. Я б тут вас двоих оставил, а остальные ступайте в народное хозяйство, там рабочих рук не хватает». А они промеж себя громко так, чтоб я слышал: «Мы с ним по-хорошему, а он нам хамит».

Ну поездил я, погулял, по музеям походил, вызывают меня в «Общество» — побеседовать перед отъездом с начальством. Говорят, он уже сейчас на пенсию вышел.

— Дорогой Иван Нестерович, вы у нас в стране впервые, понравилось ли вам?

— Это Родина моя, какой разговор. Но есть у меня и замечания.

— Слушаю вас, дорогой Иван Нестерович!

— Почему у вас так много народу без дела болтается?

— Например?

Не хотел я ему примеры приводить, да пришлось:

— Почему, например, у вас в ресторанах шесть девок один котел щей варят? Я такого нигде не видел, это безобразие.

Начальник этот слегка улыбнулся:

— Совершенно с вами согласен, Иван Нестерович.

— Я по всем городам по магазинам прошелся. Очень много девок за прилавками стоят и скучают. Их бы уволить.

Еще шире улыбка у начальника:

— Совершенно с вами согласен, Иван Нестерович.

— Ходил я, изучал фасоны мужской одежды. Пиджаки сшиты плохо. У меня была швейная фабрика, я понимаю. Рукава у вас не умеют вшивать...

95

— Ну и что вы посоветуете, Иван Нестерович?

— Что ж советы-то пустые давать. У меня к вам предложение. Дали бы вы мне здесь, в Москве, комнатенку. И что кушать, обеспечили бы. Стал бы я у вас жить, учеников завел бы, закройщиков. Мужские костюмы учил бы шить.

— Какой вы активный, однако, Иван Нестерович, в ваши-то годы! Удивительно просто!

А сам, между прочим, постарше меня.

— Да, говорю, у меня голова не для декорации...

Поглядел я на него внимательно, а он в открытую смеется. И так обидно мне стало!

— Если вы считаете, что перед вами глупый чудак, считайте, как хотите, а мне все равно.

А он еще пуще заливается:

— Ну вы и активист. Значит, правду мне о вас докладывали, что вы крупный активист.

Начальник этот все смеется, а я молчу: сдержусь, думаю, все ж таки это моя Родина. И чего он надо мною смеялся? Что такого смешного я предложил? В Москве поселиться и даром людей профессии учить? Никак ничего не пойму. Может, объясните мне, душенька?

...Был осенний теплый вечер. Мы стояли под Большим деревом на пустынной темноватой улице. Вдруг на нее въехал длинный фургон с мороженым. Из соседних домов выбегали дети, выстроилась очередь. Улица ожила.

— Это итальянские ребята, а это греческая семья,— объяснял Иван Нестерович,— а это пуэрто-риканские

хлопчики. Хотите мороженого? Нет? Жалко. Я люблю. Может, сбегать все же? Душенька, как я рад, что вы с мужем у меня в гостях.— Иван Нестерович приложил ладонь ко рту, задумался.— Снова советские гости, как в войну... А, может, нынче в последний раз?

— Почему в последний? — запротестовали мы.— Приезжайте в Москву, теперь к нам в гости.

— Приеду, если позовут. Да только что ж деньги-то зря переводить? Я б хотел с пользой приехать. Я без пользы жить не привык...



**ПОЧВА
ПОД НОГАМИ**



Автобус мирно катит по непривычно узкому для Америки, извилистому шоссе, идущему вдоль залива мимо игрушечно чистых, веселых городков. Все вокруг цветет. Весна, конец мая, лучшее время в году. Сколько раз воображала себе: как это выглядит? Оказывается, все просто. Остановка. Старые развесистые деревья. Коричневая деревянная доска, которую сразу и не заметишь. Надпись: «Толстовский центр».

На Толстовской ферме сегодня большой праздник — пятьдесят лет со дня основания фонда. Прием, видно, давно начался. Под большим полосатым тентом белеют накрытые столы. Под другим, рядом, прогуливаются по зеленой лужайке нарядно одетые люди. Мы вошли под тент. Стол с овощами и сыром, официанты разносят 99 пирожки. Оглядываюсь. Ну вот, мой добрый неутомимый гид по Нью-Йорку старой эмиграции, отважно привезший меня и сюда, Михаил Григорьевич Щербинин, 83-летний человек с душой и повадками счастливого ребенка, уже бесследно исчез, хотя клятвенно обещал меня не покидать. Бросил, думала я мрачно, доверилась, а ведь сам предупреждал, что «советские» в гостях на ферме еще не бывали и потому возможны «неприятные моменты». Вот сейчас моменты и начнутся, никого вокруг не знаю. И тут, к счастью, я увидела знакомую пару — экономиста Василия Васильевича Леонтьева и его жену Эстелл. Да, вспоминаю я, они собирались быть непременно, Леонтьев — один из директоров-распорядителей фонда. Здравствуемся. Василий Васильевич предлагает посмотреть стенды, расставленные вдоль лужайки. На них история фонда за пятьдесят лет. Мы рассматриваем пожелтевшие старые фотографии — Александра Львовна Толстая, Татьяна Шалфус, Игорь Сикорский и совсем молоденький, худой, высокий — нынешний президент фонда князь Теймураз Багратион. Снова Сикорский: дерзкая фигура на фоне геликоптера. Снова А. Л. Толстая, коленопреклоненная, уже немолодая — закладка Старческого дома. Вокруг нее духовенство. Еще один стенд, и снова старые фотографии — птичник, вольготно

расположившаяся на траве довольно тощая свинья, молодой человек с вилами в руках перебрасывает сено... И тут за нашими спинами раздается бодрый голос Михаила Григорьевича:

— И уже никто в мире, наверное, не помнит, что это сын посла Извольского, Гриша, он здесь много помогал. А вы знаете историю покупки фермы? — Леонтьевы неопределенно пожимают плечами. — Значит, не знаете? А было так. Мне Александра Львовна много раз рассказывала.

— А вы были с ней знакомы?

100 — Я? — Михаил Григорьевич изумлен. — Мы близко дружили, с тридцать шестого года, еще до фонда. Нет, я вам с самого начала расскажу! — Он приглашающе радостно глядит на Леонтьева, готовый щедро делиться своей радостью — воспоминаниями о дружбе с Толстой, удовольствием от приближающегося обеда, множеством людей, которые, проходя мимо, кланяются ему. Всегда сдержанно суховатый Леонтьев также сдержанно кивает: рассказывайте. Михаилу Григорьевичу большего и не надо:

— Значит, было так. Жили в Москве три подруги: Александра Львовна Толстая, Ксения Родзянко и Татьяна Шалфус. Татьяна была замужем за сыном министра путей сообщения...

Тут я начинаю бояться, что Михаил Григорьевич по своей привычке углубится в родословные и потопит в них рассказ о ферме. Нет, он наскоро успевает упомянуть лишь, что в семье Шалфусов была даже святая, но тут же спохватывается:

— Все трое во время первой мировой войны были сестрами милосердия, потом работали в Международном Красном Кресте. И все трое были очень преданные, идейные...

— В каком отношении? — спрашиваю я.

— Ну, на человечество работали, — обижается Михаил Григорьевич моему вопросу. — В этом отношении. Это была полная гуманность, борьба за улучшение всего в России. Сразу после революции они беспокоились о судьбе духовенства, находили священников в тюрьмах, навещали, настаивали, действовали от имени Красного Креста. Тогда он еще признавался. Вызволяли высоких духовных лиц. Ну и сами попали под опалу. Что-то с ними случилось, что точно — не помню, но им удалось дать знать о своей судьбе. О них стал хлопотать Масарик,

президент Чехословацкой республики и одновременно президент Красного Креста, не знаю, так они мне говорили. Он добился того, что Татьяна Шалфус и Ксения Родзянко выехали в Чехию, а Александра Львовна осталась в России, одно время заведовала Ясной Поляной. Потом она тоже уехала, в Америку.

К Леонтьевым кто-то подошел, отвлек, отвел в сторону. Жадной слушательницей Щербинина осталась я одна. И он продолжает:

— Александра Львовна получала тут маленькие деньги за отца.

— И что, все три подруги съехались в Америку?

— Да. Это были очень деятельные, активные женщины.

— А какая была Александра Львовна?

101

— Она была очень крупная, вся в отца. И в ней было много здорового здравого смысла. И Ксения была прелестный человек, самая женственная из них, у нее была большая кроткая мягкость. Каждая по-своему имела замечательные качества. И вот в конце 30-х годов, когда Татьяна Шалфус приехала в Нью-Йорк из Европы, она говорит Александре Львовне: «Как тебе не стыдно! Что ты сидишь попусту с твоим именем! Стоит тебе только поднять голос, и ты можешь найти поддержку и помощь для нуждающихся русских интеллигентов!» — «Что ты мне советуешь делать?» — Это мне так Александра Львовна рассказывала. — «Создать организацию поддержки русской культуры!» — «На какие деньги?» Выложили они свои деньги, оказалось что-то около двадцати долларов. «На эти?» — спрашивает Александра Львовна. — «Это очень просто, надо обратиться ко всем русским, у кого есть средства». Тут Александра Львовна подумала и спросила: «А как же почва под ногами?»

В этом месте своего рассказа Михаил Григорьевич надолго и радостно рассмеялся:

— Вы понимаете, да? Вся в отца! Мне кажется, сказала Александра Львовна, что без основы на базе сельского хозяйства ничего нельзя построить. Нам нужно иметь почву под ногами. Что ж, говорит Татьяна, купим почву, тут есть Игорь Сикорский, у него фабрика, есть Сергей Рахманинов, есть Сергиевский, женился на богатой американке, есть Вадим Макаров, сын адмирала Макарова. Давай начнем с них!

Народу на лужайке все прибывало. Михаил Григорьевич не успевал отвечать на поклоны:

— Вот, рассказываю историю фермы госте из Москвы, — непринужденно объяснял Щербинин каждому проходившему мимо. — Да-да, прямо из Москвы, — повторял он, наслаждаясь эффектом своих слов. И продолжал дальше:

102 — Начали подыскивать почву, решили, что это должно быть место недалеко от Нью-Йорка. Наконец им показали поместье возле города Наяка. Последняя владелица его была инвалид, лежала в больнице, она хотела это поместье продать. Агент недвижимого имущества показал место Татьяне и Александре Львовне: большой каменный дом, здания для фермы, сарай — все, что нужно. Это была настоящая старая ферма, но в таком месте, где фермы уже выходили из быта. Агент назвал им цену. «Может, ее можно как-то снизить?» — спросила Александра Львовна. А агент им: «Обращайтесь к самой мисс Рид, она в больнице». Ну посоветовались и решили, что с Александрой Львовной поедет Вадим Макаров. И вот они начинают объяснять владелице, зачем им нужна ферма. А та говорит: «Чем больше я слышу о ваших планах, тем больше я убеждаюсь, что эту ферму я продать вам не могу». — «Но почему? У нас бескорыстные цели». — «Да, именно поэтому я не могу вам ее продать, я могу вам ее только подарить!..» И она подарила, за один доллар, чтобы законно все оформить. И давай они основывать ферму и устраивать Толстовский фонд. Наняли контору в Нью-Йорке, на Парк-Авеню, в очень хорошем месте, тот дом давно снесли. Там была Татьяна Шалфус, Вера Самсонова, жаль, не успели с ней поговорить, только что умерла, Наташа Шаховская, она была замужем за Набоковым, не писателем, а его братом. И все начали работать — конечно, безо всякого вознаграждения.

— А ферма?

— О, эти времена я хорошо помню! Завели там курятник, пару коров, приезжали казаки из хора Жарова и пахали землю. Они первыми вспахали, чтобы посадить пшеницу и кукурузу. Много народу включилось.

— А куда девали продукты?

— Позвольте, очень просто. Куры несли яйца, — тут Михаил Григорьевич снова начал смеяться. — Татьяна Шалфус каждое утро уезжала в контору в Нью-Йорк и по пути развозила яйца по лавкам. Это, знаете ли, для наших дам была большая морока. Яйца надо было промывать, просвечивать, потому что в Нью-Йорке яйца с кровью внутри не принимаются, это некошерная

пища. Татьяна была очень энергичная, очень. Корзинку в руки и поехала.

— А деньги? Появились?

— Мало, денег было мало. Яйца, молоко, люди понемногу жертвовали. А Татьяна давай добиваться официального признания фонда в Вашингтоне для избавления от налогов. Потом получила право на какие-то пособия. Война в Европе уже шла, первые русские беженцы уже были. И тут началась война Гитлера с Советской Россией. И вышел большой спор. Многие сказали: «Мы русские, теперь мы должны помогать Родине, даже если мы монархисты. Надо спасти Россию!» Некоторые князья возглавили «Общества помощи», многие начали посылать посылки. А Татьяна уперлась: «Ни одной копейки!»

— Как же так? — невольно воскликнула я. — Как же можно? В такие времена? 103

— Вот и многие тоже говорили: «как же так?» — Михаил Григорьевич погрустнел, он не любит касаться «неприятных моментов». — Словом, шли тяжелые споры, Татьяна заняла непопулярную позицию. Она говорила: «В Европе война, много русских интеллигентов в ужасном положении. А русские из Польши, Югославии? А русские из этих стран, которые уже стали военнопленными в Германии? Кто им поможет?» Татьяна сказала: «Надо помогать военнопленным, я боюсь, что наши посылки в Россию пойдут верхам, а не простым людям». У Татьяны было такое мнение. А многие все равно начали посылать посылки, моя мама, например, нашим родственникам.

— И они доходили? — удивляюсь я. — По частным адресам? Из Америки?

А Михаил Григорьевич удивляется моему удивлению:

— Во время войны все доходило. Многие тогда посылали посылки родне. А Татьяна Шалфус снова в Вашингтон — добиваться для Толстовского фонда права работать в Европе. Это было трудно, но своей энергией она добилась.

— А первые жильцы? — спрашиваю я. — Они уже появились?

— Ну как же, в самом Нью-Йорке с самого начала было много желающих. Моя мама жила на ферме всю войну, я к ней прилетал отовсюду, со всех фронтов. Несколько людей построили здесь дома на свои деньги...

— А Александра Львовна занималась фермой?

— Да, и читала лекции, много писала, статьи, мемуары. Она мне всегда говорила так: «Миша, когда я устаю работать головой, я даю моей голове отдых, работая

руками, я ухожу на огород». Мы с вами потом к ее домику сходим.

— Она вас, наверное, любила?

Михаил Григорьевич безмятежно улыбается:

— Люди меня почему-то любят. А с Александрой Львовной у нас была дружба, она знала, что я принимаю большое участие в фонде, ну, понимаете, кого-то привести, заинтересовать, познакомить, если благотворительный вечер, собрать как можно больше людей, тут я сразу, знаете ли, все бросал: для России, для русского дела... Так меня родители воспитали.

104 К Михаилу Григорьевичу все чаще подходят, заговаривают, я продолжаю мучать его своими вопросами, а он, человек деликатный, вынужден отвечать, хотя ему давно стало скучно, ему хочется порхать, шутить, веселиться, а тут я привязалась, неуклюжая надоеда из Москвы со своими неуклюжими вопросами. Наконец он вырывается от меня и убегает мелкими шагами — стройный в свои восемьдесят три года, с прямой спиной, в ослепительно белом костюме, яркой синей рубашке, в белых модных башмаках.

Я побродила по лужайке, присела за один из столов. Соседом моим оказался сухощавый человек из той породы людей, о которой принято говорить: без возраста. Загорелое, удлиненное лицо, пронзительно голубые глаза в густых черных ресницах. Большая клетка пиджака никак не соответствовала выражению лица, очень русскому, добродушно-удивленному.

— Вы из Москвы? — обрадовался он. — А я кадет, закончил Кадетский корпус в Югославии, Владимир Рожанский меня зовут. Как хорошо, что вы из Москвы, у меня к вам масса вопросов. Сейчас, сейчас...

Он уходит и тут же появляется с целой компанией:

— Все мы кадеты, а это наши жены. — И вся компания принимается с любопытством меня разглядывать.

— Мы все родились за границей, — говорит одна из женщин на очень чистом русском языке. — Кто в Югославии, кто во Франции, живем теперь здесь, после войны приехали. А мы в Россию собрались. Первый раз в жизни. Какие нам брать с собой подарки, может, посоветуете?

— А у вас есть родственники? — спрашиваю я.

— Нету, — с сожалением отвечает черноглазая, веселая, похожая на украинку женщина.

— А кому ж тогда подарки?

— А кого встретим,— смеется она,— в отеле, на улице... нашим русским девочкам. Мы хотим хорошие, нужные подарки привезти, туфли будем дарить...

— Подождите,— перебивает женщин мой знакомый кадет в клетчатом пиджаке.— У меня в Москве двоюродная сестра, Варенька, мой отец ей писал, а я ее потерял, а другие наши родственники не дают мне ее адреса. Может, я так думаю, из ревности? — Голубые глаза в черных стрелах ресниц хитро прищуриваются.— Вы как полагаете?

Разговор о ревности между людьми, никогда в жизни не видевшими друг друга, приходится прервать: всех зовут к обеду. Подходят Леонтьевы, мы сверяем номера столов, нет, к сожалению, мы сидим порознь. Откуда-то, как из-под земли, появляется Михаил Григорьевич, берет меня под руку, торжественно ведет по тропинке, усаживает за стол: 105

— Ловите момент! — советует он.— Будем веселиться! — Оркестр начинает играть попури из советских песен. Репертуар Утесова, Бернеса, в основном военные песни. Публика танцует. Танцует президент Теймураз Багратион, танцует Владимир Голицын, один из самых активных членов русской колонии, обозначенный в сегодняшней программе праздника как «мастер церемонии». Голицын — и церковный староста в русском соборе, и казначей, и организатор благотворительных балов. Танцует Андрей Кочубей со своей женой. С ними обоими я шапочно знакома давно, как говорится, еще до перестройки. Кочубею лет сорок, он высок, строен и удивительно похож на фамильные портреты предков.

— Кочубей, он аристократичен, не правда ли? — радуется за Кочубея Михаил Григорьевич.— Держит дистанцию, вы заметили? Люди вообще разучились держать дистанцию, знаете ли. Дистанция — это становится проблемой. А на его жену поглядите, пятеро детей, молодец! Я знавал ее бабушку, поразительная была красавица, мы жили в одном пансионе в Швейцарии, бабушка была Вырубова, эта Вырубова...

Дослушать историю Вырубовых мне не суждено: оркестр играет все громче.

— Что такое? Откуда музыканты? Какой сброд они пригласили? Мы не американский кагал! Они работают, как три мусороуборочные машины сразу. Пойду скажу!

А оркестр играет: «Любовь нечаянно нагрянет // когда ее совсем не ждешь // и каждый вечер сразу станет //

так удивительно хорош // и ты поешь // ...» Оркестр играет знакомые каждому из нас с детства песни, а танцует под них первая, никогда не видевшая Советского Союза эмиграция...

— Так и знал! — возвращается Михаил Григорьевич к столу, — оркестр из третьей волны, никакого понимания, куда попали.

Наконец грохот прекращается, начинается обед. После обеда речи — воспоминания о прошлом, но еще больше разговоры о будущем, о планах реконструкции фермы и ее расширении. Я обращаю внимание на человека, который сидит за одним из столов, сидит подчеркнуто отдельно, с совершенно отрешенным лицом. Спрашиваю Михаила Григорьевича, кто это.

106 — Это мое упущение, забыл, совсем забыл познакомиться, вы его порасспросите, порасспросите!

2

— Из Москвы? — встает навстречу высокий седой человек с тяжелыми складками на лице. Густые седые брови, серые глаза, взгляд внимательный, острый. Сколько ему лет? Может, и шестьдесят, а может, и семьдесят давно миновало. — Гостя из Москвы в здешних местах? — он не скрывает своего удивления. — Присаживайтесь. Вам Миша не сказал, кто я такой? — смотрит на меня выжидательно. — Я перебежчик.

Он долго молчит. И я молчу. А что мне сказать? Я уже сталкивалась, и не раз, и с перебежчиками, и с их семьями, но никто никогда не произносил этого слова вслух, хотя оно подразумевалось, висело в воздухе. То ли времена изменились, то ли характер у этого человека таков. А он представляется:

— Юрасов моя фамилия, то есть псевдоним. Я перебежал в Германию в 1948 году. Сейчас я вам все расскажу, — говорит Юрасов. И начинается, как это часто бывает среди русских людей, быстрый и — как искренне предполагают в эту минуту его участники — откровенный разговор сразу обо всем. — Я из Ленинграда. В 1937 году был осужден трибуналом, учился тогда в университете. Анекдот рассказал, почему Сталин носит сапоги, а Ленин носил ботинки. Был у меня в университете дружок, вместе писали стихи, вместе учились на филфаке, звали его, вы, конечно, понятия не имеете об этом человеке, звали его Петька Жур.

— Как Жур? — изумляюсь я. — Петр Владимирович, из журнала «Звезда»?

— Он! — в свою очередь поражается Юрасов. — Знакомы?

— Да он все мои рукописи вычитывал!

— Видите, вас правил, а мне жизнь спас!

— Спас? — я все еще не могу прийти в себя от того, что у нас сразу же оказался общий литературный знакомый.

— Дело мое шло через следователя Жура.

— Погодите, вы же вместе учились!

— К тому времени он уже служил в ОГПУ — комсомольский призыв. Думаете, он мог отказаться? Ну и написал я в своих бумагах, когда сидел, что до университета работал на разных стройках. Правду написал. И Петька на следствии мне говорит: спасти не могу, но постараюсь помочь. Что-то он отметил в моих документах такое, что когда меня отправили на Север, то сделали нарядчиком. Я не жил в зоне, свободно ходил. Выжил. А когда война началась, конвой мне говорит: «Имей в виду, если немцы возьмут Москву, вас всех расстреляют». Посадили нас в эшелоны, повезли, в районе Ярославля бомбежка, из нашего вагона из восьмидесяти семи эков в живых осталось двенадцать, конвой исчез. Многие ранены, а у меня только одежда исполосована в тряпки. Тут один раскулаченный старик говорит: «Давай ко мне подаваться, я здесь за сто пятьдесят километров живу». Ну и просидел я у него в подполе два года. Сiju, жду, надеюсь на общее прощение тех, кто в лагерях. Никаких известий. Не стало у меня сил терпеть, пошел в нашу комендатуру, меня тут же призвали, и закончил я войну подполковником в Берлине. Очень все хорошо, снова жив остался. Служу себе в Берлине, считаю — никто ничего не помнит, все давно списано. И тут — раз! Указ Верховного Совета. Каждому сбежавшему из лагеря — двадцать пять лет. Все мне сразу ясно: тут уж начнут искать, найдут и посадят. Выхода у меня никакого.

— И как же вы... ну уехали?

— Уехал? Сел на машину и уехал, пропуск у меня был. Тогда это вообще было просто, не так, как сейчас думают. И перебежчиков было немало. И вот с сорок восьмого года я на Западе.

— И как? — спрашиваю я.

— Как? Ужасно! Не вообще ужасно. Судьба перебежчика ужасна. Они никому не нужны. Совершенно одинокие

люди. Ну сами поглядите: сидит первая эмиграция, у них друзья, родственники, клубы. Видите, как они между собой связаны. У второй тоже друг с другом какие-то контакты. О третьей волне я вообще не говорю: им помогают еврейские организации. А перебежчик? Он один. Вот и умирают рано: кто от водки, кто отравился, кто повесился, очень рано уходят такие люди. Жизнь в эмиграции вообще трудная вещь, а уж жизнь перебежчика... Вот у меня есть все: дом, машина, деньги, дети есть, двое, закончили университеты, общего языка с ними никакого, чистые американцы, с женой давно развелся. Живу один, много читаю...

— А что вы читаете?

108 — Все советское читаю. Понимаете, — тут Юрасов заметно оживился, — главное сейчас — как стране выходить из положения. Всю жизнь пишу о том, почему производительность труда в Советском Союзе в два-три раза ниже, чем в Америке, о бессмысленных нарядах, о том, как народ отучали от работы. Пишу, и никто не верит, здесь это просто невозможно вообразить. Но ведь это же у меня на глазах происходило, я же помню, что творилось еще до моего заключения. Была у меня бригада в восемнадцать человек. И почти столько же нам навесили администрации. Это уже в 30-е годы! Представляю, что сейчас творится... — И Юрасов вдруг начал подсчитывать какие-то цифры, приводить примеры из экономических статей и обзоров. Гремела музыка, снова начались танцы, а он все говорил — с неизжитой и, как мне показалось, искренней болью за свою покинутую давным-давно страну.

Загадка? Но ведь и весь сегодняшний праздник в каком-то смысле загадка. Несколько сот русских людей съехались вместе не просто на праздник — чтобы принять участие в благотворительности. Сбор от сегодняшнего обеда — а билеты на него стоят совсем недешево — пойдет на нужды фонда. За столами сидят семьями — дедушки, бабушки, дети, внуки. В большинстве своем никто из них никогда не видел России или помнит ее самыми ранними детскими воспоминаниями, как Михаил Григорьевич, например. Да и сам он разве не загадка? С его превосходным русским языком, легкостью, отзывчивостью, бесконечной хлопотливостью «по русским делам»? Отстоял утреннюю службу в соборе, потом поехал сюда. И Голицыных я видела утром на службе, и Кочубеев с маленькими детьми, и многих других из здешних лиц. И так

длится десятилетиями — люди продолжали сохранять и приумножать русскую культуру, строили церкви, открывали воскресные школы, чтобы дети не забывали языка, по мере сил помогали друг другу. Представители первой эмиграции и их дети — со своими традициями и твердыми устоями — окружали меня на сегодняшнем празднике.

Юрасов был заметно другим. Он не сливался с общей массой гостей. И говор у него был другой. И манера сидеть другая. И держать над столом большие руки, жестикулировать. И эти тяжелые, нашего, советского кроя складки на лице... На кого он похож? Да на Жура, Петра Владимировича, бывшего работника журнала «Звезда» — и статью, и фигурой, и ростом, даже выражением лица, бывает же такое сходство! Что ж, 30-е годы, одно поколение, куда денешься... 109

А Юрасов все продолжал говорить о том, какие меры надо принимать, чтобы повысить производительность труда в СССР, и снова что-то подсчитывал, видно, это был его конек, говорил он настолько профессионально, что многого я просто не понимала. Загадка? Разгадка, я думаю, отчасти лежит в начавшейся в нашей стране перестройке, в надеждах, с нею связанных. Вдруг он замолчал, вздохнул:

— Да, в каждой стране свои проблемы. В Советском Союзе — как наладить хозяйство, здесь — проблема одиночества, пока неразрешимая. Да, кстати, — он улыбнулся, — недавно мне звонили из советского посольства. Неожиданный вечерний звонок. И мужской голос сообщает: все, полная реабилитация, можете ехать в СССР, приглашаем в гости. Да что вы, говорю, мне домой путь закрыт, у меня два раза по двадцать пять лет. За побег из концлагеря, хоть я и не убегал — раз, перебежчик — два. Вместе — пятьдесят лет тюрьмы. Ничего страшного, отвечают, все знаем, приезжайте.

— Ну и как, поедете?

— Уже нащупывал почву. Писал сыну, он не отвечает. Узнавал о нем окольными путями, говорят — весь в папочку: такой же пьяница и бабник. Ну и пьяница, ну и что... Не такая жизнь у меня была простая, чтоб еще и не пить. Я свою цистерну давно выпил, больше не пью.

— Ну и поезжайте, времена изменились...

— Трудно мне ехать, тяжело... «Известия», «Огонек», знаете, что обо мне писали? Фашистский палач, вешал красноармейцев за ноги. И все потому, что высунулс,

когда приезжал Хрущев, задал ему вопрос, какие у него впечатления об Америке, да и американские журналисты меня об этом попросили. А Хрущев: кто ты такой, почему по-русски говоришь... Ну и пошло, настоящая травля. Сбежал, да. Но никогда не изменял, сражался в Красной Армии. Наверное, и сын мой читал, потому меня до сих пор боится. Приезжал Евтушенко, еще тогда, давно, я ему говорю: Женя, я ж ни в чем не виноват, заступись. А он: ничего не могу сделать. Если он не мог, то как я мог откуда?.. Нет, у меня теперь другая цель: хочу написать книгу «Две половины жизни». Полжизни здесь и полжизни дома. Только все, как было. Без всякой утайки и вранья. Здесь рукопись не опубликуют, это точно.

— А, может, у нас?

110

— А у вас скажут — преждевременно. Неужели вы не понимаете, что такое глаза перебежчика? Человек в положении между — он видит слишком много и слишком разное из того, о чем можно писать. А главное — принято. С обеих сторон... Этого никто не любит. Ни одно ведомство, ни одна страна.

— Но ведь изданы же подобные книги, и их немало.

— Да, и я буду писать и постараюсь дожить до 2000 года, хочется узнать, как все пойдет дальше.

— Вы часто бываете на Толстовской ферме?

— Нет, теперь редко, после смерти Александры Львовны. Все слишком изменилось, появилось много американцев. Раньше все было как-то сердечней, проще, более по-русски и помогали в основном русским.

— Вы были хорошо знакомы с Толстой?

— Дружили. На простой основе. Нас объединяло одиночество. Что вы так на меня смотрите? Вокруг нее толкалось много людей, а она была, в сущности, очень одинока. Звонила, приглашала приехать, мы сидели, разговаривали.

— Вы говорите — одиночество, но многие вспоминают, что у нее был очень резкий характер.

— Да, она была человек резкий, неуступчивый. Путаный она была человек, вот, пожалуй, основное. Путаный, но очень одинокий, так мне всегда казалось...

Разговор наш перебил сияющий Михаил Григорьевич, он подошел, начал «хлопотать» — приглашать Юрасова на концерты, лекции, словом, вовлекать... Юрасов молчал, иронически-дружелюбно улыбался.

— Я, пожалуй, уже поеду, — попрощался он, — что ж, привет Ленинграду.

Отошел Юрасов, подошел знакомый кадет в клетчатом пиджаке.

— Видите, как мило, как славно все складывается, — улыбался Михаил Григорьевич, — а мы с вами опасались, подите, подите к кадетам, среди них есть превосходные люди.

Кадетский стол, к которому меня подвели, возглавлял председатель «Кадетского объединения» Глеб Сперанский, кряжистый человек с широким, загорелым лицом.

— А я родился в Петропавловской крепости, — сразу сказал мне Сперанский, — видите, какой я старый. Меня родители из Петрограда вывезли, жили мы в Югославии. Что делал в войну? Воевал против товарища Тито. Да-да-да, я не с немцами вместе против него воевал, там были разные группы, я воевал против коммунистов Югославии. Да, так было. Вы молодая, может, вам и не надо знать о наших бедах. А теперь перестройка, мы все за нее, думаем, как нам помочь России... ///

— А я воевал в партизанах, можно сказать, заодно с Тито, и все равно меня схватил СМЕРШ, — вставил вице-президент «Кадетского объединения». — Я говорю, докажете, найдите мое имя в немецких списках. Продержали три месяца и выпустили, а могли и расстрелять ни за что. Ясно мне стало одно: жить в Югославии нельзя, в Россию возвращаться тем более нельзя, уехал в Америку.

К нашему столу подходило все больше людей, приносили с собой стулья, рассаживались, расспрашивали меня о перестройке, о национальных проблемах: Прибалтика, Средняя Азия, Нагорный Карабах — обо всем знали. Интересовались неофициальными объединениями, обществом «Память»: культурная программа у них хорошая, но что за ней стоит, почему это общество так ругают? Я старалась отвечать подробно, народу собиралось все больше. Издали сиял и помахивал руками, словно дирижируя, Михаил Григорьевич. Потом и я спросила:

— Ну а вы как здесь живете?

— Спасибо, хорошо, — ответил Глеб Сперанский, — то есть ничего хорошего. Эмиграция — вещь тяжелая.

— Почему ты говоришь тяжелая? — возразила жена одного из кадетов. — В Югославии и Франции я чувствовала себя презренной иностранкой. А здесь на меня никто не обращает внимания. В Америке жить гораздо легче, здесь все приехали, все чужие.

— Да, это так, — ответил Сперанский, — но какое все это имеет значение, если мы русские люди.

— Именно, — подтвердил мой первый знакомый кадет, — главное, все мы здесь русские, и самое главное то, что происходит у вас в стране, мы все очень волнуемся.

— Мы и деньги собираем, — сказал Сперанский, — передаем через Толстовский фонд. Собрали на армянское землетрясение, нам никто и спасибо не передал. Что ж, нам не привыкать. А с другой стороны, кто мы теперь? Эмиграция умирает, практически с ней покончено, молодых мало. Передавайте наши приветы Родине! Все мы здесь патриоты, все сочувствуем Горбачеву. А что было, то было, в русской истории еще предстоит разбираться.

112 Мы, во всяком случае, никогда не были заодно с врагами России...

Подошел Михаил Григорьевич:

— Я хочу показать нашей гостье домик Александры Львовны, как вы полагаете? — чуть подвыпивший, но все такой же подтянутый, спина сделалась, кажется, еще прямее, Михаил Григорьевич излучал благодушие и полную гармонию с самим собой. Ни о каком конце эмиграции не может быть и речи, казалось, говорил сам его вид, его готовность снова куда-то идти, ехать, лететь, бежать, рассказывать, просвещать...

— Привет России! — снова повторил Сперанский.

4

Официанты начали убирать со столов, оркестр давно ушел. Узкая дорожка привела нас к небольшому белому дому. Перед домом протекал ручей, как бы отгораживая его от остальной усадьбы. Калитка была небрежно приоткрыта.

— А при ее жизни калитку всегда закрывали, — сказал Михаил Григорьевич радостно, — у Александры Львовны были собачки, маленькие такие, они имели манеру выскакивать и убежать. Она этого не любила. Ну пошли, пошли! — и он шагнул на мостик, ведущий через ручей.

— А если там кто-то живет?

— Что значит живет? Это историческое место. Вот здесь, — он показал на чахлые цветы, росшие по ту сторону от дома, — у Александры Львовны был дивный огород. Она сама все выращивала. Помидоры, огурцы, морковку —

все, все. А вот здесь,— мы обошли дом,— видите, как все заросло, у нее была лужайка, стояли кресла. Здесь мы с ней всегда сидели. Погодите, сейчас я вам все покажу.— Он постучал в дверь дома. Ее открыла молодая, неприветливая, неряшливо одетая женщина. Михаил Григорьевич хотел войти, она не пускала, он легко ее отстранил, позвал войти и меня.

— Вот здесь был ее письменный стол, здесь бюро. Здесь дверь в спальню.

Комната небольшая, беленые стены, низкие потолки.

— Да, она скромно жила, очень скромно.

Михаил Григорьевич расхаживал по комнате, потом долго топтался по бывшей лужайке. А я думала: сколько же людей прошло через эту комнату, сколько беженцев, сколько судеб! К 1988 году их было, как свидетельствует статистика, больше трех тысяч человек. Всем предоставлялось жилье, всех кормили, одевали, подыскивали работу. Здесь перебивало много людей, иногда, наверное, и не совсем безупречных. Но не в силах фонда было в этом разбираться. Безусловно одно: Александра Львовна Толстая не на словах, по собственной судьбе знавшая обстановку в Советском Союзе, в годы сталинских беззаконий делала все, что могла, чтобы облегчить судьбы тех, кто попал в эмиграцию не по своей воле. И всегда, когда могла, она поднимала голос протеста против того произвола, который творился у нас в стране. Толстая поняла происходившее гораздо раньше, чем многие из будущих жертв репрессий конца 30-х годов. Она поднимала свой весомый голос дочери великого Толстого против массовых расстрелов в Ленинграде в связи с убийством Кирова, она пыталась привлечь внимание к набиравшей силу волне предвоенных репрессий. Она шла резко против течения. Вспомним Герберта Уэллса, Фейхтвангера, Мартина Андерсена Нексе, Ромена Роллана, наконец. Толстой не верили. Это была ее личная трагедия. От ее голоса отмахивались, ею возмущались. Это была общая трагедия либерального крыла западного общественного мнения, отказывавшегося публично признавать очевидные факты. Впрочем, и не только либерального. Стоит вспомнить, что знаменитые ныне статьи Федора Раскольникова «Как меня сделали «врагом народа» и «Открытое письмо Сталину» не были опубликованы в мировой прессе. Их решились опубликовать лишь эмигрантские издания...

Только после XX съезда, после доклада Хрущева истина стала проясняться. Яростная травля А. Л. Толстой в

нашей печати снизила свой градус, потом подутихла. Потом о ней замолчали надолго, потом как бы и вспомнили. Постепенно она обретала право на существование в качестве дочери. Но об основном деле ее жизни не упоминалось. А как же всемирно известный фонд? Его тоже как бы и не было, вроде бы и до сих пор его «почти» нет. Или же он начинает ей как бы прощаться?.. Так или иначе, в начале 70-х годов к А. Л. Толстой стали наведываться официальные гости из Москвы, приглашали на Родину. Некоторые из гостей (кое с кем из них я была знакома) за эти годы уже умерли, я не успела их как следует расспросить. Здесь же, в Америке, спрашивать теперь почти некого, близко осведомленных лиц почти не осталось. Хотела ли она приехать, не хотела... Просто ли не успела или не сумела по глубокой к тому уже времени старости? Кто знает? Кто-то знает. Значит, в конце концов узнаем и мы.

...Сидела за конторкой, читала, писала воспоминания об отце. За окном была «почва» — огород. Пышные кусты цвели почти круглый год. Все было ухожено, устроено усилиями сотен русских добровольцев. Ничего не скажешь — красивая почва под ногами. И никуда не денешься — иностранная. Должно быть, она на самом деле нередко чувствовала себя одинокой и непонятой. Выросла в большой семье, с таким отцом, были братья, сестры. В Америке тоже было много родни, многочисленные Толстые и сейчас живут неподалеку от фермы. И все равно — совсем одна... ~

А Михаил Григорьевич все разгуливал по зеленой лужайке в своих ослепительно белых башмаках, заглядывал в памятные ему укромные уголки. И идиллически чирикали птички, и журчал обложенный камешками ручей, и шелестели, как при ее жизни, старые деревья...

Судя по многим воспоминаниям, Александра Львовна не была спокойным человеком. Бывала ли она счастлива здесь, на этой земле? Я задавала этот вопрос многим людям. И никто не знал, как ответить, никто не сказал твердо «да», как никто, впрочем, не сказал и «нет». Эмиграция — трудная вещь, вот что я слышу все время от старых эмигрантов. Но когда семейное имя возлагает на тебя груз дополнительных обязанностей, когда в тебе жив отцовский темперамент, когда ситуация в России требует, с твоей точки зрения, постоянного соучастия, вмешательства, помощи — так и в таких формах, как ты ее понимаешь, — эмиграция становится тяжелей и ответственной во много-

много раз. Меньше, чем кто бы то ни было, А. Л. Толстая могла оставаться частным лицом. Само ее имя, вся предшествующая жизнь приговаривали ее к роли крупного общественного деятеля русской эмиграции. И она взяла, невольно хочется сказать, взвалила на себя эту роль и играла ее до конца. Жить интересами только своей страны и десятилетиями быть отторгнутой от нее. Почти до самой смерти. Да, такова была ее участь.

...Мы уже опаздывали, скоро придет рейсовый автобус, праздник кончился, пора обратно в город. По пути заходим в церковь святого Сергия, построенную на деньги Толстовского фонда в середине 50-х годов. Поет невидимый хор, горят свечи, пахнет ладаном. Михаил Григорьевич ставит две свечи, стоит, крестится, долго молится, а я ищу плащаницу из Успенского собора в Кремле. 115 Церкви ее передал бывший посол США в Москве Дэвис. А Дэвису в конце 30-х годов преспокойно подарил Сталин.

Я бывала в музее Дэвиса в Вашингтоне. Это небольшой дом, битком набитый сокровищами русской культуры. Мадам Дэвис покупала в Москве старинные иконы, русское серебро, фарфор, Фаберже. Не скажу горечь, отчаяние охватывает, когда впервые попадаешь в этот музей. Как позволили все это вывезти? Как разрешили покупать старинное серебро на граммы за копейки, о чем с гордостью рассказывает гид? Мадам Дэвис не только сама покупала, ей еще помогали начальственные дамы из МИДа. Делалось все, чтобы угодить! Зачем? Сплетничают, это опять-таки гиды, что мадам Дэвис нравилась Сталину. И вот стоит на высоком пригорке в Вашингтоне музей, стоит грозным укором, и ничего, продолжаем потихоньку продавать...

Где же она, плащаница из Успенского собора? Не нашла.

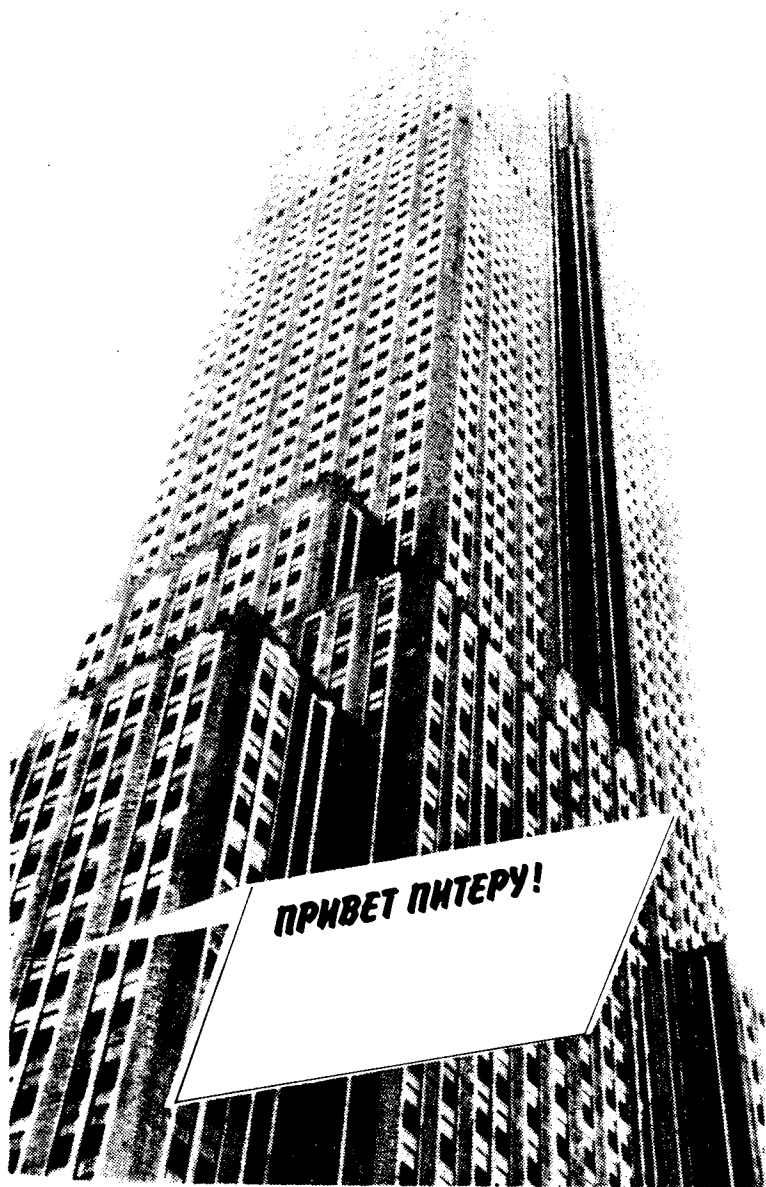
Мы вышли из церкви. Было еще совсем светло. Садилось солнце. Издали был виден большой дом с террасами. На скамеечках сидели старички и старушки из Старческого дома. Солнце косо освещало позолоченные церковные кресты. Солнце было еще совсем светлым, весенним, майским, и небо было светлым, бледно-голубым, голубизна не хотела густеть. Мы стояли на автобусной остановке.

— А кому вы ставили свечи?

— Александре Львовне и Татьяне, кому же еще? — с недоумением поглядел на меня Михаил Григорьевич. — Как здесь все прекрасно устроено, не правда ли? Автобус

опаздывает, как всегда. Наслаждайтесь моментом! Почему вы не наслаждаетесь? Смотрите, сейчас солнце сядет, здесь дивные закаты! — и Михаил Григорьевич, человек, не ведающий пустой ностальгии, любовно оглядел всю открывающуюся панораму сразу: и большой дом, и белую нарядную церковь, и скамейки со старичками, и малахитовые от молодой зелени лужайки. — Теперь вы поняли, что означала для Александры Львовны почва под ногами?

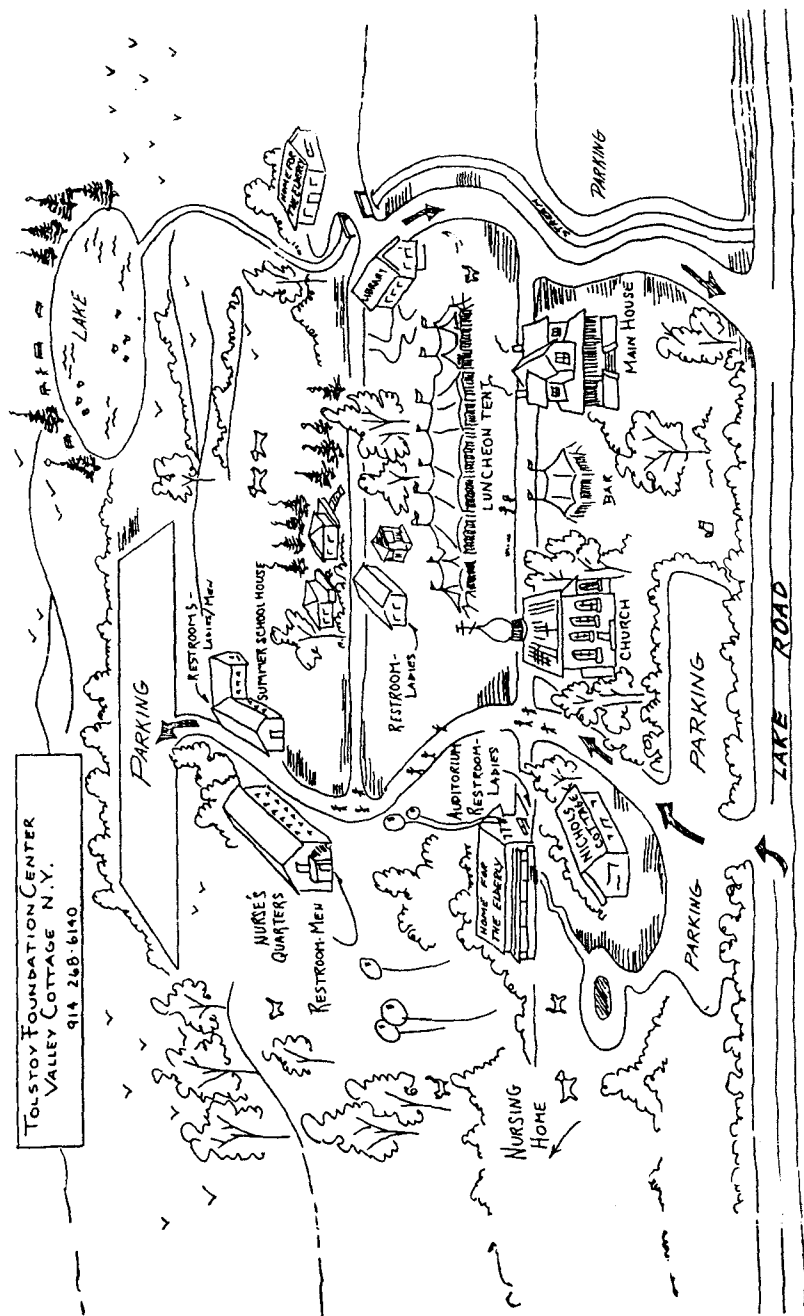
Я промолчала. День прошел так интересно, все было тепло, дружественно, никаких «неприятных моментов». Мне же становилось все грустнее и грустнее...



ПРИВЕТ ПИТЕРУ!

TOLSTOY FOUNDATION CENTER
VALLEY COTTAGE N.Y.

914 268-6140



Несколько женщин бережно сводили с зеленого кудрявого пригорка старую, высокую, стройную женщину в кремовом плаще, оказывая ей подчеркнутые знаки внимания. Они подвели ее к одноэтажному современной постройки дому, отворили окна-двери, вся компания вошла в комнату. Вслед за ними вскоре последовали и мы. Мы застали сцену прощания.

— Вера Константиновна, — говорила, прижимая руки к груди, пожилая интеллигентная дама неуловимо нашего, советского облика. — Как я рада была повидаться... Я и с Нащокиным в Москве общаюсь, помните, Нащокин, друг Пушкина, и с Мещерскими...

— Как же, — отвечала, снимая плащ, старая женщина, — как же, счастливого пути, привет Москве! 119

Мы стояли, выжидая. Вскоре все гости разошлись, знаками давая понять, чтобы мы не очень засиживались. Старая дама, усаженная в кресло, повернулась к нам. Глаза у нее были серые, веселые. Овал лица смутно напоминал знакомые фотографии, особенно прямой, твердый подбородок. Меня представили.

— Вы прямо из Москвы? Книгу пишете? О нашей эмиграции? Ой, как интересно. Раздевайтесь!

И тут мы втроем спокойно вздохнули.

...Мне давно хотелось познакомиться с дочерью великого князя Константина Константиновича Романова Верой Константиновной. Я знала, что она на пенсии, живет на Толстовской ферме, слышала о ней много рассказов, так же как о других Романовых. Но кто возьмется нас знакомить, и согласится ли она на разговор? В старой русской колонии было мнение, что вообще-то Вера Константиновна из непримиримых и с представительницей советской прессы вряд ли станет разговаривать.

А у меня был к ней давний, можно сказать, детский интерес: К-Р, ее отец, великий князь. Да и к тому же троюродная сестра императора, чудом уцелевшая (трое ее братьев были убиты в Алапаевске), разве это само по себе не интересно? Казалось, столько эпох миновало, все в далеком прошлом, а сестра жива, бодра (по рассказам),

*План Толстовской фермы,
где живет Вера Константиновна
Романова.*

очень энергична, несмотря на свои восемьдесят три года. Но главное — ее отец, популярный поэт начала XX века. Романсы на его слова любила петь моя бабушка и потихоньку рассказывала об их авторе, высоком, статном красавце, самом красивом, по ее словам, из всей царской семьи. Особенно бабушка любила: «Растворил я окно, стало сердцу невмочь...» И еще: «Вчера мы ландышей нарвали, их много на поле цвело...» В послевоенные годы эти романсы часто исполняли по радио, а то, что рассказывала мне, примерной пионерке и отличнице, бабушка, я не слышала ни от кого. Расстрел царской семьи с теми подробностями, что бытовали в 20—50-е годы и которые ушли из памяти, вовремя не записанные, убийства великих князей в Алапаевске... Откуда люди знали тогда то, что открывается в деталях только из нынешних публикаций? Подразумевалось, что наши разговоры не подлежат пересказу. И я молчала, никому не говорила, даже родителям. Бабушка давно умерла. А я в Америке, и дочь одного из любимых ее поэтов здесь, недалеко от Нью-Йорка. «Вчера мы ландышей нарвали...» Это «вчера» было почти сто лет назад. Младшая дочь К-Р — это реальное сегодня, со своей судьбой, воспоминаниями. Как же так, неужели я с ней не свижусь?

...Она сидит в кресле в сером двубортном добротном костюме, в кремовой шелковой кофточке с открытым воротом, черные туфли на небольшом, спокойном каблуке. Представивший меня Николай Трубецкой переглядывается со своей женой О니ко Чавчавадзе. Огромные зеленые глаза Онико, глядевшие до этого внутрь себя (она ждет ребенка), с детским любопытством смотрят на Веру Константиновну. Онико парижанка, и многое в Америке ей внове, многих людей она не знает. Мы все еще стоим, осматриваемся. На лице у Коли Трубецкого торжественное выражение. Такая встреча — это важно, это нужно для обеих сторон, и для эмиграции, и для Советского Союза — вот что написано на его бледном, чуть веснушчатом лице.

2

Николай Трубецкой и его жена — последняя поросль старой русской эмиграции, терпеливо пытающаяся наладить культурные и деловые контакты с нашей страной. Тридцатилетние, как сказали бы наши отечественные любители делить людей на поколения. Сегодня утром Трубец-

кие — Чавчавадзе встретили пригородный поезд, на котором я приехала из Нью-Йорка, и повезли меня в Наяк, небольшой город, где со времен второй мировой войны обосновалось много русских семей.

Мы успели на конец утренней службы в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Храм небольшой, уютный, украшенный цветами: идет первая пасхальная неделя. При храме два низких строения — церковная воскресная школа. После службы завтрак в доме матушки, вдовы священника храма и его основателя Серафима Слободского. Раскрашенные яйца, куличи, ветчина, сыр, кофе — уступка Америке, да и народу собралось много — в бумажных стаканчиках, минеральная вода. В стороне тихо играют нарядные дети, мальчики в пиджаках с галстуками, девочки в светлых платьях. Разговаривают по-русски очень 121 чисто, иногда переходят на английский.

А у взрослых за столом свой разговор. О чем могут говорить, собравшись, русские люди, да еще если среди них приехавшая из Москвы гостья? Разговор идет о судьбах России, о первых результатах перестройки. Разговор возбужденный, нервный, я бы сказала, болезненный. Прежде всего им всем, собравшимся здесь, совсем не все равно, что происходит на Родине, и это притом, что большинство родились уже не в России. Меня засыпают вопросами обо всем сразу и со всех сторон. И о наших трудностях, и о восстановлении памятников, о том, что русский народ исчезает и надо что-то делать. Цифры, факты, очень высокая степень осведомленности, взволнованные голоса. Много вопросов о религии. Хорошо, что начали открываться новые церкви, но почему Библии в церквях продают, а не раздают бесплатно, ведь они присланы в подарок из-за границы к 1000-летию крещения Руси. Что я могу ответить на этот вопрос? Я не знаю, я пытаюсь лишь объяснить, что уже сам факт свободной продажи Библий и в церквях, и в комиссионных книжных магазинах — шаг революционный сам по себе. Но никто за этим столом, за исключением Николая Трубецкого, в Советском Союзе не бывал, мало кто понимает и принимает мои аргументы. Не понимает их и Олег Михайлович Родзянко, внук председателя Государственной думы, могучий, кряжистый человек с длинной черной бородой и черными глазами.

— Вы читали моего деда? «Крушение империи»? — удивляется Родзянко. — А у вас есть? Нет? Будет.

— Мы из России в 1935 году уехали, — говорит мне через стол жена Родзянко Татьяна, — я была ребенком.

— Как? — изумляюсь я. — Каким образом?

— Очень просто, можно было уехать за золото. В нашей большой семье Лопухиных — Майндорфов моя тетя к тому времени уже отсидела на Соловках и была выпущена с поражением в правах, знаете, когда было еще только минус шесть. В Москве было жить нельзя, и мы все жили в Калинин.

— Почему не Тверь, почему до сих пор Калинин? — раздается всеобщий ропот. — Жданов же переименовали...

— У нас была одна бабушка в Эстонии и другая в Париже. Они объединились и за 1600 золотых рублей нас выкупили.

— Торговали людьми! — говорит кто-то резко. — Разве вам это неизвестно?

122 А мне и вправду неизвестно, но не уверена, поверили ли мне.

— Моя тетя баронесса Майндорф хлопотала через Екатерину Павловну Пешкову, все время ездила в Москву. Золота было мало, а нас много, десять человек. И наступила минута, когда Екатерина Павловна сказала: «Быстро подписывайте бумаги, сейчас вам и за эти деньги дадут разрешение». «А как же я?» — спросила тетя. «И себя припишите немедленно», — ответила Екатерина Павловна, — вам это нужно больше всех». Так мы и уехали.

И снова разговор о России, о том, что происходит в республиках, почему русский народ обвиняют нынче во всех смертных грехах.

— Все только и мечтают, чтобы Россия распалась и все от нее отошли, — говорит Олег Родзянко. — Никто не хочет сильной, могучей страны, потому что это конкуренция.

И еще один голос — человека, с которым я не знакома:

— Если бы не революция, Россия лет через двадцать вышла бы на первое место в мире. Первое место... Кому это было нужно? Никому!

— Здешним это тоже не нужно! — добавляет кто-то. — Чтобы Россия окрепла? Зачем? Читайте американские газеты.

И еще один голос:

— Мы здесь живем по тридцать лет, но мы не американцы, мы — русские!

В своем углу расшумелись дети.

— Видите, у вас стали мало рожать, поэтому мы восполняем. В Няеке в каждой семье не меньше трех-четырех детей. Поглядите, у молодежи тоже много детей!

...Я сидела, слушала, и мне становилось не по себе. Сколько страсти, неотрывности от родной почвы было в этих людях, большинство семей которых жестоко пострадало во время революции. Есть ли у них желание примирения, стремление помочь? Не знаю. Кое с чем в их разговорах я не могла согласиться, но начало, безусловно, положено: есть огромная потребность в диалоге, к встречам с советскими людьми, огромная тяга к новой информации. И есть большое незнание и потому нередко искаженное понимание того, что у нас происходит. Ревнивое непонимание, непонимание людей, которым все небезразлично.

Мы пили кофе, заходили новые люди, знакомились. Разговор зашел о том, как могла так замечательно сохранить русская эмиграция свои традиции, — разговор, который почти всегда случается со всеми эмигрантами первой волны. Церкви, перестроенные из гаражей, из частных квартир (как старые часовни в Сан-Франциско), храмы, созданные своими руками, как создал и украсил храм Покрова Пресвятой Богородицы в Наяке покойный отец Серафим Слободской, воскресные школы, я там бывала, дети учат русский язык, в том числе и по советскому школьному букварю, религиозные праздники, которые отмечаются очень торжественно, русские имена, стремление заключать браки между русскими же... А ведь прошло больше семидесяти лет, продолжение традиций — дело совсем непростое, тем более во все и всех с легкостью перемалывающей Америке...

Мы сидели и вместе рассуждали, каковы же причины. Первой почти все называли родителей. Упорное воспитание в традициях русской культуры. Очень важны были в свое время русские гимназии и кадетские корпуса, где обучение шло на русском языке и преподавали блестящие русские учителя, часто бывшие профессора. Важную роль играла и играет церковь, объединяющая людей. И еще благотворительные общества, которые помогают попавшим в беду. Работы в таких обществах много, тем более что деньги собирать трудно, очень богатых людей среди старой русской эмиграции почти нет. «Камфортабл», как говорят американцы, то есть хорошо обеспечены сейчас, в третьем-четвертом поколении многие, почти все, потому что почти все получили хорошее образование и довольно быстро становятся на ноги.

...Так мы сидели и разговаривали, пока одна из «первых ласточек» перестройки среди первой эмиграции — Коля Трубецкой не напомнил мне, что пора ехать на ферму, к

Вере Константиновне Романовой. Меня дружно напутствовали, уверяя, что все будет хорошо, что в пасхальные дни можно ходить друг к другу в гости безо всякого приглашения.

Расставались мы дружески, уезжать не хотелось, казалось, мы только-только разговорились, но, как выяснилось, Коля заранее составил, как это принято у американцев, твердое расписание поездок и встреч на весь сегодняшний день.

3

124 ... — Разделись? — быстро и живо спрашивает Вера Константиновна. — Усаживайтесь поудобнее. Вы реку Рузу знаете? — Пока я медлю с ответом, она продолжает: — Руза — это мои любимые воспоминания, я там выросла, у нас там было имение. Красивая река, правда? Она и сейчас красивая? А ухабы на дорогах там еще есть? Больше всего в детстве любила ухабы. А знаете, чем отличается село от деревни?

Мы не знаем.

— Село всегда с церковью, а деревня нет, — оживленно объясняет Вера Константиновна. — Знаете, по деревне в Рузе после революции долго ходил пес моего покойного брата сенбернар по имени Тимофешка. Настоящий сенбернар, не такая дрянь, как нынешние. У него на шее была корзина привязана. Когда корзина наполнялась кусками хлеба, он шел на могилу моего брата и там спал и ел. Трогательно, не правда ли? Нам это одна женщина рассказала, она приехала из Советской России в 1925 году и сама Тимофешку видела. А недавно одна особа написала мне из Москвы, что она помнит, как меня вытаскивали за ноги из будки этого Тимофешки. Как она помнит, удивительно! Я ничего не помню.

— Вера Константиновна, а как ваша семья уехала из России?

— Как удалось? — снова быстро, бодро подхватывает она вопрос. — Сейчас все расскажу. Моя мать была дружна с королевой шведской. И она нас выписала, мы сели на предпоследний пароход, который шел из Питера в Стокгольм. На пристани нас досматривали, помню, даже очки в металлической оправе посмотрели, не золото ли. И там сидел какой-то оборванный человек, играл карандашом и бормотал по-французски: «Не подписывайте эту бумагу, это ваш смертный приговор. Назовитесь только на пароходе, кто вы». К счастью, мать услышала и так и поступила.

— И кто был этот человек?

— Понятия не имею. Вероятно, многих спас. А бумага была, вероятно, чтобы нас арестовать. Мы долго шли в Стокгольм, часто останавливались, в Кронштадте, в Ревеле. В Ревеле подплывает к нам начальник гарнизона, немец, а мы с братом были очень антинемецки настроены, хотя мать у нас немка. Помню, мой брат Георгий кисло так на него посмотрел и положил руки за спину. И я поглядела очень кисло: не хочу с этим поганым немцем разговаривать!..

В разговор вступает Коля Трубецкой. Высокий, худой, с бледным лицом и желтоватыми глазами, сейчас Коля выглядит очень представительно, в синем блейзере и серых брюках, он то сидит на краешке стула, то встает. Коля волнуется — как пройдет встреча. Ведь одну из главных 125 задач своей жизни он видит в том, чтобы помогать налаживанию контактов. И сейчас Трубецкой задает вопрос Вере Константиновне, явно помогая мне:

— А вы к тому времени знали, что происходит с царской семьей?

— Кто знал, кто не знал, — дипломатически, то ли не желая, то ли — у нее сегодня хорошее пасхальное настроение — избегая говорить на «кровавые», как она потом обмолвится, темы. — Я малая была, что я понимала? С детства больше всего люблю море и ходить под парусом, а тут шли на настоящем корабле, мне все было интересно...

Жили мы в Швеции, потом в Бельгии, потом переехали к маминому брату в Германию, к герцогу Ольденбургскому. Вот посмотрите гравюру его замка, я вам лупу дам. Потом мама умерла от рака. В общем, так я и прожила в Германии до 1951 года. Потом приехала в Америку.

— А как вы пережили войну? — спрашиваю я.

— Работала, как же еще, как все. Переводчицей стала для «остов». Почти сразу появились русские, угнанные в Германию, уже в 1941 году. Назывались — рабочие с Востока. Значок — белый с голубым, не слышали? Написано: «Ост».

— Об этом писал наш замечательный писатель Виталий Семин, — говорю я. — Он мальчиком был угнан в Германию.

— И это опубликовано? Никогда не слышала. Я бы почитала.

— Он уже умер, от разрыва сердца.

— Еще бы, перенести такое. Я же все это сама наблю-

дала. У меня были очень хорошие отношения с русскими, помогала, чем могла, вообще, подкармливала. Однажды собрала на пасху русских женщин, почитала Евангелие и сказала, что надо помнить, что все мы русские и надо вести себя достойно. Среди них были верующие, все время пели пасхальный канон.

— Знали?

— Прекрасно знали, я сама удивлялась. После этого одна советская женщина встретила меня и сказала: «Благодарю вас за хорошее обращение». Слава богу, говорю, свои люди...

— А они знали, что вы Романова?

126 — А как же? Конечно! Война, надо друг другу помогать... После пасхи у меня сразу начались неприятности. Для гестапо это был знак. Им давно не нравились мои связи с русскими. Я еще ребенка крестила советского, у «остовки» одной родился, захотела она его крестить. А у меня как раз священник русский гостил. Крестили мы его в серебряной купели. Какие судьбы, подумайте, да? Угнали девочку в Германию, родила, а крестная мать — Романова... Гестапо быстренько меня из переводчиц уволило, послали меня работать на военный завод.

— А что вы умели делать?

— Да ничего. Пули светящиеся делали на заводе, для пулеметов, я должна была класть по одной в ямку. А я больше клала, чтоб получался холостой заряд, две-три...

— Так у вас дерзкий характер!

— Слушайте, у меня шесть братьев было, все братья военные, все кадеты, было в кого. Правда, они мне всегда приговаривали: глупа, мала, ничего не понимает... Но характер-то образовался, хотя я братьев с семнадцатого года не видела... Тут голод начался, по ночам лежу, бывало, и придумываю разные меню.

— Как, по-вашему, война прошла для вас тяжело?

— Да уж нелегко. И голодно было, и трудно видеть, что делалось с людьми из России. На меня в начале войны такая тоска нашла по Родине, в особенности когда увидела детей. Ой, такая тоска, хоть поезжай домой обратно. Это с моей-то фамилией, да? А в «Осте» разные люди были, очень разные, и угнанные, и сами приехали. И чего только не заставляли их делать, даже вышивать крестиком. У меня была такая женщина, которая умела вышивать крестом без канвы. Представляете? Идеальные работы делала! Много было людей из Винницы, из Киева, одна была из Казани... После войны я работала в английском

Красном Кресте, тоже переводчицей. В госпиталях, в сумасшедшем доме... После войны оказалось много безумных людей. Особенно много больных детей, психически больных. И помню еще такую больную Марусю, абсолютно безумна, и на тумбочке у нее большой портрет Сталина... Русских детей я каждый день навещала...

— А что с этими людьми потом стало?

— Вот уж этого совсем не знаю. Не знаю... Темна вода во облацех... Кстати, интересная подробность об англичанах. Приходит в конце войны английская армия: хотят занять дом, где я живу. Узнают, что я Романова. «Внучка королевы Виктории? Дом не занимать». Приходит флот. «Внучка королевы Виктории? Дом не занимать». Появляются английские летчики: «Внучка королевы Виктории? Ну и наплевать на нее». И заняли дом. Понимаете, 127 авиация начиналась только в 1914 году, никаких традиций. В 1951-м англичане мне говорят: советская граница близко, с вашей фамилией вам лучше уехать подальше. И я прикатила в Нью-Йорк, тут мой племянник был, который сейчас председатель Толстовского фонда.

— Багратион?

— Он. Называется он у меня — любимый племянша. Отец его убит в 1914 году, а его мать, сестра моя Татьяна, на шестнадцать лет старше меня, она потом монашской сделалась. На Илионе двадцать лет была игуменьей. Сначала я работала в Толстовском фонде, потом ушла в «Общество помощи русским детям за рубежом».

...Я уже много слышала об этом благотворительном обществе, основательницей и постоянным председателем которого была правнучка декабриста Ивана Пущина. Общество небольшое, и средств у него не так много, основные деньги собирают в Америке. Большой взнос дает...

— Детский бал «Петрушка», я вам рассказывал, — напоминает мне Николай Трубецкой.

Бал «Петрушка» считается самым веселым балом в Нью-Йорке. Русские устроители с помощью дорогих входных билетов собирают довольно крупные суммы. Придумывается веселая программа, танцы. Общество рассылает деньги нуждающимся русским детям по всему миру. В него и проработала и машинисткой, и секретарем большой кусок жизни Вера Константиновна.

— Вы за жалованье работали?

— А как же? Как все, как положено. Это вначале мы жили на драгоценности моей матери, а потом, очень скоро, как все...

— Вообще, представления о богатстве дома Романовых сильно преувеличены, — вставляет, вернее, разъясняет мне Коля Трубецкой. — Все их богатство было в основном в земле, не правда ли, Вера Константиновна? — Она молча слушает: зачем ей вмешиваться, если существовала она, как говорится, на зарплату? — Она продолжает свое:

— Я любила работу в Детском обществе. У меня романовская память, все помню, все фамилии по всему свету. Так что я работала, как полагается.

И тут наконец я задаю вопрос об ее отце, поэте.

— Вот его портрет, — показывает она на стену.

Действительно, в комнате висит большой поясной портрет очень красивого человека.

— Умер в 1915 году от грудной жабы. Он политикой 128 не интересовался, но всегда говорил, что революция 1905-го — это только репетиция. А вы песню «Умер бедняга в больнице военной» слышали? Это он написал. Стала народной песней. Отец был президент Академии наук и главный инспектор военно-учебных заведений. Их было тридцать с чем-то корпусов. Вот он их и объезжал. Бывало, возвращался домой после инспекций, с него сорваны все пуговицы. Кадеты на память обрывали. Он всегда за кадетов заступался. У отца у самого была большая семья, поэтому он понимал молодежь. Помню один случай с кадетом Евгением Середой — отличался «громкими успехами в тихом поведении». Является к нам в Павловск. Вводит его один из братьев к отцу, а у отца идеальная память была. — «Середа, — спрашивает, — а что ты здесь делаешь?» А Середа заикался: «В-ваше императорское высочество, в-выперли». — «А что ты думаешь делать?» — «Ваше императорское высочество, д-думайте вы!» Куда-то отец его назначил, потом в войну он попал в австрийский плен, а потом умер в Парагвае, в Старческом доме.

— А откуда вы все это знаете?

— По переписке, Середа мне писал. Я вообще с кадетами дружу. Я им всегда говорю: я вам старшая сестра, даже если кому давно сто лет. Кадеты ведь очень разные — старые и последние выпуски. Три корпуса кадетских было в Югославии, вы это знаете? Последний — 1943 года. Кстати, я кое-какие воспоминания опубликовала в «Кадетской перекличке». Выходит два раза в год, там любопытные есть вещи, поглядите на досуге. Вам об отце интересно. Так вот. Знаете, почему он сочинил эти стихи: «Умер бедняга в больнице военной»? В его время хоронили плохо, вот он и написал.

— Мне больше всего нравится «Растворил я окно», — признаюсь я.

— А поют?

— Поют, по радио...

— Слава богу, не чужие! Нет, я больше люблю «Вчера мы ландышей нарвали, их много на поле цвело...» Это он в Павловске написал, там была такая поляна, полна ландышей, а в углу идеальный куст белой сирени. Я хорошо помню Павловск. Павловск — это такая красота! Я Россию помню по запахам. В Павловске всегда пахло черным хлебом, а в Стрельне кислой капустой.

— Вера Константиновна, а что вы помните о царской семье? — Это снова спрашивает Николай Трубецкой.

— Я ж малая была. Помню, государь у нас чай пил, помню однажды приехал в Павловск, взял меня на руки, 129 подбрасывал. Царевича помню, он был на полтора года старше меня. Встретились мы с ним однажды на дороге, он с няней, и я с няней, а в Павловске была огромная лужа, прекрасная лужа, я ее очень любила. С одной стороны павильон для музыки, его в народе звали «Соленый мужик», то есть «Салон де музик», а с другой эта замечательная лужа. Наследник мне говорит: «Вера, туда!» А я вся в белом. Ну, меня два раза просить не надо, я с радостью туда. Представляете, что мне потом было!.. Говорят, на месте Ипатьевского дома всегда цветы?

— Не знаю, но публикаций о гибели царской семьи сейчас много.

— Да, я слышала, — сдержанно отвечает Вера Константиновна. И я понимаю, что дальше ни расспрашивать, ни рассказывать не надо: она знает о многом, происходящем в нашей стране. И Вера Константиновна подтверждает мою догадку.

— Я переписываюсь с Павловском, с бывшим директором музея, как же его фамилия...

— Кучумов?

— Да, по-моему, так. Видите фотографию на стене — разрушенный Павловский дворец после войны. Это он мне прислал. Когда шла реставрация, он мне задавал вопросы, а я отвечала.

— Откуда он мог знать, что вы все помните?

— Не знаю откуда, рассказали. Мне вообще из России пишут. А помню все до мелочей... Я всегда активно жила, это сейчас я в отставке.

— Получается, ваша жизнь прошла в трудах?

— Да что вы! — Вера Константиновна улыбнулась. —

Какие труды! До войны только и знала, по Германии разъезжала, очень много родственников. Другие больше меня в жизни поработали. А потом — переводчица, какая это работа? Для меня-то? Теперь вот много читаю.

— А о Советском Союзе?

— Очень много.

— А что?

— Все, что попадает в руки, то и читаю. Вот Солженицына читала мало, у него трудный слог. Я Распутина очень люблю. Его много читаю. Солженицына никогда не встречала. А с Ростроповичем недавно познакомилась. У него имение возле нашего монастыря.

— А третья эмиграция?

130 — Ну как же! Едешь на такси, знаете, среди таксистов в Нью-Йорке много последних эмигрантов, а они меня спрашивают: «Откуда вы так хорошо знаете русский язык?» Один раз крымский татарин встретился, таксист, я так его пожалела, что на чай побольше дала.

— Вера Константиновна, а как вы относитесь к переманам в нашей стране?

— Одно могу сказать: слава богу! Вот только, что будет, неизвестно. Лишь бы не было кровопролития. Это было бы ужасно! Но Россия всегда сама себя спасала, помните Тютчева? Столько мук позади! Как вы думаете, что будет? — Я молчу. — Вы собрались уходить? — Спрашивает она меня.

Я оглядываюсь. Трубецкой, оказывается, давно встал и с нетерпением на меня поглядывает.

— Приветы от меня Питеру передавайте. И прошу вас, узнайте, что такое с Кучумовым, почему он мне так странно пишет, почерк неузнаваемый, наверное, это он левой рукой. И почему он оказался в Старческом доме? Такой знаток, такой реставратор! Разузнайте, когда поедете в Питер, и дайте мне знать. Может, нужна какая-то помощь? Ну до свидания, до свидания!

...Мы попрощались и пошли к машине. Смеркалось. Я совсем забыла, что нас снова ждали в гости. Мы ехали молча, каждый думал о своем.

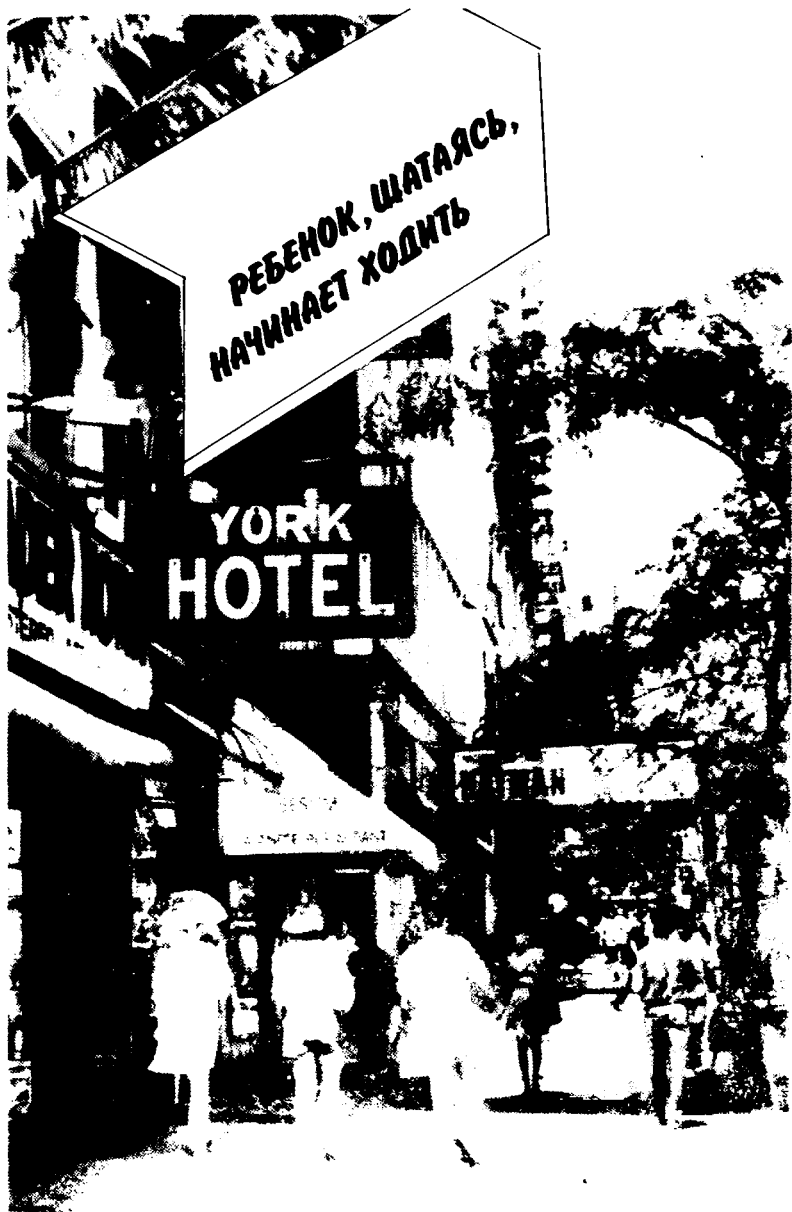
— Был большой исторический спор, — сказал вдруг Николай Трубецкой. — Пора его кончать.

РЕБЕНОК, ШАТАЯСЬ,
НАЧИНАЕТ ХОДИТЬ

YORK
HOTEL

CONFERENCE CENTER

RESTAURANT





— Вы читали в «Нью-Йорк таймс»? Не так давно? Заметка о русской мафии? Это же позор! Ужас! Позор всем русским! Убийства, грабежи, преступные кланы... Конечно, не стоит идеализировать первую эмиграцию. Много было вещей не слишком похвальных... Но преступники среди нас? Никогда! Ни одного! Ни один русский не сел в тюрьму. Ни за жульничество, ни за кражу,— пылко говорит Ростислав Аркадьевич Небольсин. И трудно поверить в эти минуты, что ему девяносто лет. Плотный, невысокого роста, точные, энергичные движения. Фарфорово-голубые глаза живо обводят сидящих за столом. А за столом — его сын Аркадий, внук Михаил Хлебников и я, приглашенная на чаепитие и общий разговор о судьбах первой эмиграции.

— Папа, подожди,— вступает в разговор его сын Аркадий.— Может, русские друг друга и обжуливали, мы не знаем, но не публику, не американцев, не французов. Вот этого не было. 133

— Что ты мне говоришь! Вообще не было ни одного случая, тем более тюрьмы — ни в Париже, ни в Нью-Йорке. В Париже до войны всегда говорили: если вы забыли в такси какую-то вещь и таксист русский, не волнуйтесь, вас всегда разыщут и все вернут. Вот такая была за русскими слава! А теперь? Невозможно слушать, что там творится на... как называется это место в Бруклине? На Брайтон Бич.

— У первой эмиграции было большое чувство собственного достоинства, да, папа? Вторая — это другое. Это бывшие советские люди со всеми бывшими советскими характеристиками. Они пережили нравственные муки второй мировой войны и, когда приехали в Америку, должны были доказывать, какие они лояльные и замечательные. Нас это не интересует. Ни отцу, ни мне, нам совершенно не интересно доказывать, какие мы хорошие американцы. Мы живем в свободной стране, что нам ей доказывать?

— Мне кажется, со второй волной вообще все сложно,— это говорю уже я.— Многие люди приехали очень молодыми, без толкового образования, многие, те, кто не предатели, были в плену, боялись возвращаться домой...

— Теперь ваше правительство и с третьей, и со

второй волной хочет примириться, у нас такое впечатление.

— А я бы хотел сформулировать то, что говорят мой дедушка и дяди.— Это уже голос третьего поколения, это внук Ростислава Аркадьевича Миша, так же, как и его приятель Коля Трубецкой, активно налаживающий культурные контакты первой эмиграции с Советским Союзом...— Ребенок, который, шатаясь, начинает ходить,— вот что такое наши отношения на сегодня. Но большинство первой эмиграции все же ждет официального слова с советской стороны.

— Какого именно, Миша? — спрашиваю я, не совсем понимая, что он имеет в виду.

134 — Кто-то, академик Лихачев или такой же замечательный человек, как он, или представители высшей власти должны что-то сказать эмиграции.

— Но что?

— Надо провозгласить, что наступило время примирения и общего прощения, это очень просто,— говорит Аркадий.— У вас там в газетах рассказывают сейчас обо всяких прошлых ужасах и как бы просят у народа прощения. Если мы кого-то обидели, от нас тоже требуется покаяние.

— Кроме того,— добавляет Миша, надо учитывать, что у старшего поколения — и в России, и в эмиграции — существуют свои предрассудки. А предрассудки не основа для понимания.

— Все проще, Миша,— поправляет племянника Аркадий,— блаженны миротворцы, вот и все! Пора сделать жест примирения, а не сводить старые счета. В России перестройка, происходят огромные сдвиги. Уже почти не осталось людей, которые совершили гнусные, ужасные преступления, эти люди давно скончались...

— Ну, это вы идеализируете, Аркадий,— невольно возразила я.— В нашей стране еще полно таких людей, доживают себе спокойно.

— А если их убедить, перевоспитать? — с надеждой спрашивает Аркадий.— Нет? Вы говорите, это трудно?

Я улыбаюсь наивности его слов. Миша замечает мою улыбку и тут же собирается мне возразить. Мише лет тридцать, он высок, строен, плечист, темноволос, очень энергичен. Работает в Колумбийском университете, бывает в Москве. Он считает себя — и не без оснований — человеком осведомленным, и эмоции деда и дяди все время старается перевести на язык точных формулировок.

— И все же очень важно,— отвечает Миша на мою улыбку,— чтобы те, кто виновны перед народом, осознали свою вину и покаялись.

— Пока, к сожалению, никто не кается,— говорю я.— Что-то я об этом не слышу. А если каются, то хорошие люди. Убежденные сталинисты своих позиций не уступают.

— Ну пусть хоть некоторые!

— Я согласен,— вступает Аркадий,— я знаю много хороших людей в Советском Союзе, но не встречал человека, который вдруг стал бы мне каяться...

— Вы отвлеклись. Я хотел бы сказать об эмиграции,— перебивает Ростислав Аркадьевич.— Я думаю, эмиграция должна сейчас руководствоваться четырьмя принципами. Первый: примирение с Советским Союзом, доброта, честность. Бесчестие было так неизмеримо велико! Возвращение к нашей общей чести выражается гласностью. Гласность на нашей Родине — это самая важная вещь! Она дает возможность завоевывать наш общий принцип чести. 135

Второе, на мой взгляд, это религия. Мне кажется, православие во многом спасло Россию. И это тоже нужно признать. И верующим следует молиться за мучеников. Все уморенные люди — это мученики, святые, угодники, если хотите...

Мне хочется перебить его и рассказать о ведущихся у нас горячих спорах о том, кого считать жертвами, а кого — палачами, всех ли вместе признавать мучениками, всем ли ставить памятники, но крупный инженер, изобретатель Ростислав Аркадьевич говорит четко, продуманно, видимо, это давно выношенные мысли. И я не решаюсь его перебить.

Небольсин-старший как будто угадал мои сомнения:

— Может быть, я говорю слишком широко, но правильно: это единственное, что нынешнее поколение — и в эмиграции, и дома — может дать погибшим страдальцам. Можно сказать еще шире — надо помнить о мучениках не только в плане религиозном. Главное — помнить!

Третий принцип: надо дать уважение экологии. Россия умирает в грязи. Это же ужасно, что мне рассказывают со всех сторон! Говорят, уже нельзя пить воду в Петербурге. Или проблемы Ладожского озера, мы читали в «Литературной газете», проблемы Байкала.

И четвертое: всячески содействовать миру и согласию с другими странами. Этот принцип очень хорошо прово-

дит Горбачев, и это важно и нужно признать. Знаете, именно это побудило меня поменять позиции. Я одним из первых в эмиграции сказал: «Перемены есть! Теперь нужно помогать, а не сидеть и ждать, чтобы все само собой поправилось, без нашего участия. Нужно быть оптимистами!»

— Пессимисты, к сожалению, лентяи,— вставил Аркадий.— Нетрудно ничего не делать, так можно сто лет ждать, пока страна сама образуется. Можно и двести.

Миша засмеялся.

136 — Не смейся, Миша, я серьезно говорю. В конце концов так легко критиковать... А если люди протягивают нам руки, и много хороших людей в России нуждается в помощи. Первая эмиграция всегда всем помогала, тем же детям по всему миру, той же второй волне, которая голодала. Им собирали одежду, посылали деньги. Сейчас есть много людей в Советском Союзе, которые проводят гуманизм. Им тоже нужно помочь. Когда академик Лихачев и митрополит Питирим выступают публично, как мне рассказывали, и говорят, что страна должна питаться гуманистическими ценностями, как можно нам их не поддерживать?

— Я не смеюсь, ты просто смешно сказал. Я согласен, мы должны принимать участие. Но пока большинство эмиграции сидит и ждет с большим интересом.

— А может быть, кроме пессимизма тут есть и цинизм? — спрашиваю я.

— Нет,— обиделся Аркадий,— я говорю о хороших, нравственных пессимистах, это милые люди, семейные, всем помогают: и своим, и другим, и чужим... Это хорошие люди, но в них засело: давайте подождем, давайте ничего не делать, может, это все блажь, может, все это скоро кончится.

— Вот почему важно помочь тем, кто «сидит на заборе» и наблюдает,— говорит Миша.— Тем более что среди поколения моего деда и дяди есть много крупных специалистов, они преуспели в своих профессиях, они могут помочь России. Очень жаль, что не все люди на это готовы. Наша семья одна из первых ищет способ реалистично помочь. А многие ждут благословения от Советского правительства, ждут, чтобы было что-то сказано о той трагедии, которая произошла.

— У нас не слишком много оптимистов, таких, как я,— это Аркадий,— которые считают, что Горбачев ведет себя почти безошибочно. Речь его в ООН была безошибоч-

ной. Пессимисты хотят быстрых перемен, а быстро невозможно, нужно дать время стране поворачивать плавно.

— Многих волнует,— вступает Миша Хлебников,— что страна не сможет перенести катастрофическую эпоху: после всех войн, репрессий, экономических трудностей... Одна надежда на то, что ваша элита, бюрократия научится не держаться за свои привилегии, как мы научились не держаться за свои...

Тут все мы дружно смеемся, дед, Ростислав Аркадьевич Небольсин, особенно:

— Что ты, Миша, нас никто не спрашивал, нас научили!

— Да, нас научили, в результате мы живем в Америке. В Америке хорошая демократия, но все равно не всем подходит. Как написал один русский поэт, поклонник Константина Леонтьева: «Прославил я братство неравенства и свободы»... Знаете ли, это все открытые вопросы...— говорит Аркадий. 137

— А кого из русских философов в эмиграции вы знали? — спрашиваю я, раз уж речь зашла о Леонтьеве.

— Федотова, слышали вы это имя?..— тут же, без всякой паузы отвечает Ростислав Аркадьевич.

— Конечно, у нас его уже публикуют в «Новом мире».

— Не может быть, какая радости! — восклицает Аркадий.— Он был другом моего отца.

— Мне трудно назвать наши отношения дружбой. Я его просто обожал. У него был такой великолепный ум, он был такой ясный. Ясность — вот что в нем было главное. И все, что он говорил, было так изящно.

— Я его тоже помню,— говорит Аркадий.— Во время войны он читал лекции. На лекции сидели папа, мама, князь Гагарин и княгиня, не очень много людей. Сергей Николаевич Гагарин был тогда главой нью-йоркской колонии, ее сердцем. Такого объединяющего всех человека сейчас больше нет. Гагарин представлял самые лучшие характеристики русской эмиграции. Он был очень скромный человек. И очень артистичный. Прекрасно играл, замечательно пел. В его бедной квартире висел подлинный Караваджо, он нашел его где-то на барахолке. Он всем помогал.

И тут наш разговор переключается на историю первой русской эмиграции и ее жизнь в Нью-Йорке.

— А каковы, по-вашему, эти лучшие характеристики? — спрашиваю я. И все трое — отец, сын и внук — на минуту задумываются и начинают перечислять.

— Прежде всего — гостеприимство и щедрость, — говорит Аркадий. Дед и племянник согласно кивают. — И моя семья, и брат моей матери Иван Лаврентьевич Пушкин принимали в своих домах всех гостей, особенно безработных. Иногда эти нахлебники оставались в доме и жили неделями... И во всех этих людях была легкость в самом хорошем смысле этого слова. Эти люди никогда не навязывали своего мнения даже нам, детям. Я бы сказал, это были немножко детские люди в смысле своей открытости, и мы, подрастая, рассказывали им свои сокровенные мысли и теории, и они всегда слушали и терпели даже наш вздор. Это легкость не в смысле фривольности, нет... Это душевная щедрость, которой так не хватает сейчас русскому народу. В широком смысле щедрость. Не думать о том, кому отомстить, кого наказать, с кем выиграть спор в газете... Сейчас нужно думать более новозаветно, а не ветхозаветно.

Почему Россия столько страдала? На это у меня есть один возможный ответ. Потому что, когда придет решительный момент, именно она покажет пример прощения добротой. Стремление к миру у Горбачева — это первый шаг, доброе поведение Советского Союза на международной арене. Разве нет?.. Все мы что-то потеряли. Папа потерял отца в начале революции, еще в марте 1917 года. Многие из поколения моих родителей потеряли отцов и родственников. И все равно пушкинская легкость в их детях осталась. Например, семья Кантакузиных, моей тети, урожденной Нарышкиной. Все ее братья погибли в самом начале революции, и тоже при зверских условиях. Она уехала с мужем, князем Кантакузиным. Средств не было, они держали пансион. Многие из их гостей не платили. Они оба тяжело трудились физически, тетя сама мыла, готовила, убирала, даже в восемьдесят лет ей приходилось тяжело и много работать. Я часто навещал их в Швейцарии и наблюдал, с какой легкостью они переносили свое положение. Они всегда смеялись, вечно рассказывали смешные анекдоты, весело мыли посуду. Они никогда не проклинали судьбу и не ворчали. Они жили так, как будто у них были крылья, как будто их вела какая-то внутренняя сила. И была в них огромная любовь к России, к русской культуре, была религиозность такая, о которой писал мой дядя философ Николай Арсеньев. Кстати, его тоже надо у вас издать. Но это была совсем не строгая религиозность...

Монолог Аркадия перебивает племянник Миша:

— Знаете, я могу отметить, что в этом поколении не было фанатизма. Они не старались кого-то поучать: давайте то-то и то-то. Сейчас у нас в эмиграции все всех учат...

— Знали бы вы, как у нас дома все всех учат, — засмеялась я.

— К сожалению, даже в моем поколении стали больше поучать, — сказал Аркадий. — Просто не могут удержаться. Вообще, жизнь в Нью-Йорке стала как-то тяжелей, хотя все стали богаче, чем были люди тогда. Тогда русские были беднее, но гораздо, как бы сказать, цивилизованнее... Они тихонько жили, тихонько ходили...

— Скромное, очень скромное поколение, — подтверждает Миша.

— Сейчас в нашей среде тоже много поучают друг друга, а мои родители, они нас не заставляли: учитесь, ходите в церковь! Знаете, как это было у Чехова, которого лупили по голове... Сколько веков во всем обвиняли русское дворянство, правда, папа? Но у лучших его людей была та легкость, которой нет ни во второй, ни в третьей волне. Мне неинтересно касаться того, как издевались над дворянской интеллигенцией советские писатели в 20—30-е годы. Нет, я вспоминаю о том, что писали о ней до революции. Тот же Толстой, Тургенев, Чехов. Все ругали дворян! Возьмем того же нашего бедного Федотова. Его отец был генерал. Федотов ужасно стыдился этого. Это вообще какой-то скандал, отец — царский генерал. Как ужасно! Потому что в русской литературе генерал всегда дурак, если он не Кутузов. Это зверь и болван! Конечно, я понимаю, это фрондизм русской литературы XIX века, но это было распространенное общественное мнение. А наш Федотов в молодости был социалистом. Но потом он подружился с Гагариным, с Трубецкими, с моим отцом, со священником Мусиным-Пушкиным и его матушкой и говорил к старости, что совершенно переменял свой взгляд на русскую аристократию. Она вовсе не вся такая плохая. Он встретил людей, которые не играли своим саном или титулом. Это в нашем кругу не полагалось, это был верх дурного тона.

— Знаете, а мне приходилось сталкиваться с другой точкой зрения. Многие эмигранты из Китая, из Харбина, например, недолюбливали, да и сейчас не жалуют русскую аристократию, живущую в Нью-Йорке.

— Нет-нет, я же не обо всей эмиграции говорю, были в Нью-Йорке князья, которые спекулировали своими ти-

тулами, конечно, были! Таких людей немало. Но в нашем узком кругу это было не принято. И это очень важный момент. Не только для поведения эмиграции — для объяснения того, из каких элементов складывалось русское общество до революции.

— Аркадий, трюизм простой, — говорит Ростислав Аркадьевич. — Зачем загадки? Это была инерция хорошего поведения, хороших идеалов — долг, честь... Все это в лучших представителях эмиграции было живо, и это перенеслось на много лет. Это живо и до сих пор... до некоторой степени. Вторая и третья волна не имели уже этого стойкого основания.

140 — Папа, зачем ты так широко обобщаешь! Я встречал в Советском Союзе Лихачева, Сергея Аверинцева, многих других... В лучших людях живы эти идеалы. Знаете, даже Кастаки, этот знаменитый коллекционер. Он меня тоже поразил. Он мне сказал, когда был в Нью-Йорке, что принадлежит к русскому православию. Я очень удивился, а он ответил: самые добрые люди на свете — это русские... Кстати, еще одна характеристика. Самопожертвование. Люди, у которых почти не было денег, основывали фонды. Детский фонд, Богословский, который много помогал и помогает русской церкви, особенно на Аляске, платит семинаристам стипендии. Они там в ужасном положении. Самопожертвование наших родителей и скромность — вот на чем мы воспитывались!

В тот вечер, первый вечер у Небольсиных, мы еще долго пили чай из чашек старого фарфора, на столе возле дивана, где я сидела, стояли две фотографии в рамках: портреты Николая II и всей царской семьи. На стене напротив висел портрет покойной жены Ростислава Аркадьевича, Екатерины Лаврентьевны, урожденной Пушиной. Мы пили чай и все время возвращались к одной теме — к переменам в нашей стране. Да, царские фотографии и живейший интерес к перестройке, желание активно помочь — все это рядом. Одно не противоречит другому, особенно если жизнь прожита длинная, такая, как у Ростислава Аркадьевича. Девяносто лет... И при этом быстрота реакции, ясность мысли, которую он сам так ценил у своего друга Федотова, породистое, красивое лицо, хотя кое-кто из наших ретивых журналистов уже успел бодро описать его морщины и «тусклую сорокасвечовую» лампочку, которая освещает его «безжизненное» лицо, и «незамысловатый» абажур. «И лампочка у нас сто пятьдесят свечей, и абажур старинный, — огорчался

Ростислав Аркадьевич.— И разве я виноват, что я старый?»

Не знаю... У каждого свое видение людей. Я не заметила его морщин, я увидела яркие голубые глаза, они с радостной, детской доверчивостью очень умного человека, сознающего свою силу, смотрели на меня, когда наши мнения совпадали. И это он, самый молодой из нас, бегал ставить на кухню чайник, и снова подогревал его, и снова заваривал чай. И это он в конце вечера снова убежал куда-то и быстро вернулся с небольшим графином в руках, потом принес рюмки:

— Давайте выпьем водочки за нашу бедную измученную Россию!

Мы выпили.

— Может быть, хотите супу? Горохового, с ветчиной, сам варил,— предложил Ростислав Аркадьевич, и это после торжественного чая с торжественным, вкусным печеньем.— Закусить, а что? Я люблю суп.

— Мой дедушка,— сказал Миша, откровенно любуясь дедом,— крупнейший специалист по очистке воды. У него была своя фирма с филиалами в тридцати странах, вы не знаете об этом? Дед передает свой архив Советскому Союзу. Дарит.

— Оставь, Миша, я еще ничего не сделал для России. Все впереди, только времени у меня в запасе мало, два-три года активности, этого у вас не понимают. Я так и наброшусь на свой родимый Петербург, когда приеду, чтобы очистить там воду! Ну давайте еще по одной, за Россию...

2

С Ростиславом Аркадьевичем я встретилась снова через несколько дней, чтобы поговорить с ним отдельно: в ту, первую встречу мы все перебивали друг друга, обобщали, пытались вместе нащупать конструктивную почву для диалога.

И вот я снова в гостиной, снова передо мной портрет его жены-красавицы, старинная мебель — уютная обстановка несуетного интеллигентного дома. И рояль, и пейзажи на стенах, и фотографии — все старомодно русское. И этот человек, ровесник века, говорящий со мной на том удивительном русском языке, какой знаком нам по прозе Бунина. Так говорили когда-то в России, так разговаривает он сам и отчасти его сын Аркадий. (Аркадий,—

вспоминается мне тургеневское, ироническое — не говори красиво! Противодворянское, как сказал бы сам Аркадий, фрондирующее замечание.) И странно мне слышать этот говор здесь, в Нью-Йорке, на 86-й улице, на том ее отрезке, который, как казалось мне, я так хорошо знаю. 86-я улица — широкая, торговая, одна из главных проезжих магистралей верхней части города. Здесь всегда многолюдно, здесь масса магазинов и магазинчиков, здесь старые, солидные дома начала века, где живут в высшей степени обеспеченные люди, и чем ближе к 5-й авеню, тем респектабельней публика. Сколько раз я здесь проходила, когда мы жили в Нью-Йорке? Безопасная улица, веселая, всегда полная неожиданностей. И мой любимый книжный магазин «Барнс энд Ноблсс» тоже здесь рядом, и все книжные новинки обычно выставлены в его витринах... Могла ли я предположить, что здесь в одном из сероватых многоэтажных домов живет русская семья Небольсиных, что в их доме в последние годы часто бывают приемы по случаю приезда именитых гостей из Советского Союза... Мы уже были знакомы с Михаилом Хлебниковым, с его отцом... А с дедом... Дед стал активен и готов к общению с советскими людьми только тогда, когда стала активна перестройка в нашей стране.

И вот мы сидим уже без всякого парада, без старинного фарфора и столового серебра на столе, Ростислав Аркадьевич вспоминает свою жизнь и все время, перебивая себя, возвращается к той идее, которой он сейчас одержим. А я все прошу его начать сначала, с времен детства в России, а ему хочется говорить только об одном — об очистке воды.

— Ну хорошо,— предлагаю я,— расскажите тогда, почему именно вы один из первых в мире занялись этой проблемой?

— Водой? — с надеждой, что мы заговорим о его «русском» проекте и не станем тратить время на мелочи, спрашивает Ростислав Аркадьевич.

— Водой.

— Очень просто. У нас в семье пять поколений моряков. Мой отец был адмирал, дедушка тоже, прадедушка — капитан дальнего плавания. Все Небольсины всегда были связаны с морем. Все моряки, а я не хотел быть моряком. Моя мама была пацифисткой и думала, что всякая война не только зло, но и глупость.

Я засмеялась.

— Да-да, мама была английского происхождения, в

ней было много английских характеристик, но главное — пацифизм. Она меня в нем убедила. Но учиться послали меня в Первый кадетский корпус: там давали блестящее образование. Он создан гораздо раньше Пажеского корпуса. Я закончил последний его выпуск, 176-й. И еще в корпусе заинтересовался водой.

— Как это могло произойти в корпусе?

— Ну вместо того, чтобы интересоваться соленой водой, как положено, я заинтересовался пресной. Вообще, в семье была легенда, что я с раннего детства в упоении строил разные сооружения из песка. Однажды какой-то человек на пляже долго глядел на мое строительство. Говорят, я посмотрел на него и сказал в негодовании: «Ну что, не видишь, человек работает...» В 1917 году я поступил в Политехнический институт, уже тогда там была одна из первых в мире гидравлических лабораторий. Учиться мне не пришлось. В марте семнадцатого отца убили в Гельсингфорсе. Это матросы восставшие сделали, я не могу винить в этом Ленина. На Черном море — не убивали — только в Гельсингфорсе и Кронштадте. Когда отца убили, мама сказала: матросов не тронули, никого не судили, это серьезная революция и надо уезжать.

Мы уехали в Англию в сентябре 1917 года. А уже в начале восемнадцатого я поступил учиться в Колумбийский университет в Нью-Йорке. Мы с братом сделали риск и поехали из Англии в Америку учиться. Моя идея была как можно скорее закончить образование, чтобы служить стране.

— Какой стране? — не понимаю я.

— Как какой? России, конечно. Все чувствовали, что впереди огромный кризис, после кризиса будет очень трудный период, когда понадобится помощь. Все считали, что очень скоро всем нам надо будет восстанавливать страну, залечивать раны. В моем окружении все вообще были полны идеализма, это натуральная реакция, тем более, что мне было тогда всего семнадцать лет. Когда в России начали расстреливать заложников, многие усомнились, начали предсказывать недоброе, но я не верил и старался побыстрее выучиться. Деньги у нас с братом были рассчитаны всего на два года. После трех месяцев в Колумбии мы поняли, что лучше учиться в Массачусетсе: это лучший технологический институт страны. Образование тогда было очень дешево: годичный курс — шестьсот пятьдесят долларов. Сейчас — больше десяти тысяч. Вообще все было фантастически дешево: мет-

ро — пять центов, сейчас доллар, автомобиль — пятьсот долларов. Это все 1918 год.

Мы жили с братом очень скромно. Закончили институт, и русское посольство в Вашингтоне выдало нам еще две тысячи, чтобы мы завершили образование в Гарварде. Там уже были высшие курсы, один профессор на пять человек. Мы закончили в 1921 году. Брат остался в Гарварде, я вернулся в Нью-Йорк, начал искать работу. Этот город меня всегда привлекал своей активностью. Люди здесь всегда быстро ходили, все хотели что-то делать, шум, гам, очень живой город. Была послевоенная депрессия, работу было найти трудно. Только в 1924 году из-за знания французского языка меня наняла одна фирма для работы в Южной Америке. Там я наконец занялся впервые водой. Нужно было заниматься сточными водами. После этого была Польша, там я работал год. После Польши — Афины. Туда меня отправили уже во главе целого отряда проектировщиков. Надо было увеличить водоснабжение Афин. Шел 1926 год, Афины были заполнены беженцами из Турции. За одиннадцать месяцев мы сделали два проекта: станцию для поливки соленой водой города и второй проект — починили акведук Адриана после того, как он не работал две тысячи лет. Это были маленькие, сделанные вручную тоннели. Мы построили к ним еще дамбу возле Марафона, и акведук заработал. Надо сказать, эта моя работа получила большую популярность: Марафон, древность, Греция... О проекте много писали и в Европе, и в Америке.

— Получается, что вы занимаетесь вашей любимой водой с 1924 года?

— Да, шестьдесят пять лет я занимаюсь только водой.

— А женились вы когда? — я смотрю на портрет на стене. Я уже много слышала об этой женщине, с разных сторон и все самое хорошее.

— На Кате? Меня мама женила, — Ростислав Аркадьевич смеется. — В Афинах я получал уже триста долларов в месяц и решил, что пора жениться. Но только на русской девочке. Вы не представляете, в каком они были ужасном положении. У многих родители убиты в революцию, почти все без средств, бизнесом заняться не умеют. Им надо было только выходить замуж. И тут мне мама написала, что у Лаврентия Ивановича Пушкина...

— Это правнук или внук декабриста?

— Внук. Так вот, у него есть четыре дочки и один сын, Ваня, и что самая замечательная из этих дочек стар-

шая, Катя. И мама начала воспевать в письмах Катю, — тут Ростислав Аркадьевич улыбнулся, потом лицо его стало торжественным. — И вы знаете, моя мама была очень умная женщина. Я приехал в Лондон и согласился с мамой: Катя — самая удивительная из них. Мама хотела быстрой свадьбы. Я вернулся в Афины и послал телеграмму матери Кати, просил руку дочери. Мать ее согласилась с радостью — посудите сами, четыре девочки. А она, Александра Федоровна, тяжело работала стенографисткой. Срочно обучилась после революции и содержала всю семью.

— А как же Лаврентий Иванович, их отец, внук декабриста?

— А он уехал от семьи в Америку, в Нью-Йорк. Он ненавидел Англию за то, что та плохо помогала России. 145 Он был неприспособленный человек, помогать семье не мог. Вообще он был человек правый, горячий монархист, декабристов, кстати, не любил. Вскоре он умер в Нью-Йорке.

— А свадьба?

— Катя приехала ко мне в Афины с моей мамой, и нас обвенчали в русской церкви. Мама моя была страшно рада и за меня, и за семью Пушиных: она знала, что я буду этой семье предан. Вернулись мы в Нью-Йорк, а тут депрессия. Перебивался, как мог, делал проекты для себя на бумаге. Потом сделал проект для Парижа, очистка воды реки Луары. Вода оказалась так хороша, что стало можно разбавлять ею вино. Знаете, для французов это важно. Во время второй мировой войны тоже было нелегко, работы не было, работал как простой чертежник. И только в 1946 году основал свою компанию. И тут наконец пошла большая вода. Компания «ЮЭс стил корпорейшн» почему-то мне поверила и стала давать большие заказы. Сначала очистка воды на огромном сталелитейном заводе в Питтсбурге. Потом они решили строить новый завод около Прентона, один из самых больших в мире. Они дали мне полную власть по очистке воды: шпарьте, сказали. Делайте, что хотите. Никаких критериев тогда в мире не существовало: до какой степени очищать воду, никто не знал. И никто этим почти не занимался.

— А компания почему решила очищать воду?

— А начались осложнения: река Делавер, на которой собирались строить завод, снабжала Филадельфию, Филадельфия грозила судом в случае загрязнения воды. И тогда я объявил: мой критерий прост: вода, возвращен-

ная в Делавер-ривер, должна быть лучше, чем та, которую мы берем.

— Ростислав Аркадьевич, но ведь это та проблема, которая сейчас встала во весь рост перед всем миром!

— Сейчас, но американцам пришлось ею заняться раньше других. А в России бедненькой только недавно спохватились... И я составил систему, как отстаивать воду. Это был первый в стране огромный резервуар, где отстаивалась вода. И вода стала действительно лучше после очистки, чем из реки. Этот проект дал мне огромное имя в стране и в стальной индустрии. Я начал получать заказы от разных заводов в Америке. Чем фильтровать воду для очистки? В Германии, где давно шли такие исследования из-за загрязнения долины Рура, воду пропускали через песок. А я решил попробовать через антрацит. Он лучше во многих отношениях, он ловит самые мелкие частицы, останавливает нефть, масло. И это дало мне большой толчок. Моей компании стали заказывать фильтры японцы. Мы работали в Канаде, Австралии, Южной Африке, Южной Америке, Бельгии и даже в той же Германии. В течение двадцати лет мы построили около ста очистных сооружений в одиннадцати разных странах.

И тут мне пришло в голову: а сточные бытовые воды? Это же самое трудное. И моя компания вышла с новым предложением. Мы сделали это в Италии на знаменитом озере Комо. В городе Комо была масса мелкой индустрии, и она стала загрязнять замечательную воду. Бизнесу было велено вычистить. Они пришли в отчаяние. Потом пригласили меня. И мы сделали. Фильтрацией с помощью антрацита. Осуществлялся этот проект десять лет. Ничего, что я так подробно рассказываю?

— Что вы, мне интересно, особенно теперь, когда во многих реках и купаться нельзя...

— Так вот, самое главное. Я хочу предложить помочь очищать воду в России. Можно сделать воду как нарзан, понимаете? Все пока делается старым способом, как пятьдесят лет назад. А делать что-то надо, это неизбежно. И чем дальше тянуть, тем дороже это будет стоить. Старый способ, которым чистят до сих пор во всем мире, он дороже: больше затрат, больше площади занимает. Больше выгоды от этого — вот в чем дело. Я предлагаю экономию — на одну треть. Во всем. И в площадях, и в энергии.

— А вы об этом говорили?

— Говорил в советском посольстве, ездил в Вашинг-

тон. Мои внуки говорили об этом в Советском Союзе, пробрались в Комитет по охране природы. Как сумели, не знаю. Это Павел, младший, вы его не видели, он работает в журнале «Форбс» и пишет диссертацию по крестьянской реформе Столыпина. Павел очень деловой. Я передаю Советскому Союзу весь свой архив, двадцать пять огромных коробок всех моих проектов, чертежи. Пусть в Советском Союзе студенты учатся. Но я хочу реально помочь стране. Мой проект может спасти миллиарды. Я не преувеличиваю. Я хочу приехать и сказать: дайте мне проект, только быстренько. Если не верите, давайте устроим так. Один будет мой, другой делайте вы, или немцы, или шведы, как хотите. Давайте посмотрим разницу. И когда увидим, давайте срочно вводить лучший во всех городах страны. Медлить нельзя. Я скажу: не 147
нужно больших проектов, это неразумно и дорого. Давайте начинать с маленьких! Даже для маленького нужен год, может быть, больше, потому что все медленно делается в Советском Союзе. Мне девяносто лет. И я жду два года. Я не могу ждать! Вы меня понимаете?

— Ростислав Аркадьевич! — огорчаюсь я. — Я попытаюсь, поговорю, но у нас все, вы уже в этом убедились, так медленно раскручивается.

— Но ведь мои внуки все рассказали!

Я стараюсь его утешить, приободрить, а сама думаю: что я смогу поделаться с нашей могущественной бюрократией? Лихорадочно вспоминаю, кого знаю в Комитете охраны природы...

— Мне не нужно больших проектов. Воды в Ленинграде уходит в день по двести — триста литров на человека. Вот я и хочу устроить первый проект на тридцать тысяч населения. Можно очистить воду возле Путиловского завода, там наверняка грязная вода. Могу спроектировать небольшие станции вдоль Невы. Не придется даже строить новые помещения. Мои станции можно поместить в четырехэтажный дом. Снаружи прекрасный дом, а внутри фильтры, никто и не догадается. А какая польза моему родному городу! Я не хочу приезжать с целой командой. Пусть дадут мне трех-четыре умных инженеров, я в два года сделаю из них экспертов. Пусть дальше работают без меня, — и Ростислав Аркадьевич снова спрашивает: — Нет, вы понимаете, что у меня нет времени? Я должен с плеч моих передать свое дело другим. Все, что я хочу, — от любви к стране, от желания помочь. Ведь некоторые свои секреты я никому не раскрыл, они нигде не записаны,

их нет в моих архивах, я готов передать их только на практике... И никто ничем не рискует, особенно в Ленинграде, где положение так плохо... Я волнуюсь, звоню в посольство, они что-то согласовывают с Москвой, потом звонят, что потеряли мои бумаги, опись архива, нашли только через месяц, а я все жду. Я хочу реальности, я делал проекты на миллиарды долларов. А теперь... Как вы думаете, дадут ли те копейки, которые нужны, чтобы начать?

3

148 Мы еще несколько раз виделись с Ростиславом Аркадьевичем, и каждый раз он с огорчением говорил мне, что никаких вестей из Москвы нет. Потом приезжал в Нью-Йорк Геннадий Васильев, навещал Небольсиных, и снова никаких известий, и снова Ростислав Аркадьевич с жаром объяснял ему, как дешев и выгоден для нашей страны его проект. И снова приезжала я, и продолжалось то же самое.

В ту первую мою поездку мы часто виделись с Аркадием Небольсиным. Я была по приглашению Аркадия на балу «Русского дворянского общества» в знаменитой нью-йоркской гостинице «Уолдорф Астория». И это было событием и для меня, и в какой-то мере для русской колонии: ведь я была первым советским человеком, приглашенным на этот праздник официально. Бал благотворительный, билеты дорогие. На балу много русских, много и американцев. За столом, куда я попала и где сидел мой главный «опекун» Михаил Григорьевич Щербинин, встретили меня неприветливо. Михаил Григорьевич только посмеивался, потом, отведя меня в сторону, объяснил: «Понимаете, эти люди приехали на бал из Техаса, до них еще не дошли наши новые веяния». Но в основном встречали дружелюбно: и председатель общества Щербатов, и Никита Романов с женой, и Бобринские, и другие люди, чьи имена известны нам скорее по курсу русской истории. И танцы, и оркестр, и русские народные пляски, в которых особенно отличился Владимир Голицын,— все это создавало тот колорит, который так привлекает на «русские» праздники. Не скрою, мне было не просто, почти каждый вспоминал статьи советских корреспондентов о первой эмиграции. Особенно одну, автор которой явился на такой же бал незванным, подслушал разговоры, а потом написал в одну из ведущих наших

газет статью под названием «Бал призраков». Люди подходили ко мне и спрашивали: «Ну что, мы похожи на призраков?» А корреспондент этот продолжает писать все о том же, только теперь с обратным знаком.

Что я могла ответить? Многие из этих людей ездят в нашу страну, кое-кто хочет помогать перестройке. До сих пор даже в самых, казалось бы, дружелюбных статьях об эмиграции отсутствует понимание простой вещи — перестраиваемся мы, но перестраивается и эмиграция. Многие еще, по выражению Миши Хлебникова, «сидят на заборе и наблюдают». Пусть так. Но ведь наблюдают с интересом. И этим «многим» немало лет, и им трудно меняться. От полного неприятия сталинского режима, брежневского развала — к интересу и к симпатии... На все нужно время. Разве у нас старшему поколению так уж легко меняться?

149

Обо всем этом часто вспоминала я, общаясь с Аркадием Небольсиным. В отличие от своего отца очень высокий, полный, барственный, Аркадий по поведению, манерам напоминал мне то ли Пьера Безухова, то ли ожившего для новой жизни Обломова. То сонливость и медленные, с ленцой движения, то горячие, темпераментные речи, когда что-то в разговоре задевало его за живое. Мы встречались и на балу, и на завтраке, устроенном женой Никиты Романова, и дома у Небольсиных на 86-й улице и все время разговаривали — Аркадий часто вспоминал своих учителей, и все это были имена, которые стремительно возвращаются сейчас в нашу историю. Однажды я спросила его, знал ли он Набокова.

— Я у него учился в Гарварде, слушал курс лекций. Конечно, я знал его достаточно хорошо, — сказал Аркадий. — К тому же Владимир Владимирович мой дальний свойственник. Сестра Пушкина вышла замуж за Набокова, его предка. Я рос с его племянником Ваней, он сейчас живет в Париже, и сравнительно часто видел его дядю.

— А какой курс лекций он вам читал? Пушкина? — спросила я Аркадия. Странно было увидеть ученика Набокова, да еще такого, который этому факту не придает особенного значения.

— Он читал и Пушкина, и курс мировой литературы. Набоков был очень милый человек. Его жена Вера приходила с ним на лекции и тихонько сидела в углу. Когда требовалось, она протягивала ему нужную книгу, чтобы он мог цитировать...

— И часто она приходила?

— Всегда, я не помню случая, чтобы ее не было. Знаете, к Набокову разное отношение. Многие считают, что в его творчестве недостаточно этики, которая так свойственна русской литературе и сейчас. Говорят иногда, что это искусство ради искусства. Но я не хочу об этом спорить. Набоков сам был очень строгий критик и ненавидел Достоевского.

— Он говорил об этом на лекциях?

— Да, он так нас учил. Но ведь главное — как он рассказывал о том, что любил. А любил он Пушкина. Даже профессора сидели с нами вместе и слушали его лекции о Пушкине. Он читал и по-русски, и по-английски.

— А каков был пафос его лекций?

150 — Он любил говорить, что Пушкин поэт классики, что он завершает XVIII век. Он мало останавливался на романтической стороне его творчества. «Дубровского», например, считал сочинением не очень высокого калибра. Больше всего он любил «Евгения Онегина», «Графа Нулина», «Медного всадника». Главное, что мы делали на его лекциях, — разбирали «Евгения Онегина» по строфам. И Владимир Владимирович нам все объяснял. Когда речь шла о карточной игре, он придумывал нам целую партию — как она, по его мнению, должна была развиваться. Когда Татьяна убегала в сад, он рисовал воображаемую карту сада. И с таким энтузиазмом, с такой любовью! Вообще он был более веселый и непринужденный, чем можно подумать, читая его статьи и романы. Все проходило весело, легко, празднично...

Я удивляюсь и не скрываю своего удивления, мне всегда казалось, что Набоков был строгий, довольно чопорный человек, умевший «держаться дистанцию», как любит выражаться Михаил Григорьевич Щербинин.

— Это в своих книгах он держал дистанцию. В жизни, когда он читал нам лекции, этого не было. И потом, это было до той огромной славы, которая к нему пришла. Он открывал нам в Пушкине цвета и запахи его гения, которые как бы убиваются тем, что в детстве мы учим его, как учат катехизис. Все оживало у Пушкина, когда Набоков говорил. Когда стихи о балете, он рассказывал нам, какие были танцовщицы, какие танцы, как танцевали в пушкинские времена... Опера, он знал все об опере. Он читал нам свои переводы Пушкина на английский. Когда они вышли отдельной книгой, мне показалось, что то, что он нам тогда читал, было гораздо лучше, свежее, непосредственнее.

— А как вы думаете, почему?

— Может быть, он слишком долго сидел над этим переводом. Это всегда ошибка. Вообще сейчас я о многом жалею. Я был слишком молод тогда, чтобы понять, что он нам дает.

— А кто-нибудь понимал в те времена размер дарования Набокова?

— Думаю, тогда никто. А теперь я знаю людей, которые его боготворят. Я, правда, все равно не из их числа, мне больше нравятся в нем идиллические моменты, воспоминания о своем детстве. Но главное, что я теперь понимаю,— в нем была редкая связь интуиции и учености. Многое из того, чему меня учили в Гарварде, я вообще оценил только в зрелом возрасте. Тогда там был терпимый климат. Не только Набоков, но и другие профессорско-литературоведы изучали свои объекты без каких-то жестких предвзятых идеологических теорий. В 50-е годы было еще так. А когда я сам начал преподавать в Йеле, там уже было гнездо формалистов. Кстати, они базировались на трудах советских формалистов 20-х годов, включая Романа Якобсона. В университетах начала появляться какая-то строгость. Все уже точно знали, что правильно, что неправильно, что хорошо, а что плохо. Появилась нетерпимость к чужим мнениям, в частности, к тем людям, кто интересовался богословием, кто пытался искать религиозные основы литературы и искусства.

— Какие годы вы имеете в виду?

— Конец 60-х.

— Ну, Аркадий, это ведь вообще очень «левое» время в Америке.

— Левое, нелевое, а все переходили на структурализм. Стихи стали разбирать только по технологическим признакам, создавали какие-то десять или сто разных математических символов одного стихотворения...

— У нас тоже в это время было большое увлечение структурализмом... Но новому направлению приходилось нелегко...

— Да? Как интересно! А у нас структуралисты взяли в эти годы большую власть. Один ученый даже сказал мне о моих лекциях: «У вас большой недостаток. Вы смотрите на стихотворение и любуетесь им, как будто это красивая ваза. Так нельзя, это непрофессионально. По теории структурализма это делать не полагается». Такой вот установился позитивистский подход к науке. Еще Федотов от него страдал.

— Вы вспоминали, что Федотов был другом вашего отца.

— Он иногда читал нам лекции в Гарварде. Но Федотов всегда был немного в загоне.

— Почему? Такой блестящий ум...

— Очень просто. Потому что он был богослов.

— Но прежде всего он был крупный философ. Это в Америке понимали?

— Это ощущали его поклонники, в основном из русской общественности. Помните, я рассказывал вам о Сергее Гагарине? Но большинство людей, я бы сказал, не понимали. Он был недостаточно академичен для тех, кто критиковал его в университетах.

— Почему неакадемичен?

152 — У него был слишком широкий диапазон знаний.

Интерес и к религии, и к литературоведению, и к искусству. Это все не нравилось узким специалистам. Его так и не пригласили ни в один крупный университет, он продолжал читать лекции в Свято-Владимирской семинарии. В американских, даже лучших, университетах слишком напирал на профессионализм. Специальность легче перевести на язык денег. Как можно было перевести на этот язык Федотова? А специалист... Финансист на Уолл-стрите может сказать: «Найдите мне человека, который все знает об эскимосах на Алеутских островах». И всегда в каком-то университете найдется специалист, который все знает, даже по каждому отдельному острову. Его вызывают на Уолл-стрит, делают консультантом, он начинает зарабатывать много денег. Для такого склада ума все ясно и просто. И больше, как правило, такой человек ничего не знает. А Федотов, или Иваск, или мой отец... Крупный инженер, всю жизнь отец интересуется и музыкой, и философией, и политикой. Он дружил с Федотовым и помогал ему, в том числе и финансово. Федотов жил очень скромно. Отец был один из основателей Богословского общества, и это тоже не случайно.

— А как Федотов читал лекции?

— Очень тихим голосом. Никогда не слышал, чтобы он кричал. Ни одного грубого слова. Когда с ним начинали громко спорить на его лекциях, он отвечал тихо. Это было органично. Он был очень добрый человек, очень отзывчивый. Замечательный лектор. Но его религиозность ему все время мешала. Конечно, в Америке полная терпимость, но религиозность в академических кругах не поощряется, давно существует такая, знаете ли, интелли-

гентщина, ну похожая на школу Белинского в России XIX века. На многие вещи академическая среда смотрит сугубо идеологически. Разве вы этого не замечали?

— Замечала, но не думала, что это давняя традиция...

— Конечно, за мнения никого не сажают, но работы лишить вполне могут. Федотов тому самый яркий пример. Он не был материалистом и за это тяжело расплачивался. Но это не мешало ему много писать, выступать со статьями в «Новом журнале».

— Мне вспоминается, он начал сотрудничать там с первых же номеров?

— Да, он, Алданов, Бунин, Добужинский, тот же Набоков... Все они много писали в «Новый журнал».

— Я была у них недавно в редакции. Очень интересно говорили, но ведь, кажется, журнал безгонорарный?

153

— А у них никогда не было много денег, хорошо еще, что он выходит, помогала...

— А был ли в те годы какой-то общий круг авторов журнала?

— Никогда. Что касается Набокова, то он никогда не интересовался религиозными проблемами. Он всегда жил и работал сам по себе, отдельно. Литература была для него тоже в некотором смысле игрой приемов, о чем он нам и говорил. Но он был гораздо терпимее, чем другие. Он не нападал на тех, с кем был не согласен. А на Федотова профессора, когда он приезжал в Гарвард, всегда нападали. В 50-е годы я многое не понимал, но замечал, что, как только Федотов читает доклад, на него сразу накидываются. Допустим, если он говорит о религиозности князя Владимира, ему сразу отвечают, что это легенда или что это не проверено. Вы понимаете, что это значит?

— Есть только один источник, летописи.

— Вот именно. С тех пор я прочитал ведущих ученых Советского Союза, и они тоже ссылаются на летописи. Каждый историк должен ссылаться на источники, а говорить в лицо лектору, что источник врет, это знаете ли...

— Но кроме летописей ничего же нет.

— Правильно, пускай бы нашли другой источник, где говорилось бы, что князь Владимир и после крещения продолжал совершать разные жестокости и, простите, безобразничать, тогда другое дело. Но источников нет, а они все равно буквально набрасывались на Федотова... Кстати, знаете, когда я первый раз был в Советском Союзе, мне посчастливилось быть на съезде Общества охраны памятников, и мне сразу сказали: вам надо познакомиться

с Лихачевым. И когда мы с ним говорили, я сразу вспомнил Набокова и Федотова... Такое, знаете ли, сходство по духу, универсализму, широте взглядов, отсутствию педантичности и ученой помпезности. И с тех пор я поклонник Лихачева. Я считаю, что, после того как скончались корифеи русской культуры — Бердяев, Федотов, Вейдле — это наш лучший искусствовед и историк искусства XX века — традиция поддерживается советскими учеными. Лихачев, Аверинцев, покойный академик Алексеев, профессор Мануйлов — когда я разговаривал с ними в России, мне было так приятно, эти люди напоминали мне мое детство, окружение моего отца. С ними можно говорить без этой американской «компетишн». Знаете, как это принято: «Сейчас я вам покажу, что я знаю больше, чем вы.

154 Или вы мне докажете, что знаете больше, чем я. Ах, у вас десять фактов по этому сюжету, а у меня двенадцать, я победил». Вот какой идет профессиональный разговор у нас в Америке. И мне было приятно отдохнуть от этого, отдохнуть от привычного соревнования, которому я не поклонник. Я работал несколько лет в Италии, занимался экологией, и был рад встретить единомышленников, особенно такого крупного человека, как Лихачев с его экологией культуры, которая вбирает в себя и человеческие памятники, и природу, и пейзажи. Я много думал о том, что в каком-то смысле человечество должно стремиться выйти в сад, что все страны должны спасать себя, озеленять, пока не поздно. И тут Лихачев пишет свою прекрасную работу «Поэтика садов». Это очень своевременно! Гибнут памятники в самых прекрасных городах мира — в Риме, Париже. Ленинград, с ним что происходит? Кризис архитектурной культуры носит мировой характер. А Нью-Йорк? Это Маяковскому небоскребы казались верхом красоты. Мне так никогда не казалось, хотя сейчас я смотрю на небоскребы 30-х годов, и они мне симпатичны: там есть следы артистичности и какой-то формы, они смутно напоминают европейские соборы и ратуши.

— На них приятно смотреть.

— На них — да. На «Эмпайер-стейт билдинг», на «Крайслер билдинг». Но нынешние коробки? Это торжество бездонной глупости. И они ущемляют человека, раздражают его. В Москве и Ленинграде мне рассказывали о тех же самых процессах, о наступлении коробок, о том, что с ними борются, и так же безуспешно, как у нас. Хотя здесь есть общество в Нью-Йорке, есть в Пенсильвании,

в Орегоне. У вас борются сейчас за сохранение памятников очень энергично.

— У нас многие ученые стали энергичными деятелями. Вы знаете, что и Лихачев, и Аверинцев народные депутаты?

— Слышал и приветствую. Они проводят свои идеи в жизнь. У вас везде висит лозунг: «Проведем в жизнь!» Всегда раздражает, когда написано везде. Но принципиально я с этим согласен. Я тоже русский человек, и воспитывали меня русские интеллигенты. И меня учили, что это недостаточно — сидеть в своих ученых камерах и писать свои труды. В какой-то момент их нужно «проводить в жизнь». В Советском Союзе мы много говорили о памятниках, об их сохранении в России. И в 1979 году мы решили основать «Американское общество по охране русских памятников и культуры».

— А где их охранять, в Америке?

— Нет, зачем же, по всему миру, и особенно в Советском Союзе. В самой идее тогда было нечто неслыханное. Эмигранты хотят помогать восстанавливать памятники в России, жертвовать деньги. Но тут начался Афганистан. Как говорить о помощи России? Невозможно. Мы ограничивались чтением лекций, много помогали русской школе на 93-й улице.

— При соборе?

— В городе она числится как частная школа. Я не знаю, может быть, это сейчас единственная русская школа за рубежом. Ни в Париже, ни в Лондоне такой нет.

— Там учатся только русские дети?

— И американцы отдают туда своих детей, если хотят их выучить русскому языку. Мы читали там лекции, вручали выпускникам наши призы, помогали устраивать их в университеты. Это трудно, попасть в хороший университет, нужны рекомендации.

— А теперь, в связи с перестройкой, изменился характер работы вашего общества?

— Конечно, мы решили заняться конкретными проектами. Мы хотим помогать материально.

— В вашем обществе представители всех волн эмиграции?

— В основном первая волна. Есть люди из второй эмиграции. А третья... Пока не получается. Знаете, когда, как говорится, люди отряхивают прах со своих ног, они не очень болеют плачевным состоянием часовни блаженной Ксении, например. Юродивая XVIII века, нищая, она

гуляла по улицам, собирала деньги на церковь и отмаливала грехи своего покойного мужа, который был плохим человеком. Мы хотим дать деньги конкретно на эту реставрацию. Но знаете, тут же раздаются голоса: мы пожертвуем деньги, а куда точно они пойдут? Можем ли мы быть уверены, что на памятник культуры? Потому что уже был случай: пожертвовали деньги на восстановление пушкинского имения Захарьино, а потом узнали, что город строит рядом какие-то коробки и уродует старый парк. Согласитесь, ведь это скандал.

— И как же вы выходите из положения?

— Стараемся работать.

— Аркадий, какая у вас активная семья! — сказала я.

156 — Наша семья одна из первых включилась, мы вам говорили. Но у меня впереди есть время, и я давно занимаюсь контактами с Советским Союзом. У моих племянников Миши и Павла вообще все впереди. Самое главное сейчас — мой отец и его проект.

— Мне кажется, Ростислав Аркадьевич очень волнуется, он так возбужден! Я видела у него англо-русский словарь по гидротехнике. Учит русскую терминологию... Невозможно вообразить, что ему девяносто лет...

— Трудно вообразить, я согласен. Еще труднее уговорить отца, что ему уже девяносто и волноваться вредно.

* * *

Прошло немного времени. Ростислав Аркадьевич с сыном и внуком приезжали в Ленинград и Москву, где Небольсин-старший встречался с представителями Министерства водного хозяйства, читал лекции, обсуждал свои проекты. Впервые после более чем семидесятилетнего отсутствия он увидел и родной город, и «семейное гнездо» Кронштадт, побывал и в Александро-Невской лавре, где разыскал усыпальницу рода Небольсиных. Впечатлений у него была масса. О них он рассказывал нам, сияя фарфорово-голубыми глазами, помолодевший, веселый, энергичный. И еще меньше, чем в Нью-Йорке, верилось, что этому человеку девяносто лет. А он все приговаривал, очень прямо сидя в кресле: «Да если я нужен, я, мои знания, мои проекты, да я могу хоть каждый месяц прилетать, и на Волгу-матушку поеду, давно пора ее очистить, страдалицу».

...И пошли в Нью-Йорк письма, проекты, предложения. Пишет полстраны. И началась у Ростислава Аркадьевича новая жизнь.



RYDER

САША ЛЮТКОВ
ИЗ САН-ФРАНСИСКО



Который день разыскиваю в Сан-Франциско одного человека, о котором мне рассказали в Нью-Йорке. Звоню и звоню по разным телефонам и все попадаю не туда — то на бывшую жену, то в шумящий множеством голосов ресторан. И чем меньше остается надежды, тем мне становится грустнее: кончается моя командировка, а когда я снова попаду в Сан-Франциско? Кто знает...

К вечеру я замотался, в отель опоздал. Сажусь в номере, нервничаю. Телефонный звонок, снимаю трубку.

— Гена? Это Саша, — раздался русский голос. — Мы здесь, ждем тебя на тридцатом этаже вашего отеля в баре «Шерлок Холмс».

— Иду, — ответил я русскому голосу, казалось, знакомому мне с детства: говор чисто московский, причем особенный. Так разговаривают коренные москвичи, воспитанные старой, давно исчезнувшей московской улицей. 159

Было около семи вечера. За столиками, что шли вдоль стеклянной стены бара, сидело уже порядочно посетителей. Заманчивое место: отсюда, с застекленного колпака, открывается вид на весь город, башни нескольких небоскребов, светлые домики и дальше — голубизна залива.

Где же он, Лютиков? Как узнать по голосу?

Из-за стола, прямо перед выходом из лифта, поднимается невысокий коренастый человек в коричневой кожаной куртке. Знакомимся.

— А это моя подруга Кэрролл, — говорит Лютиков. Улыбчивая жизнерадостная женщина протягивает мне руку.

...Разговор между незнакомыми людьми начинается обычно трудно. А тут все пошло как-то быстро и легко. Очень уж знакомым кажется мне Лютиков, будто мы встречались с ним когда-то или вместе росли. Это открытое, не по возрасту молодое лицо, а ведь он 1924 года рождения, эта потертая курточка, обтягивающая крепкие плечи, эта лихая скромность в разговоре — все это так знакомо мне, выросшему в одном из самых демократических районов Москвы.

Лютиков и впрямь оказался пареньком с московской окраины, из района, который здесь, в Америке, назвали

*Художник Саша Лютиков
в своей студии.*

бы «таф нейборхуд» — жесткий район, где надо уметь постоять за себя.

— Вы откуда? Тоже из Москвы? — Лютиков просиял.

— Из Марьиной Рощи? А я из села Всесвятское, знаете, там, где трамвай номер шесть делает круг. Тогда нам друг друга легко понять. Конечно, Всесвятское не Марьиная Роща, но все же... У нас тоже царили суровые нравы, и кулачные бои, и поножовщина... А как вы жили?

— Тесно,— говорю я.

— Ну а мы с мамой обитали в комнатухе, которая была устроена вместо несостоявшегося лифта. Можно сказать, жили в лифте.

Он продолжает рассказывать о своем детстве, а я думаю: до чего же все похоже, предвоенное наше детство совпадает даже в мелких деталях.

Жил в Москве перед войной мальчик Саша Лютиков. Подрос, закончил школу, стал работать на фабрике «ИЗО», где изготовляли скульптуры и прочий культурно-просветительский инвентарь. Мечтал стать художником, после работы занимался спортом — футбол, городки, лапта.

— Особенно я увлекался борьбой самбо. Учился у замечательного тренера Анатолия Аркадьевича Харлампиева. В 1941 году занял в соревнованиях третье место среди юношей. Первое взять никак не мог — Чужаков был очень сильный парень, а вот то, что Андрееву проиграл, до сих пор обидно. Его я мог победить. Боролись мы в зале Дворца спорта «Крылья Советов». Знаете, где это?

— Да как же не знать! Я ж там работаю рядом! Каждый день проезжаю мимо.

— А во дворце что?

— Все то же самое, спортсмены тренируются...

— Мы до войны тренировались помногу, да и Харлампиев любил с нами возиться...

Лютиков рассказывает, а у Кэролл в глазах восторг: самбист, чемпион, вот они какие, русские мужчины! А русские мужчины действительно неплохие. И в подтверждение этому Саша нежно целует ей ручку.

...Жил-был в Москве юноша Саша Лютиков, работал, ездил на тренировки на «Крылья Советов», пил квас, который наливали в большие кружки из деревянной бочки, ходил на Сельскохозяйственную выставку. Началась война. И в семнадцать лет пошел Лютиков в военкомат записываться добровольцем на фронт. Сначала его не взяли — молод. Когда немцы подходили к Москве, семнадцатилет-

ний Саша Лютиков добился своего — оказался в действующей армии.

— В сорок втором нас перебросили на Кавказ, — рассказывает Лютиков. — Шли тяжелые бои, боеприпасов не хватало, одна винтовка на троих...

В конце того же года он попал в плен. Эшелоны, забитые голодными, умирающими советскими военнопленными, привезли его в Германию, в Лотарингию, где вместе с другими выжившими его бросили работать в шахты.

— Знаете, сколько я там проработал? Пятнадцать месяцев. Это огромный срок. До сих пор не понимаю, как выжил. Чем кормили? Только баландой из брюквы. Лагерь были на вымирание. Многие наши ребята пытались бежать. Сделать это было просто — исчезнуть во время конвоирования на шахту. Нас и не охраняли особенно, считалось, что все равно далеко не убежим. Языка немецкого мы не знали, бритоголовые, одежда... сами понимаете. Считалось, местные немцы выдадут. Они и выдавали, беглецов возвращали в лагерь, били смертным боем. А я все-таки бежал. Как мне повезло, сам не понимаю. Днем прятался, ночами шел в сторону Франции. От Лотарингии французская граница не так уж и далеко. В конце концов попал к французам в маки... 161

Лютиков рассказывает кратко, без деталей, очень обычным тоном. А Кэрролл сияет и время от времени поглядывает на меня. Во взгляде ее и радость, и волнение: впервые за долгие годы Саша рассказывает о своей судьбе не просто соотечественнику — советскому человеку.

А за стеклянной стеной высотного бара «Шерлок Холмс» панорама вечернего, залитого предзакатным солнцем Сан-Франциско... Господи, думаю я, куда только не заносит судьба русских людей! И всюду они остаются самими собой — чаще всего скромными, нехвастливыми, застенчивыми.

Пора ужинать. Кэрролл пригласила к себе. Но мне непременно хотелось побывать у Лютикова в студии. Ведь он художник. Чтобы все успеть — разделились. Высадили Кэрролл у ее дома, пусть готовит ужин. Сами поехали дальше к Саше, на его старой-престарой машине, не то бывшем «форде», не то «крайслере», с облезлой, поднимающейся лоскутами виниловой крыши. Едем по Гери-стрит. Лютиков показывает огромный щит на фасаде одного из домов: изображение аккуратно подрумяненного батона типа халы.

— Это рисовал я.

Саша работает в компании, которая занимается изготовлением красочных щитов: «Курите сигареты Мальборо!», «Пейте только пиво «Будвайзер», «Водка «Смирнофф» — лучшая в мире». Студия его оказалась на окраине в старом двухэтажном доме. Поднялись наверх.

— Мне повезло,— сказал Саша.— Подвернулось же такое чудо. Плачу за комнату всего триста долларов.

Студия — небольшая комната с низким потолком и не очень светлым окном. Лютиков ходит за картинами куда-то в соседнюю комнатушку, приносит, выставляет, ждет, что я скажу. Присаживается на стуле, не торопясь с объяснениями.

162 Ночной пейзаж, залитый лунным светом, острый кипарис, домик, горы в отдалении, ясно-ясно светящаяся синева на горизонте неба. Еще одно полотно, поменьше. Большеглазая девочка с волосами желтыми, как подсолнух. Очень похожа на мою дочь Аленку.

Не берусь судить решительно, хороший ли художник Саша Лютиков, но, как объяснили мне уже в Нью-Йорке, этот стиль называется «ретро» и спросом на художественном рынке сейчас не пользуется. Что ж, можно и подождать, мода здесь переменчива.

— Вот скоро закончу работу в рекламной компании,— говорит Лютиков,— стану получать свои восемьсот долларов. До пенсии мне совсем немного. Маленькая пенсия, зато по-настоящему займусь живописью.

Из студии мы поехали ужинать к Кэролл. По дороге все так же немногословно он рассказал мне о своих семейных делах. У него две дочери. Младшая удачливая, начинающий продюсер в Голливуде:

— Знаешь, она мне часто говорит: «Папа, настанет день, и я сделаю фильм о тебе, о твоей жизни». Ну а старшая... Со старшей беда. Пропала без вести. Сейчас ей тридцать, если жива. А исчезла, было двадцать пять. Наркотики, компании, жизнь у нее не сложилась. Вот так, среди бела дня, каждый год в Америке пропадает около пятидесяти тысяч молодых людей...

Сейчас Саша в процессе развода со своей женой. Говорит о ней коротко:

— Тяжелый человек, невыносимая была всю жизнь, как Гитлер.— Потом добавляет: — Жалко ее.

А вот с Кэролл они вскоре собираются пожениться.

У Кэролл в доме за обедом или, говоря по-нашему, за ужином Саша Лютиков и закончил свою историю — эпопею военных и послевоенных лет.

...Бежал он из плена, добрался до Дижона, отшагав почти пятьсот километров. Французские власти посадили его за бродяжничество в тюрьму. Дали ему пятнадцать суток. Страна была оккупирована немцами, но отношения между администрациями были непростыми. Во всяком случае, немцам французы его не выдали. В тюрьме Лютиков познакомился с местными жителями.

— Говорить по-французски я не умел, но удалось достать бумагу, карандаши, я рисовал портреты и пейзажи, ко мне хорошо относились, — рассказывает Саша. — Вышел я из тюрьмы с одним французом, он оказался подпольным деятелем маки. Он стал потом большим партизанским лидером. Звали его командант Сэттер. С ним я и ушел в партизанский отряд. Партизанская война во Франции была совсем не такая, как у нас. Жили мы в 163 лесу, нападали из засад на немецкие отряды, минировали железнодорожные линии. Но иногда могли сесть на машину и съездить посидеть в кафе в соседнем городке, пообедать, выпить кофе. Забавно, не правда ли? А ведь это была игра со смертью.

Я слушаю Лютикова и думаю: как странно. Казалось бы, я много читал о годах войны во Франции, знаю имена героев антифашистов, с некоторыми оставшимися в живых даже знаком, помню их рассказы о том, как много советских военнопленных активно сражались в партизанских отрядах. Об этих людях написаны очерки, книги. Правда, рассказы в большинстве своем стыдливо обрываются на описании воинских подвигов и боевых французских наград.

Что случилось после войны с так называемыми «возвращенцами» из числа бывших белоэмигрантов? Как складывались на Родине судьбы бывших советских военнопленных, участников французского Сопротивления? Об этом, за редким исключением, мы почти ничего не знаем. Об этом начинают писать только сейчас.

А Лютиков продолжает свой рассказ:

— Война была для нас, бывших советских военнопленных, очень, ну как бы лучше сказать, очень пестрой, что ли. Конечно, на войне все просто — жизнь и смерть. Но для нас, советских людей, еще с неожиданными осложнениями. Дело в том, что вместе с фашистами на их стороне сражались и «русские» отряды. Вербовали их очень просто: «В лагере ты умрешь с голоду, а тут есть шанс выжить». Эти люди, так же как и власовцы, в последние два года войны вели себя совершенно непредсказуемо.

Третий рейх был обречен, многие предатели заметались, начали искать выход.

В августе 1944 года наша связная, монашка, принесла в отряд весть: несколько «русских» солдат хотят перейти на сторону партизан. Они передали, что охраняют железную дорогу на подступах к тоннелю. Предложение показалось нам удачным: у нас давно уже было намечено взорвать этот тоннель и нарушить движение нацистских эшелонов.

164 На следующий день мы встретились с «русскими». Их двое, нас четверо. Трое среди нас — французы, четвертый — я. Начинаем договариваться: ночью атака на железнодорожную станцию. Перебежчики дают сигнал, мы нападаем на немцев, взрываем пути, заваливаем тоннель. Посланцы говорят по-русски, монашка переводит. Товарищи мои ждут, когда переведут, а я все понимаю. Видно, чем-то я себя выдал: один из предателей насторожился. Побледнел, решил, попал в руки красного комиссара. Тогда я ему и выкладываю: «Да, я русский, только, как и положено русскому человеку, воюю против нацистов».

Отпустили мы парламентариев, а назавтра под вечер решили провести разведку. Приехали на машине на железнодорожную станцию, смешались с толпой, кто в пиджаке, кто в свитере, на головах береты. А потом шасть в станционный буфет — думаем, хоть перекусим немного, изголодались в лесу. Входим, садимся. Вдруг вижу: в дальнем углу сидит тот самый мордастый дядька, отъелся у немцев. Глаза у него как шары на лоб выкатились, покраснел, будто его вот-вот хватит апоплексический удар. Вижу, встает он и бочком, бочком к двери. Что задумал: предал один раз — снова предаст. Говорю своим: «Срочно сматываемся».

А командовал нашим отрядом капитан Маргаш — это известный герой Сопротивления. У остальных были клички. Одного звали Авиатер, другого Левандер, а меня просто Саша.

Выскочили на улицу, быстро в машину и дуть обратно. Едем, все в порядке. И как назло — прокол шины. И снова накладка, запасной шины у нас нет, в багажнике ехал один из наших ребят. Что делать? Застряли на шоссе. Неподалеку деревенька. В любую минуту на дороге могут появиться немцы. Послали одного из наших с шиной в деревню. Сидим, курим, ждем. Вдруг вдалеке появляется немецкий грузовик с солдатами. Тут у нас нервы и сдали,

автоматы в руки и в канаву. Залегли. Немцы, видно, что-то заподозрили. Грузовик остановился и повернул обратно. Ну, думаем, может, и пронесло. И парень наш как раз вернулся из деревни с залатанной шиной. Ставим колесо, вот-вот поедем. Тут с обеих сторон шоссе немецкие автомашины. Значит, решили брать нас с двух сторон, чтоб надежнее было. Я за пулемет, нажимаю на курок, выстрелов нет: заклинило...

Тут меня и схватил немец, огромный детина. Зажал мою голову под мышкой и давит. Я ведь самбист, знаю — не выкрутишься. Притворился, что потерял сознание, обвис у него в руках, чувствую, как немец разжимает свои клешни. Дал ему подножку, вывернулся, побежал. Автоматная очередь почти в упор. И все. Потом уже узнал, семь пуль в меня попало.

165

В эту минуту и кончилась моя война. Потом мне уже рассказывали, немцы бросили меня на дороге, уверены были, что убит наповал. Местные жители подобрали, отнесли в замок. Принадлежал он одной французской графине. В этом замке меня и вернули с того света. Первый раз, когда очнулся, решил, я умер и уже в раю: лежу на чистых простынях, подают шампанское. Долго потом меня кормили с ложечки, двигаться не мог. Потом встал, начал учиться ходить. Война кончилась, я еще передвигаться самостоятельно не могу. Прошло три года, прежде чем я пришел в себя...

Всю эту историю Лютиков рассказывает очень спокойно, а Кэрролл все больше волнуется:

— Ну почему ты молчишь? Тебя же потом наградили! — упрекает она. — Высокая французская награда.

— Да, медаль «Военный крест со звездой». Сам генерал Чеониг мне вручал, руку жал.

— А за что дается эта медаль?

— За героизм, вроде нашего ордена Красного Знамени.

Почему он не вернулся домой, этот парнишка с московской окраины? Почему скитания по белу свету не привели его в конце концов туда, где, казалось бы, он и должен был найти естественное пристанище?

Почему не вернулся? Глядя в его лицо, я не задал этого вопроса. Поверхностный ответ был ясен: к тому времени, когда он встал на ноги инвалидом, было хорошо известно, что бывших военнопленных на Родине встречали отнюдь не цветами. Для тех, кто сражался в европейском Сопротивлении, особых исключений не делалось. Всех или

подавляющее большинство из них ждали лагеря, длительные сроки заключения.

Какой это трагический, тяжелый разговор — судьба советских военнопленных. Разговор этот едва начинается. Сравнительно недавно стали известны цифры — из 5,7 миллиона человек, попавших в плен, погибло около 3,5 миллиона. Народное бедствие, огромный, страшный пласт нашей истории, не скупившейся на страдания для людей. Трагедия, сама по себе вызывающая к ответу: почему это случилось, почему в окружении оказались целые армии, почему за каких-то три-четыре месяца захватчики дошли до пригородов Москвы, почему потом за возвращение родной земли, километр за километром, пришлось расплачиваться жизнями еще миллионов людей? Но трагедия эта усугублялась тем, как страна отнеслась к своим сыновьям, на которых обрушились тяжкие муки фашистского плена.

Подписанный Сталиным документ номер 270 от 16 августа 1941 года наконец-то опубликован. Но смысл его давно известен. Этим приказом плен приравнялся к измене Родине. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Тысячи могил, а то и неприметных бугорков разбросаны по всей Западной Европе — там покоится прах советских людей, не по доброй воле оказавшихся на чужбине. Есть среди них особые могилы, те, над которыми воздвигнуты памятники, к которым наши туристы возлагают венки. Это могилы героев Сопротивления, советских военнопленных, сражавшихся в отрядах местных партизан, признанных Родиной, удостоенных ею высоких наград. Я смотрю на сидящего передо мной немолодого человека и думаю: а чем он, Саша Лютиков, хуже их? Только тем, что в тот августовский день 1944 года, простреленный очередью из фашистского автомата, он, вопреки всему, не умер, выжил?

Обед продолжается. Что-то мы жуем, глотаем, чем-то еду запиваем. Молчит Лютиков. Молчу и я. А Кэрролл счастливо улыбается, не замечая нависшего над столом тяжелого молчания. Такой замечательный герой, настоящий мужчина, борец с фашизмом! О таком человеке можно только кино посмотреть, выдуманное. А вот он, Саша, настоящий герой, сидит за ее столом.

А Лютиков все молчит.

Почему он не вернулся?

Сложен человек, из многого состоит. О чем думал из-

раненный парень, когда решил не возвращаться? Испугался? Может быть. Был обижен, что о нем забыли? Вполне вероятно. Вера в правоту того, что делалось от имени народа в конце 30-х годов, ощущение сопричастности к своей стране, высокий патриотизм — вот с чем уходили на фронт поколения молодых людей. Может, и сидела в нем детская обида потерявшегося в страшных бурях войны московского мальчишки. Самбист, никогда ничего и никого не боялся, мечтал стать художником, рисовать подмосковные рощи... И вот в двадцать с лишним лет неизвестно, как жить и что делать... Может, решил поправить здоровье, переждать до лучших времен. Можно выдвинуть десятки версий, почему Лютиков поступил именно так, и все равно не угадать: жизнь сложнее наших схем и головных построений.

167

...Председатель Московской федерации самбо Владимир Алексеевич Жигалов, историк этого вида спорта и сам бывший борец, откликнулся живо и с интересом.

— Лютиков? Вроде встречалась мне такая фамилия. А может, путаю. Какие он вам имена называл? Так и сказал: Харлампиев и Андреев? И Чужакова помнит? Надо же! — восхитился Жигалов. — Значит, наш самбист, если помнит. Значит, человек нормальный.

— В каком отношении?

— Ну... сами понимаете, в каком. Предатель с советским человеком встречаться не станет, верно? Да еще имена называть. Одного не пойму, — напористо продолжал Владимир Алексеевич, — почему он к нам не приезжает?

— Не знаю, но вообще-то он небогатый человек, можно даже сказать — бедный.

— Бедный, говорите? Ладно, что-нибудь сообразим.

...И снова я ни о чем не спросил. Тогда казалось неловко, а сейчас жалею. И снова остается гадать, почему не приезжал столько лет. Видно, что-то он в себе сломал, переборол за эти годы. Или все силы уходили на борьбу за выживание? Как спросишь?

— Вот скоро уйду на пенсию, — словно отвечая на мои незаданные вопросы, сказал Лютиков, — займусь целиком живописью, первый раз в жизни. Приедешь, увидишь разницу.

...Он отвез меня в гостиницу. Остановил свой облезлый кабриолет у нарядного освещенного подъезда. Вышел. Мы попрощались. Потом вдруг рванулись друг к другу, обнялись.

На душе было тяжело.

Прошло несколько лет, мы снова встретились с Лютиковым. За это время в жизни Саши случилось много перемен. Нашлась его пропавшая, «захипповавшая» дочка, учится в колледже, примерно навещает отца по воскресеньям.

А отец женился, да, читатель, на Кэролл. А Кэролл — это уже иной социальный слой. И родители Кэролл, и дедушки, и прадедушки — процветавшие жители Сан-Франциско. И живет теперь Саша недалеко от залива, в самом престижном районе города, в старом, красивом доме, обшитом изнутри дубовыми панелями. Саша ушел на пенсию и занят теперь только живописью, и все стены большого трехэтажного дома увешаны его новыми картинами. Работает он все интересней и интересней, часто и резко меняя стиль письма.

Иногда Саша с Кэролл путешествуют, ездят в Европу, непременно встречаясь во Франции с той самой графиней, что когда-то, почти полвека назад, спасла ему жизнь.

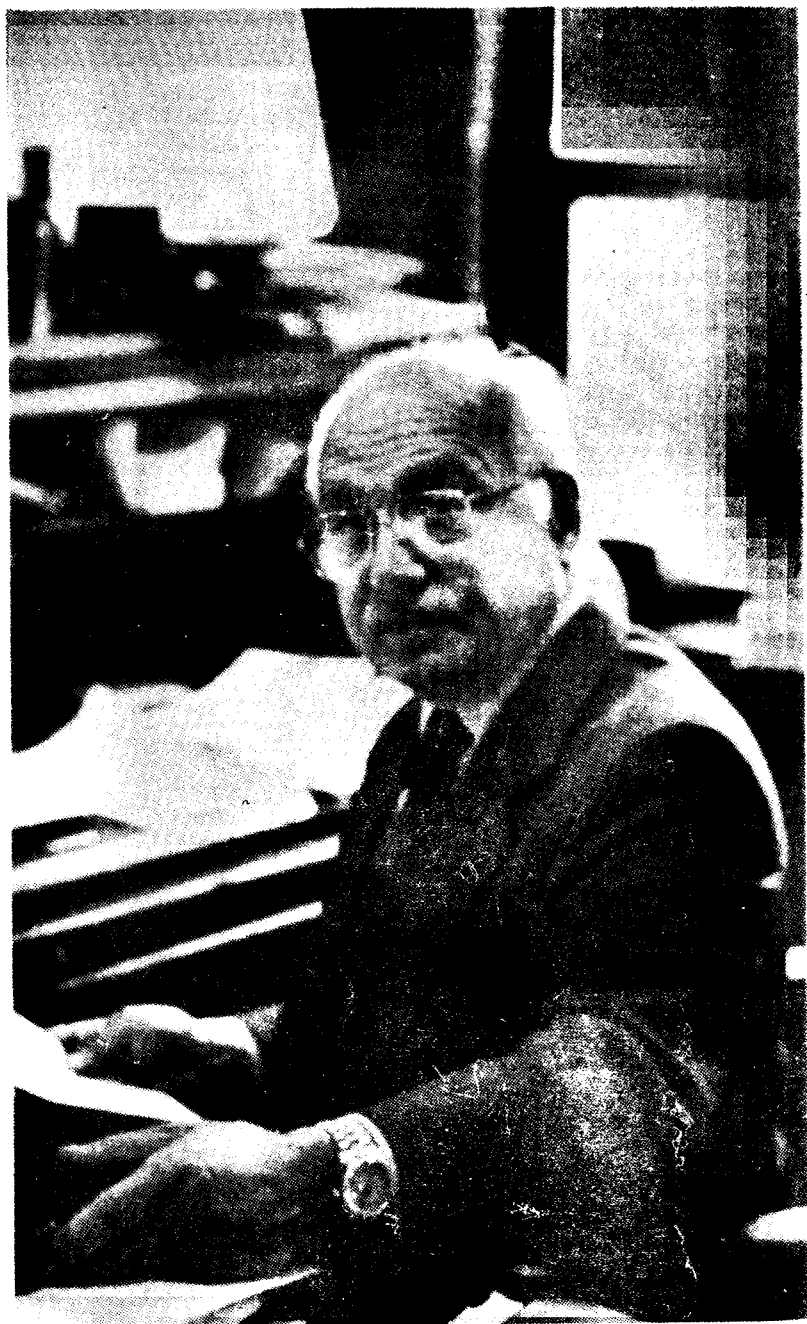
— Саша, ну, а к нам в Москву когда же? — спрашиваю я.

— Да-да,— подхватывает радостно Кэролл,— в Москву, в Москву!

А Саша молчит, будто и не слышит. Нет у него никого в Москве, умерли все давно. Нету.

**КАК,
ВЫ НЕ ЗНАКОМЫ
СТАРРИ?**





— Прилетели наконец-то, родненькие мои! — говорит хозяин кабинета и размеренно-быстро выходит из-за стола, раскрывает объятия. — Как я рад!

Мы в гостях у вице-президента Торговой палаты Сан-Франциско Гарри Орбеяна. Кругом — на столе, на стенах — фотографии, грамоты, документы: Гарри с советской делегацией, а вот Орбеян среди китайцев. Вот еще и еще группы людей.

Торговая палата — могучая организация, призванная охранять коммерческие интересы города в своей стране и за рубежом. Она привлекает в город денежные капиталы из других штатов и стран, старается, чтобы крупные мировые фирмы открывали здесь свои филиалы.

171

Хозяин кабинета занят международными связями. Орбеян ездит по миру, принимает делегации. Сан-Франциско — старый торговый порт, традиционно связанный со многими восточными странами.

— С кем ваш город особенно активно торгует, Гарри?

— Япония, Тайвань, Гонконг, Филиппины. С Китаем налаживается торговля. С Советским Союзом? Пока мало. Трудно торговать с Советским Союзом, все упирается в качество! На икре, на водке да на матрешках много не заработаешь. Обидно все-таки делается, японцы проиграли войну, тайваньцы вообще, что говорить, но ведь душат американцев на мировом рынке, буквально душат. Качеством. И все равно каждый год раза по три приезжают в Сан-Франциско от них делегации. Зачем? «Вы говорите, мы продаем больше, чем у вас покупаем? Вот, привезли деньги, хотим у вас кое-что купить». И покупают. Я кручусь, помогаю. Разве не обидно?

А с другой стороны, Галечка золотая моя, ты же видишь, что в Америке творится с точки зрения нашей гласности. Колоссальные перспективы! Все только и оглядываются на Советский Союз. Раньше доклады советских руководителей только просматривали, а теперь изучают досконально, время не жалеют, звонят: правильно ли я там понял, Гарри? Правильно, говорю, все верно.

Я у них вроде экономического эксперта. Хилтон из Гонконга звонил, давай помогай, Гарри, в нашем вопросе,

*Гарри Орбеян —
могучее «бюро» дружбы
и помощи всем гостям из нашей страны.*

заинтересован в русских. Я сразу сказал: с удовольствием, поедем, посмотрим, построим. Вам, говорю, двери приоткрывают впервые за столько лет, вы это поняли? Соглашайтесь на советские условия. Ну вот, согласились взаимно, строить собираемся. Это я к чему? К тому, что в каждом слове, каждой реплике Горбачева есть что-то новое для улучшения жизни советского народа и экономического обмена между Востоком и Западом.

Я вам, Галечка золотая и Геночка дорогой, так скажу: американский торговый мир очень взволнован. Здесь меня все время просят: устрой торгово-дружественную делегацию в Советский Союз. Каждый раз говорю: «Больше тридцати человек брать не могу», а они: «Давай, ладно».

— А куда они предпочитают ездить? В Москву?

172 — Зачем? Всюду хотят побывать: доверие появилось, понимаете? Главное, чтобы рождалось все большее доверие.

— Ваша Торговая палата стала членом АСТЕСа (Американо-советского торгового совета)?

— Да, вступили... я когда был в Кремле на приеме с нашим мэром Дайяной Файнстайн...

— Гарри, расскажи подробнее! Правда, что ты с Михаилом Сергеевичем разговаривал? Слух такой прошел...

— Что значит — правда? Руку жал мне он! Сейчас расскажу. Значит, дело было так. Когда мы были с мэром в Москве на приеме в Кремле по сессии АСТЕСа, я подошел к начальнику протокола и говорю: так, мол, и так, хочу познакомить моего мэра с Михаилом Сергеевичем. Он отвечает: «Не по протоколу, надо согласовать». А я смотрю, официальная часть закончена, разговаривает Горбачев с Хаммером. Ну, думаю, Гарри, надо брать дело в свои руки. Дайяна, говорю, пошли знакомиться с Михаилом Сергеевичем. А она мне: «А он нас ждет?» Не задавай, говорю, глупые вопросы, пошли. Подошли, он повернулся, видит, интересная дама перед ним стоит. Я говорю: «Хотел бы вас познакомить с мэром города Сан-Франциско».

Ну сели мы, начали рассказывать, какой такой город. Михаил Сергеевич спросил насчет Форт-Росса, слышал о нем, спросил о русской культуре, какая эмиграция, сколько русских в Сан-Франциско. Когда она ему сказала, что больше шестидесяти тысяч русских, он просто удивился, особенно когда она добавила, что есть места, где по-английски вообще не говорят, только русская речь.

— Ваш мэр — русская, говорят?

— Предки ее из Петербурга, и сама она была православная, пока замуж не вышла... Поговорили мы, распрощались, отошли. А потом наши советские ребята говорят: «Гаррик, это было колоссально, это хорошо, что вы подошли». И Дайяна была очень, очень довольна. Лестно ей было, понимаете, потому что Горбачева в Америке очень и очень уважают.

2

И вот мы снова в Сан-Франциско. У Орбеяна в гостях. На стене в гостиной на видном месте висит портрет человека в гимнастерке. Молодой, красивый, темноволосый. Но откуда красноармейская гимнастерка в этом благополучном американском доме?

— Это мой отец, — говорит Гарри, — один из активных деятелей первых лет Советской власти в Закавказье, Агапарон Орбеян.

Человек на портрете полон сил, и на лице у него то самое выражение, которое свойственно людям 20-х годов, — убежденность и вера. Агапарон Султанович Орбеян смотрит на нас со стены: все хорошо, все впереди.

...Он закончил Донской политехнический институт в Новочеркасске, в годы первой мировой войны служил в царской армии, воевал в Красной Армии, вступил в Коммунистическую партию. К 1936 году был председателем Выездной коллегии Верховного суда Азербайджанской республики.

Все верно. Борец с басмачами смотрит на нас со стены, и предприимчивый, живой, дружелюбный Гарри, удачливый американский бизнесмен, его сын, с гордостью рассказывает историю жизни своего знаменитого отца. Да, Гарри Орбеян, друг многих советских дипломатов и журналистов, работающих в США, неизменный и преданный их помощник, Гарри — это маленькое безотказное бюро дружбы, постоянный гость и в советском посольстве в Вашингтоне, и в консульстве в Сан-Франциско, и на заседаниях АСТЕСа в Москве, Гарри, которого, кажется, знают все советские люди, побывавшие хоть раз в Сан-Франциско, и который сам знает всех и ко всем относится с открытой душой, хотя люди встречаются разные, в том числе и неблагодарные, пугливые, с удовольствием пользовавшиеся его поистине восточным гостеприимством в Америке и уклоняющиеся на всякий случай от встреч

с ним в Советском Союзе, не обижающийся ни на кого Гарри, для которого, если его послушать, каждый советский человек — значит прекрасный человек, вице-президент Торговой палаты Сан-Франциско, сын этого навеки оставшегося в памяти близких молодым человека в зеленой гимнастерке.

174 Приехал после революции в Ереван этот молодой человек, встретил гимназистку, благовоспитанную девочку из буржуазной семьи Соню Атарбекову, они поженились, не спрашивая разрешения у Сониных родичей (Соня была сиротой), увез он свою Соню в родное село, родила она ему там сына Гаррика. Двухмесячным Гаррика привезли в Баку. Родители работали. Отец — в Верховном суде, мать — в Азнефти, начальником секретариата разведки ресурсов. Оба члены партии. Родился еще один мальчик, Котик, Константин Орбелян, ныне композитор, народный артист СССР. Соня, работая в Азнефти, по вечерам училась в консерватории по классу скрипки. Младший сын оказался в мать, поступил в группу одаренных детей при консерватории. Мать успела дать сыну направление всей его будущей жизни. Учили дети дома немецкий язык. Мать как в воду глядела: знание немецкого в дальнейших событиях жизни старшего сына сыграло немаловажную роль.

Шли годы. Давно миновал 1925 год, когда при таинственных обстоятельствах погиб знаменитый брат Сони { Георгий Атарбеков, старый член партии, сподвижник Кирова, друг Дзержинского. Сейчас его именем названы колхозы, совхозы, улицы. В 1925 году Мясников, тогда первый секретарь Закавказского крайкома РКП(б), Могилевский и Атарбеков должны были лететь из Тбилиси на встречу со Сталиным в Сухуми. По семейной легенде Атарбеков спросил у летчика: «А где наши парашюты?» На что тот ответил: «Да зачем? Нам лететь недалеко, а пока станем искать парашюты, опоздаем на встречу с товарищем Сталиным». И вот самолет поднялся в Тбилиси и через какое-то время стремительно пошел вниз. Летчик открывает кабину, хочет выпрыгнуть. Тут Атарбеков вытащил маузер — и летчика наповал, а сам без парашюта выпрыгнул из самолета, разбился насмерть, Мясников и Могилевский сгорели в машине.

...Так рассказывает эту историю Гарри, всякий раз волнуясь и горячась. Он был совсем маленьким мальчиком, когда это случилось, но помнит разговоры взрослых, помнит осторожный шепот.

Проверяема ли эта история в тех деталях, о которых упоминает Гарри?.. Но тут на память приходит «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка, гибель командарма от ненужной операции, его полное понимание, что идет на смерть. Тогдашние читатели этой маленькой, вызывающе смелой повести догадывались, что речь идет о судьбе Михаила Фрунзе. И ведь тоже 1925 год. Всего двадцать пятый год!

Этот год миновал, стерся, оставшись тревожным предупреждением. Семья Орбеляна жила и работала в Баку.

И вот год 1936-й, ночной звонок, арест. Орбелян говорит то, что потом, очень скоро, в пору массовых репрессий, говорили все: «Это ошибка».

Но, по словам Гарри, добавляет: «Кругом и так полно врагов, настоящих контрреволюционеров, я с ними борюсь, 175 а теперь кто-то захотел из меня врага сделать».

Дядя Вася, как называет Гарри арестовывавшего отца чекиста из НКВД, отвечает: «Агапар, ты знаешь, мы тебя ценим, мы тебя любим, мы тебе верим. Приказ сверху. Ты арестован».

Гарри уже исполнилось шестнадцать лет. Он помнит все — и обыск, и изъятие бумаг, и уверенность отца: «Я скоро вернусь, все будет в порядке». И как дети стоят на балконе и плачут, а отец машет снизу рукой и смеется, будто все это забавная ошибка.

Задумывался ли Орбелян над тем, сколько «смешных» ошибок уже было совершено, очевидно, и им в том числе? Мучили ли его сомнения на этот счет? Об этом никогда не узнать. И молчит его вдова Соня...

Его отправили в Нагаево. Он все писал и писал о пересмотре своего дела. В 1938 году Орбеляна вызвали в Москву. С дороги он бросил из поезда письмо, добрые люди подобрали, отправили по адресу. Отец писал, вспоминает Гарри, что дело, видно, идет к реабилитации, ждите, мол, скоро буду дома. Стоял апрель 1938 года.

А десятого мая вечером раздался звонок в дверь. Все побежали радостные, думали, отец вернулся из ссылки. А это с ордером пришли на арест Сони Атарбековой. Соню отправили в знаменитый «лагерь жен» под Акмолинск. Детей выселили в подвал, мебель была конфискована. Уже можно было догадаться, что отца нет в живых. Посылка — полпуда меда с маслом, посланная Соней мужу, вернулась обратно. По страшной прозе жизни эту же посылку, этот же мед с маслом, Гарри отнес на почту и послал в лагерь матери. На этот раз посылка дошла.

Послал он ей и посылку с яблоками. В сороковом году Гарри призвали в армию, Котик продолжал учиться в школе.

Началась война. Гарри встретил ее в Белоруссии. Лагерь военнопленных под Могилевом, потом Варшава, Штеттин, Гамбург. Победа. Ожидание репатриации. Нетерпеливый Гарри насккивал на советского лейтенанта, который вел переговоры с союзниками: «Товарищ лейтенант, почему нами никто не интересуется? Нас здесь две сотни бывших военнопленных, мы домой хотим!» — «Поедете, поедете,— хмуро отвечал лейтенант.— Отдохните-ка лучше! Нечего вам торопиться!» — «То есть как это нечего? Не понимаю вас, товарищ лейтенант!» — «Не понимаешь, ладно»,— все больше мрачнел лейтенант.

176 — Через двое суток пришел ночью в лагерь один мой знакомый, тоже бывший военнопленный,— рассказывает Гарри.— Его взял к себе работать переводчиком один полковник при штабе. «Гаррик,— говорит мне мой знакомый,— мы не верили, а оказывается, все правда. Сталин военнопленных не признает. Прямо никто ничего не сказал, но все намекают, полковник мой тоже — впереди у нас снова лагеря. Так что ты смотри. Я решил переждать». Сказал он мне все это и исчез. Мучался я всю ночь, а наутро сел на велосипед, надел берет и объявил, что я испанец...

Думал, ненадолго уезжаю, опомнится Сталин. Таких, как я, сотни тысяч, из тех, конечно, кто случайно уцелел. Мы все, кто остался жив, уцелели случайно. Тому, кто в плену не был, этого не понять. Сколько людей на моих глазах умерло от голода! Нас же сознательно морили. Выжили самые молодые, здоровые или с очень сильной волей. О подлецах и изменниках я не говорю. Вот и думал я по наивности: неужели Сталин в конце концов этого не поймет? Уеду на время, потом вернусь.

Думал, на время, так многие ребята надеялись, оказалось — на всю жизнь.

3

1945 год — великий год Великой Победы...

Репатриированные военнопленные провели его в огромных лагерях. Работал комитет по репатриации. С первого июня (через двадцать дней после победы!) началась госпроверка. А с ней вместе и массовые репрессии. Эшелоны шли на Восток.

О том, как встречали бывших военнопленных лагеря, мы узнаем из недавно опубликованных «Колымских рассказов» Варлама Шаламова, строго документальных в своей основе. Это было совершенно особое пополнение. Молодежь, бежавшая из плена, сражавшаяся с оружием в руках в рядах антифашистского Сопротивления, герои войны, награжденные и нашими, и иностранными орденами...

Невозможно спокойно читать Шаламова и невозможно не вспоминать при этом трогательные рассказы зарубежных героев-антифашистов. Где только мы их не слышали: и во Франции, и в Бельгии, и на острове Джерси! Как провожали с цветами «русских героев», как обнимались и плакали, обменивались адресами в надежде, что дружба будет продолжаться, что впереди новые встречи... И как разыскивали своих военных друзей многие годы и ничего не могли понять, отказываясь верить тем сведениям, которые просачивались из Советского Союза... 177

Конечно, встречались среди репрессированных в те годы бывшие полицаи, предатели, садисты, издевавшиеся над своими согражданами, разоблаченные каратели. Но гораздо больше было честных, безвинно пострадавших людей, указаниями вождя приравненных к изменникам — со всеми вытекающими последствиями.

Последствия, как мы видим, начались немедленно после победы. В глобальном, «законном», так сказать, порядке, хотя уже с осени сорок первого было ясно, что по логике сталинских предначертаний войскам генерала Павлова, например, оказавшимся в окружении, следовало покончить жизнь самоубийством, чтобы не попасть в руки врага.

При госпроверке отчасти повезло узникам самых страшных концлагерей, выживших просто чудом, — Дахау, Маутхаузен... Если находились свидетели, которые утверждали, что человек вел себя в лагере достойно, он получал документы, по которым ему разрешалось вернуться на место своего прежнего довоенного жительства, включая Москву и Ленинград.

Но что касается учебы, работы... «Был ли в плену?» — вопрос анкеты под номером 22 заставлял отделы кадров отшатываться от бывших военнопленных, как от чумы. А ведь все это были молодые, храбрые, внутренне свободные, окрыленные надеждой люди. Как представить себе сейчас их душевное состояние в 1945 году?

А членство в партии? Многие были из партии исключены. По двум причинам: «за неуплату членских взносов в течение трех месяцев» (это в плену-то, в окру-

жении, в партизанских отрядах!) и «за длительный отрыв от работы партийной организации».

Если бывшие узники и не попадали в лагеря, то человеческое их достоинство растаптывалось, они несли на себе печать отверженности долгие послевоенные годы.

178 Сколько замечательных людей лишило себя наше общество! Какая бы это была живая, активная, самостоятельная сила в трудные послевоенные годы. Преданность Родине и патриотизм этих людей были проверены невиданными дотоле в истории человечества испытаниями. Но эти люди оказались не только не нужны. Опасны. Они видели другую жизнь, многое испытали, узнали. Отсюда и их фактическая изоляция — от лагерей до запрещения работать по профессии. Отсюда и несколько волн «посадок». Сорок пятый, сорок девятый, когда спустя четыре года снова начались аресты бывших военнопленных.

...Казалось бы, все давно позади, резко изменилась общественная атмосфера. Но некоторые законодательные акты до сих пор не до конца отменены.

* * *

Тем более неясным становится вопрос о военнопленных, когда речь заходит о тех, кто оказался после окончания войны за рубежом.

Это так называемые «перемещенные лица», среди которых много самых разных людей. Есть и бывшие власовцы, предатели, палачи, люди, угнанные насильно и ушедшие с немцами добровольно. Есть среди них люди, сделавшие в годы «холодной войны» успешные карьеры советологов, работающие при каких-то неведомых никому институтах, относящиеся к вполне определенным ведомствам. За годы перестройки эти люди незаметно ушли в тень. Не то чтобы за ненадобностью — они всегда нужны. Просто это уже вчерашний, если не сказать позавчерашний, день — по стилю общения, по махровой аргументации, по общей негибкой направленности, которая в последние годы просто не проходит.

Но таких людей, людей запятнанных, среди бывших «перемещенных лиц» меньшинство. Большинство — это люди, оказавшиеся за рубежом к моменту окончания войны. Многие из них совсем не преуспели, жизнь мотала их по разным странам мира. Они много и тяжело работали, образования не было: на фронт уходили после школы. Некоторых из них судьба после долгих скитаний

занесла в США. В 50—60-е годы заработки здесь были значительно выше, чем в Латинской Америке и Европе.

Кое-кто из бывших «перемещенных лиц» живет в нижней части Манхэттена. Русские, украинцы, белорусы. Живут в дешевых домах, получая небольшие пенсии. Мы часто сталкивались с такими людьми в славянских лавочках, где торгуют украинской колбасой, малосольными огурцами, настоящим черным хлебом. Знакомились. Усталые, изработавшиеся лица, робкие улыбки, приглашение зайти в гости («вот здесь, совсем рядом живем, если не торопитесь»). На лицах — боязнь услышать в ответ резкий отказ: столько лет их называли предателями и отщепенцами.

Разве может быть общий огульный подход к этим людям, как это происходило до самого недавнего времени? Каждый случай, каждая судьба уникальны. В каждой истории следует разбираться отдельно. Пока не поздно, пока эти люди живы. 179

* * *

В отличие от многих судьба у Гарри сложилась удачно. Она довольно быстро забросила его в Америку, в Сан-Франциско, где была старая армянская колония. Его взяли рабочим в большой ювелирный магазин, где он проработал тридцать лет и где благодаря своему трудолюбию и смекалистости и преуспел, став в конце концов совладельцем магазина.

Все эти годы Гарри ничего не знал о своей семье. После XX съезда он написал осторожное письмо на адрес тети в Баку, но не от себя, а от имени друга: как, мол, живет-поживает Гаррик? Тетя ответила, что Гаррик погиб в плену, мать находится в Ереване, а брат его Константин заслуженный артист, композитор. И начинает думать Гарри, как дать знать родным, что он жив. И вот в день рождения брата он посылает на адрес той же тети поздравительную телеграмму и подписывается своим домашним прозвищем, которым звал Гарри младший брат. Мать рыдает: «Почему к нам привязался какой-то идиот американец, зачем он травит мне душу?» И тогда Константин Орбелян догадывается: «Да это же Гаррик! Это он, он жив, так я называл его в детстве».

Софья Михайловна уже была восстановлена в партии, отец реабилитирован посмертно. И тогда она пошла в ЦК партии Армении и объявила, что погибший ее сын оказался жив, и как посмотрит партия, если она станет переписы-

ваться с сыном. Ей ответили: пожалуйста. В 1960 году она приехала в США — одна из первых по частному приглашению.

— Прилетела она в аэропорт Сан-Франциско, встречаю я ее, обнимаю, спрашиваю: «Мама, ты яблоки мои в лагере получила или нет?» Это я ей ящик яблок перед самой армией отправил. А мама смеется: «Я живая приехала сюда, а ты мне о яблоках говоришь. Получила, получила, хорошо дошли, не беспокойся!»

4

180 Последние годы Орбелян часто бывает в Советском Союзе, его волнуют и радуют улучшающиеся отношения между двумя странами. Гарри старается как можно больше предпринять, чтобы эти отношения углублялись и совершенствовались. Не так давно он снова прилетел в Москву на очередное заседание АСТЕСа, снова был на приеме в Кремле. После всех заседаний и приемов мы сидели, пили чай, разговаривали. Было весело. Вдруг Гарри помрачнел:

— Эх, ребята, было бы мне сейчас годков двадцать пять!

— Это ты к чему?

— Все силы бы отдал, чтоб помочь нашей стране. Ну почему так получается? Всю жизнь ждал, мечтал, надеяться перестал, и вот сейчас, когда предстоит так много сделать, мне уже шестьдесят девять. Обидно все-таки. Много проблем надо поставить, и торговых и человеческих. В том числе пора ставить проблему эмиграции. Вы не согласны?

Вот жил в Сан-Франциско такой человек — Александр Михайлович Понятов. Из Петербурга еще в 1917 году он переехал во Францию, потом в Соединенные Штаты, основал фирму «Ампекс», которую потом продал за десятки миллиардов. Начинал он ее в своем гараже году в сорок пятом, это была электроника.

— Да, такие магнитофоны были, пленки...

— Вот именно! А какого качества? Замечательного! За какие-то тридцать лет человек создал огромную компанию.

— А он жив?

— Умер лет десять назад. Помню, незадолго до его смерти сидели мы с ним, разговаривали, и он вдруг говорит: «Гарри, я всего добился, у меня прекрасная фирма.

Но у меня нет детей, продолжать мое дело некому. Был бы я на Родине, я бы все это дома устроил. Да что говорить, хоть бы отделение разрешили в России открыть. Все бы передал своей стране, весь свой опыт! Но ты же знаешь, это невозможно. И я страдаю».

— Сколько ему было лет, когда он умер?

— Лет семьдесят семь. Такой вот жил гениальный инженер-электроник, очень интересный человек. А спроси о нем у нас в Союзе, никто его имени даже не слышал. Разве это правильно?

А теперь посмотрите, последняя эмиграция. В основном евреи. Там ведь есть очень разные люди, по разным причинам приехали, некоторые из-за нашей бюрократии, некоторые просто рвачи-неудачники, некоторые из-за родственников. У меня появился один новый знакомый армянин, женат на еврейке. У нее здесь были родственники. Он никогда в Америку и не собирался. Он правильно говорит: если бы можно было поехать, посмотреть ситуацию, потом вернуться домой, многие бы вернулись, большинство. А так всегда думаешь, что у соседа трава зеленее. Этот армянин говорит: я себя по-прежнему считаю советским человеком, другом. Но меня-то не считают... И знаете, что я вам скажу? С точки зрения интересов Советского Союза это неправильно! Сколько здесь оказалось — так или иначе — деловых людей, крупных ученых, врачей. Эти дружественно настроенные к нам люди могли бы быть здесь нашей подпоркой. Они хотят ездить.

— Ездит уже много народу, Гарри... Билетов не достать, рейсов не хватает.

— С пользой надо ездить для Советского Союза. Не просто доллары в гостиницах оставлять. Люди готовы участвовать, создавать совместные предприятия. Новые времена наступают, правильно я понимаю?

— А ты заметил, как ведут себя китайцы?

— Вот и я вам о том же. Когда Китай открывал в Сан-Франциско генеральное консульство, тайваньцы устраивали возле него огромные демонстрации. Что творилось! Шум, протесты. А теперь? Эти же люди, демонстранты, на приемах желанные гости.

— А китайские студенты? Многие из них надеются, получив образование, поехать в Китай работать, хотя далеко не все родились в Китае.

— Вот и я то же самое говорю. А то здесь люди были буквально напуганы Сталиным, никак не очнутся.

— Гарри, а ты помнишь Сергея Романовича Бонгарта?

— Так это ж он портрет отца моего с фотографии рисовал, знаменитый был художник! Его в Голливуде любили. Вы знаете, что он умер?

— Да... Он звонил нам иногда, все приглашал приехать, все стихи читал по телефону, о тоске по Родине, как стоят здесь эмигрантские книги, пылятся на полках и их некому покупать.

— А он вам стихотворение «Зима» читал? Не помните? Бывало, когда приезжал в Сан-Франциско, приходил к нам, я ему говорю: Сережа, прочитай «Зиму». Он читает, и мы оба плачем...

— Несчастный был человек Сергей Романович.

182 — Мы с ним встретились в плену, он к тому времени много пережил.

— И ведь так, казалось бы, преуспел! Купил дом художника Николая Фешина, работы его стоили недешево.

— Что значит недешево? Дорого! Американцам нравились его портреты! Он их много писал. До одного случая. Заказала ему портрет одна богатая американка. Проходит некоторое время, и она посылает ему письмо: «Ваш портрет мне не нравится. У меня там на пальце бриллиантовое кольцо, там четыре карата, а на портрете все это выглядит, как будто один карат. Вы меня просто убили, по отношению ко мне это большая невежливость». Сергей был заводной человек, позвонил он ей и сказал: «Пошла ты знаешь куда? Бери портрет и не надо мне твоих денег». На этом он с портретами закончил, стал заниматься только пейзажами.

— У нас есть его картина, натюрморт, очень русские цветы...

— Да, он жил Россией. Кажется, что человеку не хватало? Дом в Санта-Монике, ученики, друзья... Знаете, какие у него были друзья? Ко мне брат Костя приехал, народный артист СССР, Сергей нас приглашает, устраивает прием в своем доме, одни голливудские знаменитости. Входим, навстречу Джим Кэгни идет. Даже я был поражен. А Сергей, как ни позвонишь — тоскую, говорит, по Родине.

— Мы ему много раз говорили: Сергей Романович, поезжайте в Киев, успокойтесь, порадитесь! А он: «Нет, боюсь! Сталина боюсь!» — «Но его уже давно нет. И вы ни в чем не провинились, можно сказать, человек проверенный, в нашем консульстве на приемах бываете. Ну

почему, Сергей Романович, почему?» А он отвечает: «Паранойя, ничего не могу с собой поделать, страх на всю жизнь, сам все понимаю, паранойя. Мой отец был мирный человек, коллекционер, любитель живописи, не могу примириться с его гибелью». — «Да вы же свои лучшие картины передали в дар Москве и Киеву, вас на Родину зовут!» — «Нет, боюсь...» И ведь что забавно, он был яростным борцом за социалистический реализм, сражался против абстрактного искусства в таких выражениях, какие у нас в стране давно никто не употребляет. И все равно, так и умер вдали от Украины. Боялся Сталина до конца своих дней.

— Такие люди в старшем поколении в Америке еще нередко встречаются.

...Мы еще долго разговаривали в тот вечер, вспоминали общих знакомых, вспоминали армянские колонии в Калифорнии, памятник Давиду Сасунскому в городе Фресно, созданный другом Уильяма Сарояна бывшим советским военнопленным Варазом Самуэляном, подарки, преподнесенные армянами во время визита М. С. Горбачева в Вашингтон в Фонд культуры. Кстати, армян в США проживает около восьмисот тысяч.

На следующее утро Гарри улетал в Сан-Франциско.

5

Москва. Гостиница «Будапешт». Апрель, середина дня, но темно, идет густой крупный снег, бьет в окна, создавая ощущение нереальности, странного выпадения из времени. Крошечная, очень старая женщина бежит в тесном пространстве между кроватью, креслами и столом. Не произнося ни слова, что выглядит даже несколько нелюбезно, она что-то сосредоточенно собирает по всей комнате. Ах, вот оно что, вырезки! Из чемодана, из шкафа, из-под подушки, из сумки, из кошелька, наконец! Все это добро она складывает на журнальный столик.

— Подожди, Галя-джан, сейчас последнюю найду, очень важную. Вот она, под одеялом оказалась, ночью читала... Нет, не на стул, в кресло садись, а я против света сяду, зачем тебе мои морщины смотреть! Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я наконец счастлива! Да! Дожить до таких дней, разве это не счастье? Не совсем поняла? Гляди на стол! О чем вырезки? О культе! Хоть бы мой муж одним глазком глянул, хоть бы его друзья расстрелянные встали! Хоть бы мои подруги

дожили! Никого нет, никого! Все умерли! Радость? С кем разделить? Одна, совсем одна.

— А сколько вам лет, Софья Михайловна?

— Мне? Скоро девяносто.

Софья Михайловна Атарбекова, мать вице-президента Торговой палаты Сан-Франциско, старый член партии...

Крошечная старушка в черном сарафане и модной черной гипюровой кофточке согнута годами почти пополам. Но туфли на каблуках, на руках свежий аккуратный маникюр, и вот она садится наконец на стул и можно разглядеть ее большое, породистое, необыкновенно красивое и в глубокой старости лицо. Пышная копна черных волос прихвачена заколкой. Брови подведены тонкими ниточками, как было модно в 20-е годы. Губы подкрашены ярким сердечком. Тоже было модно. Глаза черные, большие, с тяжелыми веками.

184

— Слушай, Галя-джан, ты сколько раз «Покаяние» смотрела? Два? А я три. Это пенсне... Понимаешь, о ком говорю? Умирала, когда видела это пенсне! Ты что, пишешь? Зачем? — искренне пугается Софья Михайловна. — Так не пиши! Ты вот что пиши: старые большевики счастливы! Написала? — Софья Михайловна роется в вырезках на столе, руки ходят быстро, не дрожат, наконец находит нужную, показывает знакомое улыбающееся лицо. — Ой, дорогой, ой, золотой, как я его любила! Ой, Сергей Миронович, родненький, возвращаешься ты к нам по-настоящему!

— Вы были с ним знакомы?

Неопределенно пожимает плечами. А я знаю точно, что знакома была и очень хорошо.

— Он у нас был первый секретарь ЦК, мы его обожали просто. Подожди, пишешь? Ты что? Разве можно о выдающемся деятеле партии так писать? Молодая еще, ничего не понимаешь! Так пиши: «Киров — пламенный трибун революции, люди слушали его доклады в опере по три часа и не могли наслушаться». Написала? Дальше пиши: «Пламенный трибун без бумажек». — Она снова соскальзывает, не удерживается, меняется голос: — Ой, мученик, ой, золотой наш! Родненький... Ты что! Родненький не пиши, несолидно получается. А эту статью ты видела? — Софья Михайловна показывает пожелтевшую вырезку с воспоминаниями вдовы Бухарина. — Николаю Ивановичу все верили, все в него влюблены были просто, я особенно, всю жизнь любила голубоглазых... Опять пишешь? — снова пугается Софья Михайловна. — Значит, так пиши: «Выдающийся теоретик партии». Иначе

несолидно получится. Пиши: «Радостно, что к нам возвращается его богатое теоретическое наследие, которым партия сумеет воспользоваться...»

Рассказать о себе? Нечего рассказывать. Что во мне интересного? Ты газеты читай, журналы читай — вот где интересное! Я не Софья Перовская, Галя-джан, в царя бомбы не кидала. Судьба какая? Как у многих моих подруг судьба. Пишешь? Ты лучше вот что напиши: когда меня брали, а детей в подвал бросали, а что с мужем сделали, неизвестно, меня везде так спрашивали, будто незнакомый: «Как вы смотрите на то, что вас посадили?»

— А вы что?

— Как ты думаешь? Если девочка-гимназистка за большевика выходит, в партию вступает, секретарем ревкома работает, пятилетки за три года старается выполнять... 185
Что я могу им говорить? «Я верю в партию, она разберется!» Меня в акмолинском лагере — нас туда тяжело везли, нет, не хочу сегодня плохое вспоминать, хорошо хочу говорить, — меня в этом лагере, где жены одних политических, даже дразнили: «Соня рада, что ее посадили». Там жена Тухачевского сидела и его сестра — в соседних бараках. Что там делала? Территорию подметала. Я своим в бараке все время твердила: не плачьте, не рыдайте, возьмите себя в руки, не проклиняйте Сталина, нам всем новые срока добавят, а у нас у всех дети.

— Ругали Сталина? А говорят, что многие ему и в лагерях продолжали верить. И пишут об этом много.

— Кто говорит? Нас же всех грамотных там собрали, много старых большевичек было, ругали его с утра до ночи... говорили, что он партию переродил. У нас там такие теоретики собрались. Что им Сталин — палач и недоучка! Они о нем: интриган, садист, убийца! Не разглядели вовремя! А я им только одно твержу: девочки, не волнуйтесь, не переживайте, силы берегите, мы еще выйдем отсюда. А они мне: «Соня, ты всерьез?» И стали меня называть «Соня-валерьянка». Так это прозвище с Акмолинска и пошло.

— А потом?

— Что потом, что потом, Галя-джан. Дальше был другой лагерь.

— Какой?

— Ну не все ли равно какой? Лагерь как лагерь. Что, не знаешь, какие лагеря были? Всюду все написано. Любой журнал открывай — читай. Меня по медицин-

ской части использовали. Во время войны оказалась в Молотовской области, Усольяг, возле Соликамска, на лесоповале работали, тяжелая работа. А я завмедпунктом, в пять встаю и обход делаю. А начальник лагеря мне: что у вас за показатели, почему у вас болеют? А во время войны пошла новая политика, чтобы было поменьше смертности. Пиши, называлось это: «сохранить людской контингент». Записала? Литер «Б» и литер «В». Литер «Б» — больные, литер «В» — умершие. Это у них шифровка такая была. У меня литер «Б» — высокий, а «В» — низкий. Меня начальник лагеря ругает: «Заклученные много болеют». А я ему так коварно подсказываю: «Может, вы хотите, чтоб все умерли и лагеря вообще закрыли?» Он говорит: «Молчи, с тобой лучше не связываться».

186

Ну вот, отсидела я свой срок, под Ереван удалось вернуться, не сразу, конечно. Котик у дяди жил, а меня в городе не прописывают. Как жила? В детских садах работала. Я говорю: «Что ж вы мне, отсидевшей, жене врага народа, детей доверяете?» Они говорят: «Ладно, молчи, за городом можно»...

О муже ничего не знаю, старший сын погиб в плену, Костик при консерватории учится. Живу. А тут XX съезд. Мужа реабилитировали посмертно, меня в партии восстановили, дали нам с Костей квартиры в городе. И начала я работать по общественной линии.

— И сейчас работаете?

— А как же! У меня подшефная школа за городом есть, там я тридцать лет работаю. А еще ветераны.

— А дома как справляетесь? Кто-то помогает? Сын?

— Котик? У него джаз на руках, зачем ему мне помогать, если я сама все могу. У него там ребята в оркестре, пусть им помогает, мне зачем! У Гаррика бываю в Сан-Франциско. Нравится ли мне? Сама подумай, кто я там, зачем я там? Старуха под пальмой. Я оттуда домой спешу, к ветеранам своим. У них проблем много, кто с квартирой идет, кто с пенсией, кто болеет, кто умер. Почти каждый день из райкома звонят: «Соня, вы не можете прибежать?» Бегу, отвечаю, бегу. Вот только все мои подруги умерли, двенадцать нас было, одна осталась. Зато счастья от полного разоблачения культа дождалась. Написала?

— О чем?

— О культе. Этим я сейчас живу, понимаешь? Ну что, устала? Пойдем кофе выпьем? — Она достает сумочку

с косметикой, пудрится, обновляет помадой сердечко на губах.

— Вы всегда были такой модницей?

— Всю жизнь! И это написала? Что ты? Не пиши! Легкомысленный образ получается. Я и в лагере, если в кашу масло положат, хоть несколько капель, я всегда говорила: «Девочки, возьмите себя в руки, только на лицо!» Сидим мы, мажемся, и они мне говорят: «Соня, ты просто неистребимая валерьянка!» Дразнили меня! А теперь, видишь, пригодилось. Дети у меня, внуки, правнуки. Я ими горжусь. Я для них должна выглядеть! Согласна? Слушай, вам Гаррик не звонил? Ты не поедешь в Сан-Франциско? Когда поедешь, ты им скажи, убеди, пусть лучше сами ко мне приезжают. Что они меня все тянут и тянут в этот Сан-Франциско? Гаррик там тоже занят, как в Москве... 187

— Время сейчас такое.

— Я все понимаю, я горжусь его общественной работой. Надо налаживать отношения между великими странами. Думаешь, я не понимаю, почему сейчас все так быстро пошло? Все с разоблачением культа связано! Ленин одно говорил, Сталин другое сделал. На глазах, на глазах отрезал нас от всего мира, я хорошо помню... Гаррик, бедный, золотой, столько пережил... Это не пиши, не надо плохое вспоминать. Другое пиши: мосты наводит мой старший сын, я горжусь. Муж мой хоть бы глазком глянул на своих детей: один народный артист Союза, другой из Америки за мир борется. Вот бы Агапар удивился. Ну, все я тебе рассказала? Пойдем кофе пить.

* * *

На следующее утро раздается звонок:

— Слушай, Галя-джан, ты смотри, ты только серьезное обо мне пиши, а то я знаю, что ты хочешь обо мне написать. Я ночью думала и догадалась. Скажи, я правильно догадалась?

— А что я напишу?

— Конечно, ты все равно напишешь, но если можно, не пиши. «В свои восемьдесят восемь лет Соня как была, так и осталась неисправимая кокетка». Так ты напишешь! Правильно я догадалась?

Я молчала, не зная, что ответить: такой унылой, тусклой, скучной показалась я сама себе.

— Видишь,— молодого засмеялась Софья Михайловна,— значит угадала!

И сейчас, когда я думаю об этой большой семье, о ее судьбе, в которой сошлись, кажется, все трагедии нашей отечественной истории, я вспоминаю прежде всего ее главу — мать, бабушку, прабабушку Соню.

И встает перед глазами ее тщательно подкрашенное величественное лицо, на столе между нами вырезки (все о культе!), и я думаю о ее неистребимом жизнелюбии, передавшемся сыновьям, о поразительной стойкости («Кто тебе сказал, что у меня была тяжелая жизнь? Это некоторые люди так любят о себе говорить. У меня никогда не было невыносимой жизни, я всегда находила выход, вот здесь», — и она показывает на сердце). Думаю я и о ее надеждах на благие перемены. («Знаешь, пожить еще хочу, увидеть надо, как все пойдет дальше»). И слышится мне ее низкий, молодой голос: «Знаю, знаю, ты все равно обо мне напишешь: «Соня — неисправимая кокетка».

И начинаешь понимать, насколько мудро и вечно древнее евангельское изречение о том, что уныние есть самый большой на свете грех.



**ТРОЙКА
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ**



Поднимаешься по крутой лестнице, а тебе навстречу слетает со стены русская тройка. Красная площадь, купола Василия Блаженного, косматые, бурые гривы лошадей... Классическая завершенность каждой детали. Первое впечатление — шоковое. Как, почему, откуда здесь? Хотя, казалось бы, я и знала, что еду в гости в русский дом. И все равно. Сан-Франциско, Форест-хилл, узкая улица комфортабельных дорогих домов. Нетрудно представить, что в каждом из них внутри. Удобная рациональная мебель, если живопись, то современная, чаще всего абстрактные композиции. Поднимаюсь по лестнице выше, вхожу в гостиную и оказываюсь в музее. Большие полотна в тяжелых золоченых рамах. Реалистическое искусство. Историческая живопись. Хозяин дома Игорь Соколов внимательно следит за моим лицом, в глазах у него вопрос: 191
ну как?

— Прекрасная живопись, — отвечаю я на незаданный вопрос. — У вас сохранилось так много вещей!

— Что вы, это малая часть из того, что отец написал. Он всю жизнь очень много работал. Много его вещей в музеях, много в частных коллекциях.

— В Аргентине?

— Почему, и здесь, в Америке.

— А у нас?

— А у вас в Третьяковской галерее любимое полотно отца «Взятие Измаила генералом Суворовым», наша семья недавно передала его в дар. Он написал его в Буэнос-Айресе в 1953 году и тогда же мне сказал: «Имей в виду, после моей смерти передашь России». — «Ну что ты, папа, у тебя какие-то несбыточные мечты, — ответил я, — это же совершенно невозможно!» — «Увидишь, пройдет время, и все переменится, помни опыт Великой французской революции. Неизбежно придет успокоение и примирение...» Отец, кстати, повторял это всегда и особенно много спорил с монархистами. И, как видите, оказалось, он был прав. Правда, ждали мы долго.

...Судьба художника Анатолия Соколова — еще одна история из жизни эмиграции, на этот раз так называемой второй волны.

По мере того как нарастает лавина клочковатых, большей частью случайных публикаций об эмиграции, стано-

*Русский инженер
американец Игорь Соколов.*

вится все заметнее, что о второй волне в нашей прессе пишут пока, пожалуй, меньше и застенчивей всего. Вот Саша Лютиков, военнопленный, герой французского Сопротивления, вот Гарри Орбелян, тоже военнопленный, решивший повременить с возвращением домой и учитывавший, по-видимому, то обстоятельство, что дома в лагерях и мать и отец.

192 Анатолий Соколов по сравнению с этими довоенными мальчиками принадлежит к поколению «отцов». Он участник первой мировой войны, при этом знаменитый ее участник, он дворянин, причем известной фамилии. И его путь на Запад — это еще одна грань тех обстоятельств, о которых мы мало и плохо осведомлены, которые, вернее сказать, мы с трудом признаем. Сам художник давно умер, его сын Игорь был в годы войны мальчишкой и многого не знает. Остаются факты и остаются размышления над этими фактами, ибо судьба Соколова тоже достаточно типична для части русской эмиграции времен Отечественной войны. Людей схожей судьбы, уже глубоких стариков, я встречала и в Нью-Йорке, и в Наяке, и на Толстовской ферме. Чаще всего это были люди, пострадавшие в предвоенные годы, отсидевшие в лагерях или ссылках, оказавшиеся во время войны в оккупации. Люди, как говорится, уже непризывного возраста. Стоит ли говорить, что это все очень разные люди, что вели они себя очень по-разному. Были, вероятно, те, кто сотрудничал с немцами, были прямые участники фашистских злодеяний. Были и другие, воспользовавшиеся открывшейся возможностью через все немецкие заслоны эмигрировать в Европу. Шли ли они на компромиссы с властями? Если да, то до какого предела? Каждый случай требует отдельного пристального рассмотрения.

Судьба Анатолия Соколова, одаренного русского художника, если не сглаживать ее привычной фразой «в годы войны оказался на Западе» — приблизительно так пишут сейчас, скажем, о поэте Иване Елагине и многих других, менее известных у нас в стране людях, — может быть характерна для какого-то небольшого слоя старой русской интеллигенции, в годы войны оказавшейся на территории, занятой немцами. Как все это происходило? Сейчас, спустя почти полвека, начинают приоткрываться факты.

Отец художника был статским генералом, заведовал царской охотой. Семья жила в Петергофе. Мальчиком Анатолия отдали в Кадетский корпус, потом в Тверское

кавалерийское училище, из которого он вышел в Финляндский полк. Первую мировую войну начал подпоручиком, закончил подполковником, стал летчиком, служил на Гатчинском аэродроме. Был сбит немцами, редкий случай — уцелел: повис на дереве.

Фотография «чуда» обошла петербургские газеты. Была даже выпущена специальная открытка. Дальше произошла революция, при неизвестных для Игоря обстоятельствах погиб его дед, генерал. Гатчина, где служил отец, к революции не присоединилась. Игорь помнит рассказ отца о том, как тот был в делегации летчиков на приеме у Ленина в Смольном. Но о чем и как шли переговоры? Игорь не помнит деталей. За отцом он не записывал, все ушло из памяти. Братья отца воевали в белой армии, отец, с детства мечтавший стать художником, участия в революции не принял никакого. Он пошел учиться живописи. Поступил в Академию художеств, был в классах у Кардовского, Кустодиева, потом у Савинова. Давно кончилась гражданская война. Началась жизнь профессионального художника, вполне успешная. Казалось, все впереди. В начале 30-х годов арест и пять лет Свирских лагерей. Возвращение в Ленинград.

— Хотите, покажу все бумаги, касающиеся лагеря? — предложил мне Игорь. — Каким-то чудом отец все сохранил, все документы о семье, начиная с дореволюционных лет. Папа всегда говорил, что это общая история всего русского народа. Знаете, отцу, мне кажется, повезло. У него были верные друзья, они посоветовали ему немедленно уехать из Ленинграда и отправили его в Симферополь, там он возглавил местное отделение Союза художников.

Игорь рассказывает, а я вспоминаю Симферополь, зеленый, красивый город. Если бы еще он был бы таким же чистым и ухоженным, как Сан-Франциско.

— А вы бывали в Симферополе? — спрашиваю я Игоря, мало надеясь на положительный ответ.

— А как же! Как только это стало возможным, мы приехали в Симферополь всей семьей, и я нашел наш старый дом, встретил соседку, которая хорошо помнила моих родителей. Мне было двенадцать лет, когда началась война, но оказалось, что я многое помню.

— Из того, что происходило до войны? .

— Да, конечно, оказалось даже, что в памяти всплыли разговоры взрослых: поначалу папу сильно притесняли в Симферополе, называли его белобандитом — за дворян-

ское происхождение и участие в первой мировой войне. Началось все с самой настоящей опасной травли, а потом как-то сгладилось, перед войной заговорили о том, что пришла пора снять с него судимость. И тогда можно было бы возвращаться в Ленинград, о чем папа мечтал, у нас там, как это ни странно, даже квартира сохранялась. И тут война. Это я тоже помню. Ужасная ситуация. Эвакуироваться не удалось, немцы очень быстро захватили Крым. А через год меня, мальчишку, фашисты уже пытались угнать на работу в Германию. Угоняли всех подряд, это я тоже помню. Тут папа и решился, я думаю, во многом ради меня. Если на Восток нельзя, там линия фронта, то остается Запад.

194 — Но и на Западе линия фронта,— перебиваю я, может быть, не совсем корректно.

— Да, но знаете, кто ее держал на юге? Румыны! А это не совсем то, что немцы. И не забудьте, папа бывший царский офицер, а среди румын были люди, сражавшиеся в годы первой мировой войны против немцев в русской армии. Думаете, они симпатизировали Гитлеру? Вовсе нет. Мобилизовали, приходилось служить... Был такой полковник Келлер, был барон Кристи-Голицын, сосланный еще Николаем II в Бессарабию за убийство жены. Оба они тайком помогали русским чем могли. Когда шла речь о том, что меня вот-вот угонят в Германию, возник такой план: переправить нашу семью в нейтральную страну. А какая нейтральная страна в те годы? Швейцария. В Одессе было открыто швейцарское консульство. Значит, надо было сначала переправить нас в Одессу. А это через немецкие патрули. Сделать это было нелегко. Тогда отца переодели в раненого румынского солдата, замотали ему голову бинтами, мать — в форму сестры милосердия, меня спрятали. Этот момент я тоже хорошо помню: ведь мы рисковали жизнями в случае разоблачения. В Одессе папа получил швейцарские паспорта, и мы тронулись в путь. Он оказался очень долгим. Как вы думаете, сколько мы добирались до Швейцарии?

— Ну месяц,— говорю я.

— Семь. Скорее всего потому, что с нами ехало несколько еврейских семей.

— Как?— изумляюсь я.— Каким образом?

— Не знаю, у них тоже были паспорта, то ли шведские, то ли швейцарские.

— Как же их удалось получить?

— Тоже не знаю. Может быть, консульства, может,

Красный Крест, может, просто купили. Но немцы совершенно не могли перенести, что евреи едут под охраной закона, глумились над ними и над нами заодно, как хотели. Арестовывали, сажали то в тюрьмы, то в лагеря якобы для проверок, то заставляли идти пешком по многу километров. Помню жуткую бомбежку в Линце. Бомбили американцы. Мы попытались спрятаться в бомбоубежище. На нас не было никаких знаков, и нас пустили. Одна русская женщина со знаком «Ост» с двумя маленькими детьми тоже попросилась спрятаться. Ее выгнали пинками. Я заговорил по-русски, меня тут же зверски избили. Я запомнил парня, который меня бил, после войны вернулся из Швейцарии с приятелями и тоже его избил.

— Отомстил?

— Нет, не за себя, за ту русскую, не знаю, осталась ли она жива после такой бомбежки. В Швейцарии после войны работы не было. Несмотря на швейцарские паспорта, мы считались гражданами второго сорта. Отец сказал: «Что ж, придется ехать к тем, кто первым даст визу». Первой была Аргентина. Деньги на билеты давала американская организация, помогавшая беженцам, — ИРА. В Аргентине после скудости послевоенной Европы внешне — рай, а как жить — неизвестно. И языка не знаем, и жить негде. Отцу нужны были деньги на краски, на кисти, я хотел учиться, но об этом можно было сразу забыть: никакие дипломы других стран, даже школьные, не признавались. Работать и учиться одновременно, как в Америке, запрещено. Русские эмигранты собирались возле церкви. Это был как бы клуб, там подыскивали работу, жилье, обменивались новостями.

— А какие-то благотворительные организации?

— Нет, их не было. Была старая дореволюционная эмиграция, русские, армяне, уехавшие еще от турок. Вот эти люди здорово помогали. Были живы несколько старых русских тузов, о которых в России никто и не знает. Был такой Власов, владелец огромного рыбного и торгового флота, в прошлом крупный киевский банкир. После войны, году в 1952-м, он купил целую гору в Швейцарии, устроил там курорт. В журналах и сейчас еще иногда спорят, кто был богаче, грек Онассис или русский Власов.

— Но об Онассисе знает весь мир! А о Власове?

— Правильно, в Советском Союзе знают о Зворыкине, Сикорском, меньше о Тимошенко, а о купцах, бизнесменах... До недавнего времени вы такими людьми не интересовались. Тем более Власов не любил рекламы, журнал

«Тайм» назвал его «молчаливый миллиардер». Кстати, после смерти сына Власова акции его компании перейдут к рабочим.

— Что, об этом пишут?

— Да, его наследник сообщил об этом через газеты. Был еще такой крупный фабрикант Евгений Александрович Рогов, тоже из дореволюционной эмиграции. У него были фабрики во Франции, Чили, Аргентине. Он широко помогал всей эмиграции.

— А сколько было русских ди-пи (перемещенных лиц) в Аргентине после войны?

— Цифры называли разные. От пятидесяти до ста тысяч.

— Много.

196 — Очень много, страна ведь маленькая, но почти все приехали без профессий. Меня устроили шофером к Рогову по большой протекции. Я работал шофером и одновременно на фабрике. В двадцать один год стал директором продажи товаров.

— Сколько же вы работали?

— С шести утра до десяти вечера. Каждый день.

— Трудно было?

— Если я начал зарабатывать в три раза больше рабочего, конечно, трудно. Но старик Рогов тоже очень много работал, сидел до ночи, хотя, казалось бы, зачем. Я дошел до вице-президента фабрики и ушел, решил открыть свою. По производству игрушек Уолта Диснея. Получилось неудачно, успел ее ликвидировать.

— А как же отец с матерью? Вам не приходилось им помогать?

— Что вы! Отец был человек особенный, очень спокойный, в самые тяжелые минуты он повторял, что все образуется. Бедствовали мы самые первые месяцы. Потом отец взялся за кисти. В Буэнос-Айресе был объявлен конкурс на картину из жизни национального героя Аргентины Сан-Мартина, освободителя страны от испанцев. Отец вообще был исторический живописец, время, которое мы провели в Швейцарии, он потратил на изучение перехода Суворова через Альпы, ездил, смотрел, писал этюды. Хотя ясно было, что домой на Родину возврата нет, он повторял, что это неважно, все пройдет, что он мечтал о такой картине всю жизнь. И тут Сан-Мартин. Отец засел за книги, тоже ездил в горы, смотрел. И написал прославленного генерала верхом на осле. Когда он принес свою работу на конкурс, вышел скандал: во-первых, иностран-

нец, эмигрант, не положено; во-вторых, осквернение национальной святыни. Отец предъявил исторические книги. Выяснилось, что горы переходят только на ослах, лошади боятся высоты так же, как и люди. Единственный человек в мире, кто действительно перешел перевал на лошади, — это Суворов. Создали даже чуть ли не ученую комиссию, чтобы установить официальную истину. Ну и отец оказался прав. Потом долго спорили, можно ли принимать на выставку работу эмигранта. Но за плечами у отца были традиции русской реалистической школы. Художников такого класса в Аргентине тогда не было. Он получил первую премию. После всего этого шума дела его пошли лучше. Появились заказы. Отца поддерживали русские.

— А русская колония была дружной?

— Дореволюционная колония была дружной. Ну и 197
тем, кто приезжал позднее, тоже приходилось держаться вместе. Обычно русские ссорятся между собой, а тут все было так тяжело, что поневоле люди тянулись друг к другу, помогали чем могли. Было в те годы два знаменитых на весь Буэнос-Айрес русских благотворительных бала. Билеты на них стоили очень дорого, достать их было практически невозможно. Собиралась вся знать. Бал русского Красного Креста, его устроителями были члены Красного Креста, русские купцы, приехавшие в страну в начале века, такие, как Рогов, Власов, Коптенко. И второй бал — Общества инвалидов первой мировой войны. Эти два бала собирали деньги, которые шли на русские нужды.

— Ваш отец прославился в Аргентине?

— Да, у него появилась масса заказов, он процветал, о нем много писали в газетах. Однажды он получил письмо из Америки. Его младший брат, прочитав об отце статью, интересовался, тот ли он Соколов. А мы твердо знали, что один из братьев отца, полковник царской армии, погиб в гражданскую войну, второй — пропал без вести. Оказывается, этот дядя Саша остался жив, служил у Колчака, оказался в Китае, потом переехал в Штаты. Он потянул отца к себе. Отцу нужно было делать сложную операцию на сердце. Он поехал повидать брата и оперироваться и так и застрял. Все его сбережения, и немалые, ушли на болезнь. Это теперь некоторым разрядам эмигрантов тотчас же оказывается помощь. Но если приезжать в общем порядке, первые пять лет человек сам отвечает за свое здоровье. В Америке отцу пришлось начинать жизнь в третий раз, уже немолодым человеком.

Мама, а ей было около шестидесяти, пошла работать экономкой к богатым людям, работала очень тяжело. Надо было поддерживать отца.

Ну и я поехал к родителям. Когда приплыл на пароходе, в кармане у меня было два доллара. В тридцать лет пошел учиться в университет. Закончил сначала строительный факультет, потом атомный. В Стенфорде.

— А на какие деньги вы учились?

198 — Работал, сначала плотником, потом младшим чертежником. В Америке все много работают, ничего странного. Уходил из дома в шесть, возвращался в одиннадцать, мне было не привыкать. И так много лет подряд, пока не выдвинулся в той электрокомпании, куда я с трудом попал. Постепенно стал инженером проектов атомных электростанций. Делал миллиардные проекты в Северной Калифорнии.

— Интересно?

— Конечно, интересно, но с атомными электростанциями всегда много проблем. Наша компания делала очень большие проекты. Получилось, что построили станций на двадцать лет вперед. Нас, ведущих инженеров, стали спускать на мелкие проекты. После миллиардов — на пять-шесть миллионов. Это стало совсем неинтересно: ты не растешь, не идешь вверх, а годовой оклад остается прежним. Руководство компании предложило всем начальникам высших уровней уйти на пенсию, добровольно, только тем, кто хочет. И я в пятьдесят шесть лет ушел. Многие ушли, ушла головка, сразу восемьсот ведущих инженеров.

— Огромная экономия на больших зарплатах...

— Да, и компании экономия, и людям лучше, всех обеспечили пенсиями по высшему разряду. Как бы сказать, они дали морковку ослу, чтобы он побежал за морковкой, за хорошей пенсией, и многие предпочли свободу, хотя меня уговорили остаться консультантом.

— А отец?

— Отец постепенно нашел себя в Америке, писал исторические полотна.

— А как продавал? Через галереи?

— Он был связан с одной здешней крупной галереей. Но насколько я помню, его картины не успевали доезжать до галереи, их раскупали у него в студии. К сожалению, я мало помню. Я был очень занят в те годы, учился, работал, не успевал отца расспрашивать. Помню только, что он ездил в Нью-Мексико, встречался с Марком Шагалом, они вместе учились в Петрограде, это было первое

свидание через много десятилетий. Я знаю, что отец был хорошо знаком с Керенским, но тоже не успел его расспросить, не знаю деталей встречи с Лениным. Многого я за ним не записал. Америка не дает возможности даже близким людям сидеть и подолгу разговаривать. А жили мы уже отдельно, я был женат, заботы...

— А жену встретили в Америке?

— Аллу? Да, она тоже приехала из Аргентины. Там работала медицинской операционной сестрой. Медсестра в Америке это совсем не то, что в России. Нужно обязательно кончить университет. И профессия эта считается очень престижной и хорошо оплачивается. Доктор — это от двухсот до пятисот тысяч долларов в год, а сестра — шестьдесят тысяч, семьдесят. Это очень много, почти столько же, сколько крупный инженер. Она десять лет проработала в госпитале, потом ушла сестрой к врачу уха — горла — носа. Знаете, в какой-то момент почти все они занялись пластическими операциями. В Америке их теперь делают не в госпиталях, а у врача в кабинете. Сразу после огромной операции отправляют пациента домой. Госпиталь — это дорого. А врачам выгоднее делать самим, у себя. И после нескольких лет такой работы Алле пришла в голову идея: а почему бы не создать самый маленький госпиталь по выхаживанию больных после операции? Забирать их к себе на сутки. После восьми часов лежания на столе, после наркоза пациенты чувствуют себя по-разному. Они практически здоровы: больным такие операции не делают, и все же... Докторам эта идея показалась выгодной, потому что клиенты не будут беспокоить их звонками по ночам. Алле тоже выгодно, работа тяжелая, ответственность огромная, работа эта хорошо оплачивается. И вот уже четыре года она держит такой маленький госпиталь. Она была первой. Теперь вслед за ней начали открывать и другие. Раньше госпиталь располагался недалеко от клиники. А теперь у нас дома.

— Это комната под гаражом?

— Да, вы обратили внимание, что там все электрифицировано? У нас весь дом электрифицирован. В любой момент можно позвонить и кто-то прибежит, Алла или наша старшая дочь, у которой диплом биохимика, она помогает матери. Очень напряженная работа. Больных много. Но последнее время Алла берет два-три дня в неделю. Всех денег не заработаешь, пора жить поспокойней. Жалко, ее нет в Сан-Франциско, она бы вам все подробно рассказала, повезла бы вам показать операционные, где

делают косметические операции. Это как космический корабль, сверхновейшее оборудование. Очень интересно. А вы думаете, почему она в Египте? Там проходит международная конференция по ее проблемам. В Америке каждая сестра через два года должна предъявить документ, что прослушала не меньше тридцати часов по своей специальности.

— А кто отправил ее в командировку?

— За свой счет. Усовершенствование в профессии списывается с налогов. И выгодно, и поощряет к учебе.

— Игорь, общие знакомые рассказывали мне, что все рамы к полотнам отца вы сделали своими руками.

— У меня же своя небольшая мастерская, внизу, в гараже. Я вам покажу.

200 — Вы и на продажу делаете рамы?

— Сейчас да, принимаю заказы. А началось с того, что, когда я очень много работал, мне нужно было какое-то отвлечение. В гольф я не играю, на лыжах хожу только по субботам и воскресеньям, а приходишь с работы часов в девять вечера, усталый, надо как-то снять стрессы. Спускаешься в мастерскую, поработаешь полчаса-час руками, и становится легче. Я начал покупать инструменты, станки, все делал самоучкой, теперь уже приспособился.

— И так вы один и работаете?

— У меня есть помощник. Пойдемте покажу вам мастерскую.

Мы спустились в гараж. Два станка, по стенам развешены образцы багета, инструменты.

— Я и консультирую в своей компании, и работаю в мастерской. Времени стало еще меньше, чем было прежде.

— У вас вся семья очень активна.

— Да, у жены дома госпиталь, у меня мастерская, девочки учатся и подрабатывают в крупном магазине, в «Мейси», рекламируют парфюмерию.

— Ну а налоги?

— Платим, как все американцы. Двадцать восемь процентов — налог государственный, двенадцать процентов — штатский, в Калифорнии высокие налоги, четырнадцать — социальное обеспечение, этот налог нужно платить до шестидесяти пяти лет, до пенсии. Максимальная государственная пенсия для всех — восемьсот долларов. У мамы моей шестьсот. Но разве можно прожить на эти деньги? Поэтому все большие компании тоже платят свои пенсии, от маленькой до высокой. Сейчас у меня пен-

сия от компании, к шестидесяти пяти годам начну получать и государственную. К тому времени вес доллара упадет, и как раз все уравнивается.

...Мы сидим с Игорем в гостиной, на стене напротив — Джордж Вашингтон ведет переговоры с англичанами, мчатся индейцы, в углу тот самый знаменитый Сан-Мартин на осле. За окном покачиваются от ветра громадные сосны. С высоты второго этажа видны разноцветные ниточки огней авеню и улиц.

Мы сидим, разговариваем, поджидаем домой девочек. Мы много успели, ездили по городу, обедали в офицерском клубе, построенном на том самом месте, где Рязанов встречался с отцом Консепсион, были у пятидесятников, два дня провели с молоканами, были в гостях у Саши Лютикова. Саша рассказывал о партизанской войне во Франции, о своих спасителях-французах. Потом Саша с Игорем, перебивая друг друга, вспоминали жите в Аргентине, где оба оказались после войны: как тудаплыли, как зарабатывали первые деньги, где приходилось жить. Лютиков так и сыпал в разговоре крепкими словечками и поговорками. Русская речь Соколова была уже совсем иной — более функциональной, хотя Лютиков старше его всего лет на шесть.

Они разговаривали, как бы забыв обо мне, припоминая детали, которые человек один вряд ли и вспомнит. Далекая Аргентина, Буэнос-Айрес, бывшие военнопленные, женщины, дети, общее смятение, незнание языка, страх перед новой жизнью, страх перед возвращением на Родину, перед сталинскими лагерями, погнавший их через океан... Старая, дореволюционной постройки церковь, площадь перед ней, тоже принадлежавшая церкви, вокруг бродят неверующие молодые люди, бывшие солдаты, бывшие пленные, среди них высокий, барственный, интеллигентный Анатолий Соколов, его сын, уже студент, Игорь, израненный Лютиков...

Слушала их, как будто смотрела кино, подробности, подробности... И все равно ничего не понять.

...Я гляжу на Игоря, на его высокий, молодой лоб, почти без морщин, на загорелое, оживленное, улыбчивое лицо. Пенсионер... Неужто пенсионер? Как не похож он на наших пенсионеров, которых практически сразу выбрасывают из активной жизни, преждевременно превращая полных сил людей в никому не нужных стариков... Соколов — пенсионер? Спортивная, подтянутая фигура, энергичная жестикуляция, стремительность походки...

В шесть утра кофе, чтение газет, поездка, если вызывают, в свою фирму; после обеда — в гараже прием заказов, вытачивание, выпиливание рамок. По старой привычке, ложится он поздно. И снова — шесть утра, и снова полный, насыщенный день.

Соколов — крупный инженер, по американским стандартам, по тому положению, которое он сумел занять — очень крупный. О таких людях, людях активного дела, созидателях, строителях державы, на плечах которых должны лежать судьбы страны, мечтают в начале романа «Август Четырнадцатого» герои Солженицына. Мечтают и тревожатся, что таких деятелей в России пока мало, и это опасно, это сулит непредсказуемые последствия. Да, Солженицын...

И тут я спохватываюсь. Сан-Франциско, вечер, из окна виден залив с белыми яхтами. И я снова думаю об этих судьбах. Соколов и Лютиков. Их жизни, полные напряженного, плодотворного труда, результаты которого — при других исторических обстоятельствах — были бы отданы России.

СОСЕДКА





Телефонный звонок.

— Здравствуйте,— говорит по-русски женский голос. Впрочем, с заметным украинским акцентом.— А я ваша соседка. Мне ваш телефон этот парень дал, Джавал, хозяин лавочки.

Джавал — индеец. В своей лавке он торгует газетами и журналами. Газетный бизнес в последние годы прибрали к рукам в Нью-Йорке индийцы, как корейцы — овощи и фрукты. Но на газетном бизнесе быстро не разбогатеешь. Это более спокойная, менее кропотливая работа. И, очевидно, она больше соответствует индийскому национальному характеру, более созерцательному, менее деятельному, чем корейский. Это Джавал, меланхолично восседающий с утра до ночи у своей кассы, рассказал нам, что среди его клиентов пожилая русская женщина. От Джавала она узнала, что есть у него русские покупатели, попросила наш телефон и вот звонит. 205

— Меня зовут Зинаида Михайловна,— сообщает голос.— Я вас на улице видела, Джавал показал. Я вас сразу узнала: запомнила по телемосту Филя Донахью, когда вы говорили американским корреспондентам в Москве, что в Советском Союзе любят Марка Твена. Это точно, я тоже любила в детстве Тома Сойера. Время-то у вас есть? Хочется поговорить.

— Есть.

— Ну глядите. А то ведь я из перемещенных лиц. Меня в Германию девушкой угнали, работала батрачкой, оказалась на Западе.

— А сколько лет вы живете в Америке?

— А зачем вам? — голос в трубке сразу становится напряженным.— Ну с пятьдесят первого здесь живу, а что? Как приехала, так жила у дочери Толстого под Нью-Йорком, у Александры Львовны. Да что вам о ней рассказывать, вы небось ее не одобряете. Знаю я, как советские к ней относятся, и зря... В последние годы, если хотите знать, когда Сталин умер, она очень к Родине тянулась. Связи не успела просто установить. А вы сами-то как к Сталину относитесь? Я сразу предупреждаю, лично я — плохо. А вы? Видите, молчите, значит, не доверяете...

— Я слушаю вас, слушаю, Зинаида Михайловна.

*Американцы
любят фотографироваться
рядом с картонным
президентом.*

— Чего мне доверять, перемещенному лицу, изменнице Родины...

— Зинаида Михайловна, мы с вами друг друга совсем не знаем.

— Да, конечно... не знаем... А еще объявили — перестройка! Да уж ладно, поговорить хочется. Я вам лучше про войну расскажу, про то, что помню, может, используете где. А то живу одна как сыч, умру, никому свою память не передам. Будете про войну слушать?

— Послушаю.

— Ладно. Значит, просыпаюсь я... — Она, видно, заранее приготовила и отрепетировала свой рассказ и не хотела отклоняться от темы. — Просыпаюсь, значит, — грохот. В последние недели перед войной учебные тревоги часто проводили. Значит, тревога, да. Почему ж, думаю, тревога? По воскресеньям тревог не бывает. Смотрю в окно, воронка. Все равно не верю. Тут по улице грузовик едет с открытой платформой, а на нем убитые лежат. А война вроде еще и не началась, по радио ничего не объявляли.

Дальше пропущу. Дальше эвакуация. Не понравилась мне она. Перрон забит людьми, а начальство уезжает в первую очередь. Разве это справедливо? Для простых людей, вроде меня, места не нашлось. Может, не мытарилась бы я по чужим краям, жила б себе преспокойно в Киеве. Все из-за них, из-за начальников!

— Думаете, без начальников всем бы мест в те дни в эшелонах хватило?

— Это вы что, начальство защищаете или так вопрос задаете? А то дальше рассказывать не стану.

— Вопрос задаю.

— Ну ладно. Вот один начальник, до сих пор помню его лицо, ненавижу, трясусь просто. Встал он на буфет на перроне и речь произносит: «Граждане, не паникуйте, а кто не сможет уехать, готовьтесь к сопротивлению фашистским извергам». Сказал он речь и начал свой буфет в вагон вталкивать. Так народ не дал. Без буфета уехал. Народ у нас не дурак. Все равно он уехал, а я осталась. В оккупации.

Что хочу сказать. Почему всему миру известно больше всего про Бабий Яр? И здесь то же самое... Я свидетель живой. Что хочу заявить. А Дарница? Это тоже окрестности Киева. Поле огромное немцы проволокой обнесли, ток пустили и согнали туда людей. Говорят, там погибло шестьсот пятьдесят тысяч, не знаю, может, и больше. Кого

туда гнали, сама видела, могу перечислить. Солдат, которые в окружение попали, всех национальностей, молодые ребята, красивые, ужас... Потом жители Киева, евреи. С евреями часто русские шли, с детьми, помогали. Прислуга, друзья старые — сама видела. Потом вообще всякие разные люди, которых немцы считали опасными.

— А потом знаете, что со всеми этими людьми сделали? Я-то точно знаю,— голос у Зинаиды Михайловны предательски дрогнул, хотя волнение, по-видимому, не входило в ее планы.— Потом всех раздели почти догола, особенно солдат, оставили ребятам одни гимнастерки. А уже холода начались, осень стояла. Не кормили, избивали. Люди ходить уже не могли, на земле лежали, стонали. Такой стон стоял! Страшно было... Сама слышала...— Она замолчала, молчала 'долго. Потом ровным голосом продолжила:— Умирающих немцы убивали. А одного моего знакомого спасли.— Голос ее окреп.— Побежала одна мать, услышала, что сына арестовали и в Дарницу отправили. А немцы считали, что все на этом поле давно умерли. Ну и начала она рыться в горах трупов, мать ведь. И вдруг соседа видит нашего по дому, и он еще дышит. Сына не нашла, а соседа нашла. Такая судьба... Растормошила она его, помогла из-под проволоки выбраться. Спрятала в одном доме, все жильцы помогали, никто не выдал. Жив он остался, я доподлинно знаю. Я вам только то говорю, чему свидетелем была, мне врать, как многим некоторым, незачем.

— Ну а с вами что случилось?

— Как что? Угнали, как всех девчат молодых угнали. К себе в рабство. Несообразительная оказалась, неуверткая, не смогла схорониться. И в вагон в эвакуацию не воткнулась, и от немцев не убереглась. Поздно спохватилась, нельзя уже было спрятаться.

Что вам про немцев рассказать? Про обыкновенных? Очень люди домовитые, исключительно. Но жестокие, ужас. Не знаю, как сейчас. Может, это у них так в войну было? Отношения у них между детьми и родителями знаете какие? Не поверите! Как старший сын вступит во владение хозяйством, так он строит родителям маленький домик во дворе. То есть выгоняет их из дому. Он теперь хозяин, а они, получается, нахлебники. И наблюдает внимательно, как бы чего старики не съели лишнего. Не верите? Я сама видела. Жена молодого хозяина, к которому меня работать поставили, каждое утро жалова-

лась мужу на его родителей: дескать, мать его исподтишка яйца из-под курицы таскает. А хозяин спрашивает: сколько? А она отвечает: два берет, да я не даю. Правильно, говорит, и не давай, нечего. Ужас, правда?

...Мы разговариваем уже долго, больше часа, но Зинаида Михайловна не собирается заканчивать.

— В Америке после фермы Толстой определилась я на бисквитную фабрику. Чистота — ни чихнуть, ни сморкнуть. Все в белых халатах ходят, называют друг друга докторами. Обстановка — ужас. Условия невыносимые. Гонку устраивают, особенно для новичков. Специально проверяют, выдержит ли человек. Если нет, сразу увольняют. Тяжело. Пока в профсоюз не приняли, вроде ты не людь. А приняли, тоже не лучше. Профсоюзы начальством куплены, делают, что хозяева велят. Но разве это все сразу поймешь?

А лечение? Плохо становится, когда здоровье теряешь. Особенно сейчас плохо стало. Лежала я недавно в больнице. Одна койка — триста долларов в день. И все остальное — тоже не бесплатно. Ни укол пенициллина, ни таблетку аспирина — ничего просто так не сделают. Сразу счет предъявляют: двадцать пять, пятьдесят, двести долларов. Раньше с больницами полегче было, раньше можно было отпереться. Предъявят тебе окончательный счет, а ты себя банкротом объявляешь, дескать, суммы такой у меня нету. Похлопочут, поругаются и забудут. А сейчас — нет: придут, опишут имущество, продадут с молотка. Для бедных людей всегда плохо, когда у власти республиканская администрация. А рейгановская — самая плохая была для нас. А жилье? Вы-то сами в каком доме живете?

— На 72-й улице, угол Йорк-авеню, в новом доме.

— О, я ваш дом знаю, вижу из окна. А я на 73-й, в старом доме.

— Это в каком же? Мы там каждый день ходим...

— Неважно в каком, в очень старом, он уже разваливается, к тому клонят. Цены у нас дешевые, но я просто дрожу. Все мы, жильцы, ждем, что нас выселят, чувствуем просто.

— Почему?

— Да спекулянты уже начали скупать дома по нашей улице. Хозяину мы тоже невыгодны, квартиры у нас с контролируемой рентой, платим квартплату, как сорок лет назад. Кому это интересно? Продаст он свой дом с землей, а на этом месте жулики дорогой небоскреб

построят, вроде вашего. Я помню, что на месте вашего дома было...

Она помнит, что было на месте нашего дома. Что ж, Зинаида Михайловна живет здесь скоро сорок лет. А мы последние два года наблюдали, как сносили дом напротив нас, солидный шестиэтажный дом с колоннами, с высоченными потолками, кирпичный. Он был так крепок, что его долго не могли взорвать, все долбили, и на каждом этаже открывались новые несокрушимые колонны... Потом долго долбили яму, новый фундамент — главное дело при строительстве небоскреба. Забивали железобетонные сваи. И вот небоскреб стремительно растет — этаж в неделю. Не успеем оглянуться, как он загородит от нас вид на реку.

— Мне бы умереть прежде, чем хозяин нас на улицу выгонит, — говорит Зинаида Михайловна. — В нашем доме 209
шантаж уже всюду начался. Знаете это английское слово «харасмент», угрозы? Надо мной, например, уже живет бесплатный жилец. Зачем? А в газетах не читали? А я вам не из газет, из жизни... То водой зальет из водопровода, то канализация хлещет, то стучит, мочи нет, штукатурка на голову валится. Сколько к нему ни хожу — бесполезно. Чтоб я съехала, хотят! Чтоб нервы сдали. Да я б давно съехала, если б деньги были.

Она рассказывает, а я понимаю, что ее рассказ — только начало трагедии, результаты которой так легко прослеживаются в нашем квартале. Результаты эти она наблюдает каждый день, потому так и боится.

...На 71-й улице между Первой и Йорк-авеню на ступеньках церкви круглый год сидит милая, интеллигентная, необычайно чистенькая старушка — бездомная. Совсем недавно она жила в одном из таких небольших дешевых домов. Дом снесли. Уезжать из своего района старушка не хочет, денег снять приличное жилье нет. Вот и «переселилась» она на улицу. Каждое утро ее приходит навещать богатая старушка, постоянная ее опекунша, приносит ей горячий кофе и бутерброд, протирает ей лицо и руки лосьоном. Они долго мирно беседуют — о погоде, кто как провел ночь. Богатая старушка возвращается домой, мимо бездомной весь день бегут люди: место бойкое, в конце квартала огромный Нью-Йоркский госпиталь. Люди привычно подают четвертаки, которые она не просит: ведь деньги, в сущности, и не очень нужны, много ли требуется для пропитания старушке, а на жилье подаванием не соберешь. Люди бегут мимо, а она все сидит — в жару и в снег, в дождь и в ветер. Только ночевать уходит

в церковь. В этот год старушка зимовала нарядная: в старенькой, но красивой норковой шубке — тоже чье-то благодеяние.

На 79-й улице еще одна бездомная, женщина средних лет. Та явно безумна. Целыми днями она стоит над тумбой для мусора и воображаемой щеткой яростно чистит зубы, со страшными гримасами открывая рот. Где она жила прежде? Почему облюбовала именно этот угол? Не знаю. Но вот уже год, как она не покидает свой пост.

210 Еще одна, рыхлая, полная, женщина целыми днями лежит на газетах на 69-й улице, привалившись спиной к стене дорогого ресторана. Она в некоторой степени знаменитость, о ней писали газеты. Ее пытались увезти в ночлежку, давали комнатку, но нет! Она хочет жить только в своем бывшем районе, а в бывшем так дорого, что никто не может ей помочь. Здорова ли она? Очевидно, не совсем, но факт остается фактом, уезжать она не хочет и милостыню не принимает: какие-то свои маленькие деньги у нее есть.

...Все это наши соседи, часть нашего, как здесь говорят, «комьюнити», то есть сообщества, которое разделено как бы на три мира.

Мир новых, блестящих стеклом и бетоном небоскребов.

Мир четырех-пятиэтажных домов.

И мир бездомных.

Мы с нашей соседкой по месту жительства принадлежим к разным мирам, и именно это обстоятельство она и подчеркивает.

— Да кто в вашем доме-то живет? — говорит Зинаида Михайловна. — Одни богачи. А на лица их поглядите? Вылитые жулики.

«Жулики». Это у нее классовая горечь, но то, что не бедные, — это точно. Люди среднего достатка в таких домах поселиться не могут.

Сорок этажей. На крыше — смотровая площадка, откуда открывается вид на весь город. На специальных треножниках в прорезях заградительной стены стоят мощные бинокли. В них можно разглядеть и соседние улицы, и далекий серый Гудзон, и корабли, которые плывут по реке. С другой стороны через нашу реку виден остров Рузвельт-Айленд, куда жители добираются на подвесном красном трамвайчике. С третьей — голубоватый, подсвеченный к вечеру солнцем, сверкающий разлив Ист-ривер и мосты, мосты, синий, бурый, красный...

По ним днем и ночью несутся машины, многие из них в сторону аэропортов Кеннеди и Ла Гардиа. На крыше стоят зеленые бочки с деревьями и вазоны с цветами. Цветы каждую неделю меняют. Еще на крыше есть специальный зал для банкетов, мягкие кресла, удобные деревянные столы. Собственно, банкетных залов два — открытый с видом на реку и закрытый — на случай дождя.

А внизу, на первом этаже, — бассейн олимпийских размеров, баня, сауна, комната с кварцевыми лампами, зал для гимнастических снарядов — «джентльменский набор» каждого нового небоскреба. За все это надо платить, и немалые деньги. Люди, живущие в таких домах, платят. Они берегут здоровье.

Еще на первом этаже есть зал, где стоят стиральные машины. Стирка в этом доме — дорогое удовольствие. 211 Гораздо дороже, чем в среднем в городе. Есть в доме и химчистка, где чистят одежду в течение суток.

...В нашем доме живет много международных чиновников. За жилье платят, как правило, их компании. Снимает в этом доме квартиры и советская миссия при ООН. Именно она и порекомендовала нам этот дом. Живет в доме и много просто скупающих людей, чаще всего приезжих.

Сороковой этаж занимает сын нефтяного магната из Техаса. Маленького роста, смуглый, необыкновенно толстый, он живет один. Каждое утро, заспанный, с заплывшим лицом, он выгуливает возле дома свору черных собак разнообразных пород. Наряд — майка, шорты, шлепанцы. Зимой на майку накидывается коротенькая, необъятной ширины дубленка, шорты и шлепанцы при этом остаются. Каждый вечер техасец принимает гостей — это худые, как спички, блондинки, прибывающие одна за другой в великом множестве. Блондинки приезжают на дорогих машинах, портье достают из их багажников корзины с вином и фруктами, на грузовом лифте отправляют на сороковой этаж. Каждый день под самым небом идет гульба.

Парень из Техаса доброжелательный и разговорчивый. Делать ему абсолютно нечего. Он часами стоит на солнышке возле подъезда, почесывает голый живот, болтает со швейцарцами, задирает разговорами проходящих жильцов, кое-кого (из тех, кто ему приглянулся) — настойчиво приглашает в гости.

Но техасец скорее исключение из всеобщего правила. Так же как исключение и живущие в доме иностранцы.

Иностранцы — англичане, французы и мы, советские, — здороваются друг с другом, бывают друг у друга в гостях. Мы из Европы. Так или иначе мы закинуты в чужой мир, в иную цивилизацию. Мы узнаем друг друга издали — по походке, манерам, по неторопливому разговору. Словом, живя каждый очень обособленно, мы все же в какой-то степени держимся друг за друга. И когда однажды наш сосед, молодой англичанин, устраивает прием по случаю приезда своей матери из Лондона, мы все дружно смеемся: среди многочисленных гостей не оказалось ни одного американца. И случилось это совершенно непреднамеренно. Сосед сам удивился, обнаружив столь странное обстоятельство. Но понять его можно.

212 ...Летит лифт, попискивая на каждом проносящемся этаже, отщелкивая их на электронном табло над дверью, входят и выходят люди. Все друг друга давно знают, но никто не раскланивается. Отношения в нашем доме сугубо обезличенные. Каждый входящий — словно еще одна стенка. Тебя просто не видят, как говорится, в упор.

Может быть, это просто законы Большого Города, где всем некогда, все куда-то спешат?

По утрам, когда битком набитый лифт летит вниз, почти у всех в одной руке атташе-кейс, в другой — кружка с кофе и сэндвич. Завтракать люди предпочитают по пути на работу.

Вообще-то наш дом, заселенный всего лет пять назад, уже устарел: по нынешним теориям нью-йоркских градостроителей дома человеку куховарить некогда и незачем. Поэтому в самых последних небоскребах уже встроены краны с кипятком: нажал, плеснул в кружку кипятка, кинул ложку растворимого кофе, добавил молока и понесся на работу — ни одной секунды промедления. А вечером, когда времени побольше, можно позвонить в соседний ресторанчик, заказать еду — ее привезет мальчишка на велосипеде. Можно зайти по пути с работы в супермаркет, купить то, что нужно. Все купленное вскоре привезут уже на более вместительной тележке...

Такую жизнь, в сущности очень удобную для обеспеченного делового человека, предлагает своему жителю современный город Нью-Йорк.

Но в небольших домах (если это не особняки) — совсем другая жизнь, и живут там совсем другие люди. И нет там никаких лифтов, нет «деска», где стоят телевизоры и контролируют, кто вошел, нет охранников, которые каждые три часа с оружием в руках обходят

этажи (как это было вначале в нашем доме). Нет и никаких мусоропроводов. На улице возле каждого нормального дома существует площадка, на стене над ней написано: «Место для мусора». Туда, прямо на тротуар, выносят свой мусор в стандартных черных мешках большинство жителей города. Горы аккуратно сложенного мусора — отличительная черта Нью-Йорка.

— На нашей улице, слава тебе господи, небоскребов пока нет, — говорит Зинаида Михайловна. — А то только начни — быстро все снесут! Какая у вас была улица, ваш кусок я имею в виду! Тихая, красивая, загляденые просто! Вся плющом увита, в конце набережная, зайти туда было приятно, постоять, воздухом подышать. И люди какие жили, нормальные... А теперь? Как псы накинудись! Рвут на части! О вашем хозяине даже в газетах писали. 213 Обещал нам парк вдоль набережной Ист-ривер насадить. Ведь не набережная — срам, одна пылица. Слово городу дал, в благодарность, что здесь строить разрешили. А сам? Да плевать им на людей, кто здесь небоскребами занимается. Преступники они, жулье, только за руку их никто не хватает. Заплатил городу штраф два миллиона — и все довольны. И никакого парка. Штраф ему дешевле. Слышали об этом?

— Слышал. В газетах читал.

— Вам газеты, а у меня мечта была, буду, думала, на старости лет у реки под деревьями сидеть, глядеть, как баржи мимо проплывают, Днепр вспоминать. Как же, с ними помечтаешь! Сдохнешь, прежде чем справедливость наведут.

— Зинаида Михайловна, так где вы все же живете на 73-й улице?

— Не скажу, рядом живу, окна ваши вижу.

Я прикидываю. Все ясно. Конечно, это маленький квартал между Йорк и 1-й авеню. Ведь на углу Первой есть свой газетный киоск, свой индеец продает там газеты. Скорей всего это даже та самая сторона квартала, где живет наш знакомый чех. Да, скорее всего так.

Чех — высокий пузатый старик с удивительно благостным выражением лица. Весь день он проводит на улице, где с нами и познакомился. Он одинок. У него есть только черный кот. Кот огромный, старый, солидный и ходит за своим хозяином по пятам. Чех живет на первом этаже. Обычно он стоит у окна своей квартиры и беседует с котом (если нет других собеседников). Кот сидит на подоконнике, монументально возвышаясь над цветущими

красными геранями. Но едва хозяин делает хоть шаг в сторону, как кот, пружиня, перемахивает через герани на тротуар, трется у его ног и отправляется вослед. Иногда они вместе переходят улицу. Булгаковская сцена, когда они шествуют рядом!..

С чехом мы всегда останавливаемся поговорить. Он священник, родился и прожил всю жизнь в Нью-Йорке, сейчас на пенсии, но каждое воскресенье ездит в Квинс на воскресную службу в свою церковь. Еще наш знакомый — большой гурман. Мы часто встречаем его в окрестных ресторанчиках и в знаменитой кондитерской на 86-й улице, которая славится своей пекарней. Чех заглатывает пирожки с фруктами.

214 ...Чехов в нашей округе много. Рядом угол 74-й Йорк-авеню, церковь Яна Гуса. Угол 72-й и Йорк — тоже чешская церковь. А еще есть и третья — на 1-й авеню и 68-й, величественная, с большим куском земли. Тут же чешские деликатески и магазины, где торгуют колбасками, кнедликами, есть и ресторанчик чешский, и сувенирная лавка. Там продаются товары из Чехословакии.

В конце семидесятых улиц — царство венгров. Венгерские магазины, колбасный (называется он почему-то «Володя»), дорогой ресторан, дома, где живут в основном венгры.

В начале восьмидесятых улиц появляются немецкие названия. В витринах висят окорока и копченые колбасы, гирлянды сосисок. И наконец, на 82-й улице — кульминация, знаменитый деликатесный магазин «Бремен хаус», Бременский дом. Продавщицы говорят там по-немецки, слышится тихая музыка: Моцарт, Бах, Вивальди. Народу там всегда мало, магазин дорогой.

Ну а после немцев начинаются старые русские кварталы. 96-я улица — это адрес многих знаменитых русских фамилий. Достаточно поглядеть в справочную книгу Нью-Йорка — Кочубеи, Трубецкие, Шереметьевы... В этих кварталах давно поселилась послереволюционная русская эмиграция.

96-я улица сегодня — это край «белого» Манхэттена. Дальше начинается испанский Гарлем, дальше и кабельный канал телевидения не проведен: нет желающих платить лишние деньги за дополнительные программы.

Но почему Зинаида Михайловна живет не на «русской» улице, если она всего в двадцати блоках от ее дома? Прежде всего, наверное, это случайность. Работала где-то рядом, сумела снять дешевое жилье... Но, с другой сторо-

ны, есть в ее отделенности от русской колонии и своя закономерность. Зинаида Михайловна принадлежит к иной волне эмиграции. Дело не в том, что она приехала сюда на тридцать лет позже. Приезжают и другие, из Бразилии, Аргентины, из Австралии, и если по рождению они принадлежат к русскому дворянству, то и снять квартиру пытаются недалеко от своих. Зинаида Михайловна — чужая. Различные волны русской эмиграции практически не общаются и плохо осведомлены друг о друге. Сильно сомневаюсь, что Зинаида Михайловна знает что-то о жильцах 96-й улицы. И коротает свою жизнь она рядом с чехами, венграми, немцами. Русские рядом, но барьер высок, не перепрыгнешь.

Кстати, вспомнил: наш жизнелюбивый чех тоже нередко заводит разговор о жилье. Он живет в своем доме 215 более полувека, платит гроши. Но что с ним будет, если дом снесут? «В крайнем случае перееду поближе к своей пастве, в Квинс, там подешевле, там я как-нибудь справлюсь,— вздыхает он.— Но здесь меня все знают, и я всех знаю, не хотелось бы отсюда уезжать. Здесь дружное старое землячество. Правда, и у нас становится опасно жить. Вечером ходите только по моей стороне улицы,— предупреждает он нас.— На той стороне в доме напротив поселились какие-то подозрительные субъекты. Меня-то они не тронут, а вот вас... не уверен...»

Конечно, они его не тронут, потому что он свой, а своих по неписаным законам не трогают. Он свой: по нью-йоркской традиции он каждый вечер заседает на крыльце своего дома. Почти на каждом крыльце в старых домах собираются по вечерам большие компании — жильцы окрестных домов. Крыльцо выполняет в Нью-Йорке роль нашей общественной скамейки возле подъезда. Там располагаются на ступеньках люди самых разных возрастов, просто и удобно одетые. Они пьют пиво из банок, коку, пепси, иногда перебрасываются парой фраз.

Это совсем другой мир, мир простых людей. Здесь, приходя с работы, никто никуда не торопится. Здесь никто не заботится специальным образом о своем здоровье. Здешние жители почти не ходят в бассейны, не бегают до и после работы по улицам, как это делают изможденные от рационального питания сухопарые нью-йоркские интеллигенты. Здесь и телевизор-то особенно не смотрят, хотя принято почему-то считать, что все американцы только и делают, что проводят вечера, уткнувшись в телевизор.

Здесь еще живы старые традиции, идущие с незапамятных времен, — посидеть на улице с соседями, поглядеть на тех, кто проходит мимо, подышать воздухом, обменяться новостями...

Помню, в первый мой приезд в 1960 году эти мирные сцены глубоко меня поразили. Уже тогда они казались отголоском давно ушедшей эпохи, исчезающими островками человечности. Но вот прошло почти тридцать лет... Нет, по-прежнему сидят как ни в чем не бывало. Разница только в одном — небоскребы начали бурно теснить эти патриархальные островки. На Манхэттене, по крайней мере на Верхнем Ист-Сайде, где так дорога земля, дни их, по-видимому, сочтены.

216 ...Три мира соседствуют в наших окрестностях, сказал я: жители небоскребов, жильцы опустившихся малоэтажных домов и бездомные. Но есть и четвертый мир. И пятый.

Четвертый — это люди, обслуживающие небоскребы, проводящие здесь — по времени — большую часть жизни. Швейцары, электрики, монтеры, работники гаражей, почтальоны. Зарплата у них мизерная, работа тяжелая, живут все они, как правило, очень далеко. «На Манхэттене могут жить только те, у кого большие деньги, — сказал наш швейцар Чарли, худощавый, интеллигентного вида черноглазый итальянец с большим природным чувством собственного достоинства. Чарли под сорок, жены нет, он часто дежурит по воскресным дням, за которые платят сверхурочные. — Вот в этом доме живет дочка президента авиационной компании «Американ Эйрлайнз». А так, если за квартиру не платит фирма, кто может себе позволить? Возьмите Джорджа, поглядите на его жизнь...»

Джордж — наш почтальон. Я часто встречаю его на улице. Улыбаясь слабой улыбкой, он катит тяжеленную тележку с почтой. Джордж очень тощий, длиннорукий, в синей фирменной гимнастерке с нашивкой почтового ведомства — стремительным орлом — на груди. Человек он простодушный и общительный. Мы разговариваем, когда он распаковывает свои огромные холщовые мешки в холле. Джордж каждый день непременно что-нибудь сообщает мне о перестройке и гласности. Он внимательно следит за событиями в нашей стране.

— Когда же вы читаете? — спросил я его однажды.

— Сам не понимаю, как успеваю, — ответил он. — Я же на двух работах. С шести утра до шестнадцати

тридцати в почтовом ведомстве. Потом еду на Уолл-стрит. Знаете «Всемирный торговый центр»? Там на 110-м этаже есть ресторан «Окно в мир». Там у меня вторая работа, с пяти вечера и до полуночи. Там я работаю помощником повара.

— А сколько часов вы спите?

— Три часа в сутки, с часу ночи до четырех. В четыре вскакиваю, завтракаю и еду в почтовое отделение. Высыпаюсь в воскресенье — сплю целый день.

— Все равно это выше человеческих сил!

— А что поделаешь? На одну зарплату не проживешь. Может, поднакоплю денег, встану на ноги, бизнес какой-нибудь маленький заведу, женюсь. Хотел получить образование, не удалось. Вот и расплачиваюсь.

Я вспомнил рабочего нашего гаража: молодой совсем 217 парень, латиноамериканец, тоже работает на двух работах в двух гаражах. А гаражи в Нью-Йорке — это работа на износ, сплошные выхлопные газы, запах бензина, жара, надо все время ловко выводить и вводить машины на освободившиеся места. Все гаражи в Нью-Йорке не только для постоянных клиентов, но и для желающих с улицы. Есть место — заворачивай, плати за парковку долларов десять — пятнадцать. Дикая деньги! Но уж за такие деньги надо, чтобы все было побыстрее. Вот и крутятся рабочие гаража с утра до поздней ночи. Однажды наш парень исчез, оказалось, попал в автомобильную катастрофу. Через два месяца он появился, бледный, с костылем в руках, нога была еще в гипсе. Но каким-то образом он умудрялся при этом работать. «Выхода нет», — объяснил он мне.

Странное дело, официально в Америке принята сорока-часовая рабочая неделя. На самом деле миллионы людей работают за двоих. Чаще всего это люди неквалифицированные, без образования, их труд очень дешев. На одну зарплату действительно в таких случаях не проживешь.

При этом в стране существует несколько миллионов безработных.

Но в таких городах, как Детройт, например, многие рабочие автомобильных заводов работают нередко все шестьдесят, а не сорок часов в неделю. Это удобно предпринимателям: не надо отчислять лишние деньги в различные профсоюзные фонды. Чем меньше людей работает, тем выгоднее.

А безработные члены профсоюзов ждут своей очереди. Но принимать их на работу? Зачем, если есть люди,

готовые работать сверхурочно. Механизм прост и эффективен. Жизнь дорожает, всем нужны деньги.

...И нашим швейцарам, и почтальону, и ребятам из гаража кажется, что трудности у них временные, еще немного и удастся вырваться — еще год, другой, третий. Но часто это не удается. Люди устают, изнашиваются, застревают на своих местах надолго, иногда на всю жизнь.

...Зинаиде Михайловне положено по своему социальному статусу смотреть на этих людей чуть свысока: все они горемыки, неудачники, неумехи. А она все в жизни успела: хоть и работала на бисквитной фабрике, но вовремя обзавелась жильем в приличном месте. Как ни говори, пока что она жительница одного из самых престижных районов города. Аппер Ист-Сайд — наиболее дорогая
218 часть Нью-Йорка.

Все это так — для непосвященных. Но в свою очередь «горемыки» и «неудачники» тоже знают о ней правду. Перекресток улиц, где она живет, — это медленно умирающее, случайно сохранившееся захолустье.

На всех четырех углах 73-й улицы стоят невысокие обветшалые дома. На первых этажах в них расположены дешевые закусочные. Здесь вечно трудно проехать, тут останавливаются большие траки, грузовики, мусорные машины: шоферы покупают себе перекусить. Здесь собирается на ланч рабочий люд. И строители небоскребов в обеденный перерыв тоже приходят сюда: покупают сок, бутерброды, садятся прямо на тротуар, прислоняются к стенам домов, вытягивают ноги — белые, негры, индейцы. Индейцев особенно много, их охотно принимают на верхолазные работы: индейцы не боятся высоты.

Но всего четыре минуты ходьбы вниз по Йорк-авеню, и вот уже перекресток 72-й улицы.

С одной его стороны старый солидный небоскреб, у входа в который вечно бьет фонтан. С другой — старинный дом. За ним наш дом-небоскреб. А на той стороне улицы — госпиталь для престарелых, возле которого утром и днем гуляют по тротуарам немощные люди с сиделками. Кто ходит сам, кого возят в коляске. Напротив госпиталя здание знаменитой лондонской фирмы «Сотбис».

«Сотбис» — это пятый мир, мир, в который практически не вхож ни один из обитателей нашей «коммьюнити». Здесь, прямо под нашими окнами, «Сотбис» проводит свои знаменитые аукционы. Здесь продали недавно картину Ван Гога за три с лишним миллиона долларов.

Здесь Мане, Тулуз-Лотрек, Пикассо — обычный, рядовой товар.

«Сотбис» — серое, вытянутое в глубину квартала не-приметное здание — вместилище сокровищ со всего мира, которые постоянно обновляются. Аукционы проводятся раз в месяц, иногда чаще.

Из наших окон сверху многое видно. Видны небольшие статуи, стоящие на подоконниках. Исчезают одни, появляются другие. Видно нам и то, что стоит на тротуаре. А на тротуаре у нас часто выставлен Генри Мур. Америка — богатая страна, и «Сотбис» бойко торгует скульптурами великого англичанина. Они так велики, что в залах не помещаются, и потому так и стоят на улице, дожидаясь покупателей. А вдруг их возьмут да и украдут под покровом ночи? Но нет, вес скульптур огромен, на что, очевидно, и рассчитывает руководство «Сотбис», оставляя их по ночам без присмотра. 219

Замечает ли Зинаида Михайловна, проходя мимо, скульптуры Генри Мура? По моим наблюдениям, американцы не обращают на них никакого внимания. Полуабстрактных, абстрактных и всяких других скульптур в городе много. Человеку, не причастному к искусству, в них не разобраться. Замечает ли? А может она вовсе и не проходит мимо? Может, она живет целиком в кругу своего перекрестка? Свой газетный ларек, свой супермаркет (он расположен на 1-й авеню), своя прачечная (как раз рядом с ее домом).

Это ведь тоже миф — что житель Нью-Йорка человек динамичный и легкий на подъем. Настоящий горожанин предпочитает делать покупки только в своей округе. Своя привычная деликатеска, своя парикмахерская, химчистка, свои ресторанчики, пиццерии, свой «Макдональдс», свое отделение банка.

В привычке к «своим» торговым и обслуживающим «точкам» — бережение времени занятого человека. В этом и автоматизм, сберегающий нервную энергию: ни минуты на размышления и поиски, все товары стоят на своих привычных местах, их можно снимать с полок хоть с закрытыми глазами.

Есть в этом и еще один плюс: знакомые продавцы, знающие твои вкусы. Это и удобно и приятно, особенно если человек одинок.

В самом деле, зачем Зинаиде Михайловне ходить на наш перекресток? Пять минут, а совсем чужой мир. Мир черных лимузинов с шоферами, где каждый шофер тоже

изрядный барин. В дни аукционов «Сотбис» лимузины буквально закупоривают нашу улицу. Как грузовики и траки мешают проезду на перекрестке 73-й, так черные «лимы», «мерседесы» и «феррари» мешают проезду на углу 72-й. А из лимузинов выходят покупатели-коллекционеры — посланцы иных миров. Это те, кого здесь называют «суперрич» — супербогатые. Они и одеты иначе, совсем не так, как идущая мимо толпа, а толпа состоит из людей вовсе не бедных. И выражение лиц у них какое-то другое. Какое? Отрешенное от этих мостовых, от этой толпы. Можно подумать по неопытности, что это и впрямь великие знатоки и любители живописи, рафинированные ее ценители.

220 Но состав покупателей разнороден. Большинство стараются по возможности умело вложить деньги. Это во-первых, а во-вторых, здесь к тому же одна из главных в городе ярмарок тщеславия. «Да вот купил вчера картину у «Сотбис». Ах, вы уже читали в газетах?..»

Когда все остальное давно есть, коллекционирование превращается в один из самых могучих способов самоутверждения. Это знают художники. Это умело используют владельцы галерей. Естественно, попадают и настоящие ценители, такие, как Меллон, подаривший часть своей огромной коллекции Национальной галерее в Вашингтоне, такие, как покойный Флик. Маленький музей его имени на 5-й авеню, завещанный им городу, — это собрание шедевров. В музей входишь, как в учебник истории искусств: все картины хорошо знакомы по репродукциям.

...В «Сотбис» всегда толчется немало народу. Но никогда я не видел людей, входивших в его двери просто так, с улицы — поглазеть, полюбопытствовать. У подъезда как бы установлен невидимый опознавательный знак, который американцами прочитывается молниеносно: только для определенного круга, куда ты не вхож. И человек не входит, впрочем, не чувствуя себя особенно ущемленным.

«Сотбис» — место, куда не заглядывают жильцы нашего дома: люди, казалось бы, небедные, но зарабатывающие в основном деньги своим трудом, своей высокой квалификацией. «Сотбис» не для них. А мелочишку покупать непрестижно. Тогда зачем заходить? Может быть, только техасец с сорокового этажа осилил бы некоторые из цен «Сотбис». Но, похоже, он пока не втянулся в светскую жизнь Большого Города, до искусства пока не дорос.

Только однажды я видел его стоящим возле той площадки, где обычно выставляется Генри Мур.

На этот раз на месте Генри Мура были выставлены два «мерседеса», один модели 1932-го, второй — 1934 года. Желтые, с высокими кабинами, необыкновенно красивые, настоящее ретро! — они были в отличие от беззащитного Генри Мура огорожены веревочкой. К ним стояла длинная очередь. Люди терпеливо ждали. С краю стоял наш техасец со сворой собак и счастливо улыбался — это зрелище ему нравилось. В очереди теснились и мужчины и женщины.

Была ли среди них Зинаида Михайловна? Сомневаюсь. Автомобиль — американская любовь, а она русская, попала в Америку поздно.

«Мерседесы» исчезли со смотровой площадки гораздо 221 быстрее, чем статуи Генри Мура. Кто-то их купил, кто-то будет ездить на них, а кто-то останавливаться и долго глядеть вслед.

Помню, однажды мы возвращались на машине в Нью-Йорк из старого городка Патерсон. Сейчас это тихий, сонный городишко со множеством зеленых лавок. В 20-е годы Патерсон гремел забастовками, здесь выступали вожди американского рабочего движения, здесь были сильные профсоюзы, здесь лилась кровь. Никаких следов истории в Патерсоне нет.

Уже на подъезде к Нью-Йорку мы попали в пробку. Был час «пик». Рядом с нами остановилась кавалькада вот таких же «мерседесов» 20—30-х годов. В них сидели мужчины во фраках и женщины в вечерних туалетах. На машинах были номера Патерсона.

«Большие деньги, — сказал нам усталый контролер в будке, где принимают плату за проезд через мосты. — Большие деньги из Патерсона едут веселиться в Нью-Йорк».

Может быть, эти музейные «мерседесы» были проданы «большим деньгам» на аукционе «Сотбис»? У нас на углу? Вполне вероятно. Только зачем Зинаиде Михайловне ходить на этот угол? Незачем.

А может, она, как и наш знакомый чех, как и многие другие наши соседи, к лицам которых мы давно пригляделись, тоже сидит по вечерам на крылечке? И я каждый день прохожу мимо, не зная, что она — это она.

А она каждый день провожает меня взглядом...

— Зинаида Михайловна, — говорю я в телефонную трубку, — знаете, сколько мы уже говорим? Скоро два часа. Давайте лучше встретимся.

— Ну уж нет, это в мои планы не входит.

— А мы с женой приглашаем вас в гости.

— А чего мне к вам ходить-то? К себе б позвала, да стесняюсь. Комната у меня одна, в ней ванная стоит за перегородкой и холодильник. Вот и все. Нет, не буду я вас звать. Пригласишь советских к себе, а вы и распишете: в нищете, дескать, предатели родины живут. А я вовсе не предатель, я жертва. И вообще... Зачем мне это на старости лет?

— Ничего я расписывать не буду.

— Может, и не распишете, может, вы и порядочный окажетесь. Вы меня тоже поймите. У меня дочь, муж у нее американец. Дети у них растут. Где живут? Во Флашинге. Зачем это им, советские? Вдруг снова против России дела повернутся? Мне-то что. А им и припомнят, за мамочку. Я уж тихо доживу ради детей, без приключений. Вот только поговорить с советскими тянет.— Она помолчала.— Жизнь прошла... И чего меня к вам тянет, сама не пойму. Вернуться все мечтала, когда молодая была, при Сталине. А как при нем вернешься? Страшно...

— Зинаида Михайловна, а может, вы свой номер телефона мне дадите?

— Ни за что!

— Тогда, может, сами нам позвоните? Зайдете когда-нибудь, всего-то пять минут расстояние.

— Не знаю,— расстроилась Зинаида Михайловна.— Может, и позвоню, я и половины из своей жизни не рассказала...

Больше она не позвонила.



**БРАЙТОН БНЧ
И ВОКРУГ НЕГО**



Гаснет свет, начинается фильм.

— Это Янковский,— раздается громкий басовитый старушечий голос.— Как постарел!

— Shut up! Заткнитесь! — вмешивается кто-то из американцев.

— Сам заткнись,— отвечают голосу из темноты по-русски.

— Да, это Янковский,— дребезжащим голосом подтверждает невидимый старик.— Он постарел.

В зале свист, топают ногами.

— Почему они свистят? — снова так же громко по-русски спрашивает старик.

225

— Им нравится наш Янковский,— объясняет басом старуха.— Американцы свистят, когда им нравится.

— Все у них наоборот,— это старик.

— Shut up! Заткнитесь! — не унимаются американцы в зале.

— Замолчите,— по-русски старикам.

— Какие здесь крикливые люди! — старуха.

— Давай смотреть,— старик.

— Они что, глухие? — в зале по-русски. Громко по-английски, на весь зал: — Они глухие!

И все наконец замолкают и принимаются смотреть.

...Первый раз в Нью-Йорке на Линкольн-плаза идет «Ностальгия» Андрея Тарковского. Утро. Но публика собралась отборная, городская элита, кинокритики, киноманы, слависты. И эмигранты. Американцев, пожалуй, больше.

...Ходит и ходит по итальянскому городу Олег Янковский, камера медлит, останавливается, показывает лики святых, мучается вместе с героем.

— Я ничего не понимаю,— объявляет старик громко.

Зал молчит.

— Это он скучает по Москве,— объясняет старуха.

— Я тоже скучаю,— обижается старик.— Он скучает медленно.

— Не отвлекайся, смотри, как красиво.

*Здесь живет
средний класс.*

И зал смотрит дальше. Янковский знакомится с местным безумцем, Янковский старается перейти бассейн и не загасить свечу, это может спасти мир. Янковский вспоминает жену, дом, тянется туман над озерами, звучит протяжная русская песня. Звонит телефон, Янковский берет трубку.

— Кто звонит? — спрашивает старик.

— Это звонок с нашей Родины, — объясняет старуха.

— Ну...

— Что ну... не знаю.

— Он тоже не знает, бедный Янковский...

— Бедный... А ты знаешь?

— Замолчи!

Идет фильм, актеры говорят то по-русски, то по-итальянски, зал читает английские титры.

Кто-то в зале начинает тихо плакать, безнадежно и неостановимо. Вот и еще кто-то заплакал.

— Ностальджи, ностальгия, — удовлетворенно отмечают вполголоса американцы, киноведы-киноманы.

Старики громко бубнят свое, с помощью хорошо им знакомого Янковского на весь зал разъясняя друг другу собственную судьбу.

...С этого дня мы не верим, что Тарковский сложен и метафоричность его не всем понятна. Если уж, как говорится, подопрет, то он прост и ясен в главном, в данном случае — ностальгия. И метафоры его не требуют расшифровки.

Выходим из кинотеатра. В дверях сталкиваемся с юношей лет восемнадцати. Типичный американец. Нет, он русский. На хорошем русском спрашивает:

— А «Агонию» вы вчера видели?

— Где?

— В Бруклине, могу дать адрес.

— Хотели поехать, да побоялись, билетов не достанется.

— Правильно, но попытка не пытка, — с удовольствием произносит он русскую поговорку. — Все билеты давно проданы.

— Ну и как «Агония»?

— Хорошо.

— А Тарковский?

— Гениально. Вы из Москвы?

— Да.

— Работаете здесь?

— Да.

— Постарайтесь попасть на «Агонию», все же впервые... государь император в кино...

Выходящая толпа разводит нас в разные стороны, нас и мальчика, видимо, из семьи послереволюционной эмиграции.

Фильм длинный, середина дня, Бродвей уже полон, разноплеменная толпа катит по своим делам.

...Проходит несколько лет. В том же кинотеатре премьера «Жертвоприношения». Тарковский еще жив, еще есть надежда, что он поправится. Снова киноведы-киноманы, снова эмигранты. Но старика со старухой уже нет.

2

227

Большинство наших соотечественников — составляют его, естественно, не профессора, писатели и художники, а в основном это недавние провинциалы — живут в Нью-Йорке на Брайтон Бич, районе Бруклина, непосредственно примыкающем к знаменитому Кони-Айленду.

Кони-Айленд — первый в мировой практике громадный комбинат массовых развлечений. «Dreamland», земля грез. Сюда уже в начале нынешнего века приезжали отдохнуть и повеселиться тысячи жителей Нью-Йорка. Старинные путеводители города указывают около двадцати способов попадания на Кони-Айленд и Брайтон Бич — паромом, паром, троллейбус, поезд, лошади. Оба места тянутся вдоль широких песчаных пляжей, что придает им особую привлекательность.

Сейчас эта поездка от Бруклинского моста на Ист-ривер минут на сорок, не больше, и вот уже издали видно знаменитое «чертово колесо» (какое оно маленькое!), первые американские горки, которые здесь почему-то называют русскими. На каждом шагу закусочные, сосиски, мороженое, бегают дети. Все очень скромно, если сравнивать с грандиозными аттракционами Диснейленда в Лос-Анджелесе, и уж тем более — по размерам — с Диснейуорлдом во Флориде, оборудованными по последнему слову электроники.

На Кони-Айленде все проще, естественней, бедней. Но все начиналось здесь: и аттракционы инсценированных огромных пожаров (прошел почти век, а Нью-Йорк по-прежнему почему-то беспрерывно горит, и по-прежнему круглые сутки напролет воют пожарные сирены), и темные страшные тоннели, по которым провозили в те-

лежках зрителей. В начале века перед входом в тоннели красовалась суровая надпись, которая сейчас читалась бы как милая шутка: «Целоваться запрещено».

Здесь же рядом карусели, цирки, бродят клоуны в толпе. Кони-Айленд обеднел, потускнел, но это по-прежнему любимое место развлечений нью-йоркских ребят. А сосисками на тележках здесь нередко торгуют бывшие советские граждане из числа тех, кому не повезло. Да и место жительства — Брайтон Бич — рядом. Наши соотечественники видны издалека. Если продавец сосисок не прерывает разговора с собеседником, когда к нему подошел покупатель, знайте, это наш, приехал из Союза. Какие сосиски, какая торговля? Ему некогда, он обсуждает свою судьбу здесь, в Америке, и там, дома.

228 Американцы — народ дисциплинированный, они стоят за своей сосиской, подождут, если перед ними два-три человека. Но если очереди нет, а продавец занят увлекательной беседой, они не базарят, не делают замечаний, как привыкли мы, они просто уходят — на соседний угол, где стоит очередная тележка, с которой тоже чем-то торгуют — шашлыки, каштаны, те же сосиски.

Такие картины мы наблюдали не раз — и на Манхэттене, и в Бруклине: поразительное нежелание, вернее, отсутствие привычки зарабатывать деньги. Аргумент: «Зарабатывать! Да разве это работа?» И дальше в разговоре неизбежные сетования и на нашу страну, и на Америку, которая обязана помогать эмигрантам, ведь обещали! С работой, жильем, медициной.

Эту святую убежденность — государство обязано — многие наши соотечественники в полной неприкосновенности перевозят с собой за океан вместе с прочим житейским скарбом.

И что же получается?

Внешне американское общество очень демократично. Лишь опытный взгляд различает в толпе, кто есть кто. Но любая толпа незримо, но четко разделена по своим социальным слоям. Перепрыгнуть даже через одну ступеньку очень трудно, почти невозможно. И это тем более непонятно для новичка, потому что жизнь каждого социального слоя (кроме самых богатых в стране людей) видна как на ладони, — в этом тоже особенность американской жизни. Вам о ней, о жизни самых разных социальных групп, беспрерывно рассказывают по телевидению.

Но даже если у вас тоже есть деньги, большие деньги, все равно существуют места, куда человек со стороны попасть, точнее сказать, проникнуть не сможет никогда: закрытые клубы, целые закрытые, по существу, города, где живет на берегу океана американская и — все большое — международная аристократия. Но даже если человек и попадает в подобный город — по своей славе, деньгам — его вовсе не всегда примут в местный клуб. Одна из причин предельно проста — антисемитизм, о чем никогда не говорится вслух.

...Бывшие советские граждане сталкиваются со строжайшей стратификацией общества на каждом шагу, и не так-то просто к этому привыкнуть.

Можно возразить: так было всегда, такова судьба любой эмиграции — пробивать себе дорогу в новом 229 мире.

И можно ответить — так никогда не было, потому что наши соотечественники прибыли из страны с иной социальной системой и привыкли к тем крайне относительным привилегиям, которые дает эта система.

Нынешние рядовые эмигранты из Советского Союза, только приехав, осознают, что жить им придется (кому поначалу, а кому всегда, как повезет) где-то на задворках — хорошая квартира в центре города, особенно в Нью-Йорке, — мечта почти несбыточная даже для среднеобеспеченного американца.

Не могут они привыкнуть и к американской системе здравоохранения. Приехавшие думали, что в Америке с медициной все будет обстоять гораздо лучше, чем дома: лучше врачи, лучше лекарства, лучше больницы и в них уход за больными. Не знали или не могли себе представить лишь одно: медицина в США в отличие, допустим, от стран Европы с социал-демократическими традициями — это частный бизнес.

...И вот из последних опросов медицинских работников страны, какая категория населения самая трудная, выясняется — эмигранты из Советского Союза. Непонятливы, требовательны, обидчивы, капризны.

Это статистика.

* * *

...День Благодарения, Вашингтон, Лафайет-сквер. Осень, накрапывает дождь, прохладно. Ребята, студенты-волонтеры, раскладывают столы, подвозят горячую еду. Идет благотворительный обед. Выстраивается длинная

очередь. В основном негры. Вашингтон — город больше чем на семьдесят процентов черный.

К нам подходит какой-то пожилой человек, на хорошем русском языке объясняет, что сам он белорус, но большую часть жизни прожил на Украине. Ему лет за шестьдесят, шепелявит, передних зубов нет, невысокий, складный, розовощекий, улыбчивый, аккуратно, даже модно одет, на нем потертый, но чистый светлый плащ. Поговорили о том-сем, расспрашивает о Москве. О себе сказал только, что в Америку приехал поздно, после сорока здесь делать нечего, если ты, конечно, не гений. А он не гений, простой рабочий.

— Но как вам удается?

— Что? — спросил он.

230 — Ну... такой внешний вид... такая чистоплотность?

Тут наш новый знакомый довольно усмехнулся.

— Уметь надо, — ответил он. — Переночую где-нибудь в подъезде, я ночежек не люблю, и иду с утра пить кофе в «Макдональдс», четвертаки у меня всегда есть, люди Христа ради подают. Потом пешком в Библиотеку конгресса. Там сразу в туалет ныряю, умываюсь, бреюсь, чищу зубы, ногти. И уж после этого — в читальный зал.

— И что вы читаете?

— Не догадываетесь? Кого я могу читать в моем положении? Ну, догадайтесь, это так просто! Конечно, Достоевского.

— Только Достоевского?

— В основном — да. Во всяком случае только русскую литературу. Достоевского я открыл для себя уже в Америке.

— И на каком языке вы читаете?

— На русском, конечно. Волнуюсь, правда: в библиотеки перестают пускать бродяг. Законы против нас принимают... Но разве я похож на бродягу? Правда, нет?

— Нет, — согласились мы.

— А все почему? Потому что я хитрый. Приспособился. Лет пять как приспособился, вначале было трудно. Я уж теперь все знаю. Знаю, где можно получить еду, знаю, что оставаться на зиму в Вашингтоне или Нью-Йорке мне, например, с моим здоровьем нельзя, замерзну. Поэтому каждый год пробираюсь в Калифорнию. Там тепло, только уж очень много нас там скапливается.

— Но там, кажется, более сурово с библиотеками? — спрашиваем мы.

— Да, законы о бездомных там похуже здешних, но я и там приспособился. Мне бы вот зубы вставить, никто б не догадался, кто я такой.

— А где ваша семья?

— Как где? — удивился он. — Я же сказал, на Украине. Бросила она меня, перебрался я в Югославию. Потом вот сюда прибыл. Ну я пошел, до свиданья, — неожиданно оборвал он себя. — Вы бываете в Библиотеке конгресса? Тогда до встречи. Но через месяц вы меня там не найдете, буду двигаться в Калифорнию. А так — в славянском отделе, договорились? Я там на самом виду сижу, сразу увидите. Хочу ли домой? Да куда мне в таком виде? Здесь придется помирать, я человек неудачливый, а там жена, дети взрослые... Зачем?..

Он запахнул плащ, надвинул на глаза кепочку и медленно, чинно направился к очереди, где стояли люди в ожидании порции индейки с брусникой... Настроение у него было, похоже, хорошее. 231

3

Но вернемся на Кони-Айленд, где в любую погоду, в жару и в холод стоят со своими тележками с сосисками наши бывшие соотечественники и — в ущерб своему бизнесу — вспоминают родные места. Факт, отраженный в известном фильме «Москва на Гудзоне».

Пять минут на машине от Кони-Айленда, два-три поворота, и мы въезжаем на главную улицу Брайтон Бича — Брайтон Бич-авеню. Собственно, это единственная центральная улица этого района — мейн-стрит. Улица темная, небо над ней закрыто ржавым плетением надземки, наверху, над головами прохожих, проносятся буйно разрисованные вагоны нью-йоркского метро. Когда-то, в 20-е годы, метро выныривало на поверхность и гремело на уровне третьих этажей во многих промышленных городах Америки. (Помните Маяковского — «Всю ночь элевейтеров гул»?) Теперь почти везде эти линии разобраны, остались куски в Чикаго и Нью-Йорке, где без общественного транспорта, хотя бы этого или не хотят очередные мэры городов, все равно не обойтись.

Главная улица, темная, грохочущая сверху, недлинная, с разбитыми узкими тротуарами. На них в последние годы вынесли свой товар вездесущие корейцы, основные розничные торговцы овощами в Нью-Йорке. Толпы народа. Говорят только по-русски. Рестораны, бакалейные лавки,

магазин «Интернэшнл фуд», надписи на трех языках:
«говорим по-русски»
«разумем по-польску»
«элхабло эспаньол».

Неподалеку от магазина торгуют пирожками. Старый-старый человек сидит под выцветшим зонтом у косо написанного объявления: «Хот пирожок». А дальше уточняется:

«черри» (вишня)
«мит» (мясо)
«каббадж» (капуста)
«потейто» (картошка)
«чебурек».

232 Пирог огромные, жирные, вкусные, то ли завтрак, то ли, если хотите, обед. К старику выстроилась очередь. Папа спрашивает мальчишку по-русски:

— С картошкой, Энди?

— Йя! — совсем по-американски отвечает мальчик.

После пирожков магазин «Интернэшнл фуд». Цены высокие. Справа от прилавка — мясо, колбасы. Очередь. Но почему очередь? И почему она почти не движется? А потому, что все время подходят покупатели «слева», знакомые продавцов. Да, уезжая за границу, люди увозят с собой весь багаж: не только пожитки и мебель, но и привычки и нравы — и пренебрежительная медлительность продавщиц, и невнимание к «чужим», и обслуживание своих по блату, и попутные разговоры с выяснениями текущих событий.

...— Где пропадал?

— Будто не знаешь...

— Слыхали... Тебе мясо на поминки?

— Да нет, уже похоронили.

— Значит, на девятый день. Так-так...

Очередь терпеливо ждет. Покупатель отходит.

— И мне от этого куска.

— Сколько?

— Ну фунт...

— Кончилось у меня это мясо.

— Что, оно у вас только для знакомых?

— Да, а что? И у человека несчастье! Бессердечный какой!

Невероятно услышать в Америке подобную беседу: продавец и покупатель друг с другом не разговаривают вообще. Отношения полностью обезличены. Какие вопросы, кому?

На втором этаже кондитерский отдел. Снова очередь. Возле прилавка две молодые женщины.

— И «Мишек»,— говорит беленькая, высокая, худая женщина.

— Каких вам?

— Наших, советских.

— Но советские стоят дороже.

— Нет, мне советских.

— Сколько?

— Сто грамм.

— До чего жадная! Сто грамм! — подначивает продавщица.

— Я не жадная, а экономная,— робко защищается блондинка.

— Экономная, а конфеты ей подавай из Союза.

233

— Да, я люблю.

— Это вы не конфеты, это вы Союз любите... Если вы так любите Союз, могу отвесить фунт!

— Мне так много не надо,— пугается блондинка.

— Видите, какая у нее любовь, хоть попробовать, да и Союз вспомнить. Что, не так?

Блондинка молчит.

— Что вы хорошего там видели? Ничего! Гольмоль.

Блондинка вот-вот заплачет. Очередь стоит, подает реплики. Наконец раздается голос начальницы, продающей за соседним прилавком торты «Наполеон» и пирожные эклеры.

— Девочки, что такое? Успокойтесь, девочки.

Блондинка хватает свой пакет и, стуча немодными каблуками, быстро уходит.

— Соки, соки, покупайте соки! Вчера прибыли из Союза! — снова подает голос начальница.— Натуральный виноградный сок.

Мы оглядываемся, рассматриваем этикетки: Советский Союз представлен широко, и не только конфетами. Но где здесь правда, а где игра на том, что покупатель предпочитает знакомые с детства продукты? Откуда икра? Вам ответят: из Союза. Скорее всего так и есть. Откуда конфеты? Может, делают сами, где-то неподалеку, на тихих одноэтажных улицах, примыкающих к главной. Откуда польские колбасы? Говорят, из Польши. Может и так. Но на Манхэттене, в нижней части города, на 1-й авеню, есть знаменитая лавка Куровицкого, где продают польские колбасы собственного изготовления,

с утра они обычно горячие. Лавка расположена в славянском районе города, там живут поляки, украинцы, чехи. И хотя цены у Куровицкого высокие, народу у него в лавке всегда много. Люди вокруг небогатые, но лучше купить немного, но свое, национальное.

Откуда берутся товары на Брайтон Биче? Неизвестно. В Нью-Йорке бытует старое присловье: «Если вы видите на галстукке наклейку «сделано в Италии», знайте, сделано в Бруклине». К этому вопросу — откуда что берется, мы еще вернемся.

А пока дальше по улице Брайтон Бич-авеню.

Вот книжный магазин. Называется он «Черное море». Входим. Книги, изданные в основном в Советском Союзе. Много собраний сочинений. Много разрозненных томов. Раздел эмигрантской литературы. Все стоит как-то разноречно, врасстреп, никакой системы. У кассы справа полная пожилая женщина, громко разговаривает по телефону. Покупателей мало. Скромная пожилая пара, средних лет высокий человек и мы двое.

— Ну почему у тебя все не как у людей, Муся? Думаешь, все беды валятся только на тебя? — говорит хозяйка невидимой собеседнице. — Думаешь, мне хорошо, да? Подъехали утром бульдозеры, разрыли тротуар, поставили флажки... Откуда я знаю зачем. Американцы. Покупателей? Да нету их сегодня, — говорит она, будто уютный ангар ее магазина совсем пуст. — Грубят, говоришь, а кому не грубят! На то и дети, чтоб грубить! В Союзе не грубили? Боже, да они просто выросли! Все, звони через полчаса, у меня покупатель.

Хозяйка или продавщица вешает трубку и тут же, без всякого перехода:

— Давно вы к нам не заглядывали, молодой человек. Опять проездом? Из Бостона? Говорят, Бостон красивый город, совсем как Ленинград. Вас кто интересует? Лимонов? Есть Лимонов. Почем? Двадцать долларов. Берите. Вы же обычно много покупаете. Вам нужны журналы из Союза? Это у «Камкина» журналы. Были у них? Нету? Журналы сейчас дефицит, перестройка. Новый диск Пугачевой не хотите? Тургенев? Какой вам нужен Тургенев?

— У нас один Тургенев, — отвечает ей высокий тощий человек в легкой походной куртке, кедах, с сумкой через плечо. — «Записки охотника» есть?

— Вы что, русскую литературу продаете?

— Нет, я компьютерами занимаюсь.

— Боже мой, счастливая ваша мама, компьютерами. Могли бы почаще к нам заглядывать.

— Мне у вас не нравится.

— Конечно, если вы компьютерами занимаетесь, вам не нравится на Брайтон Бич.

— Мне не нравится, когда в одном месте собирается так много евреев.

— Боже мой, что вы такое говорите!

— Как показывает история нашего народа, до добра это нас никогда не доводило.

— Молодой человек, хоть вы и специалист, но в моем магазине... нет, покупайте, но в моем магазине... Так вы берете Лимонова?

— Мне нужны его старые книги.

— «Эдички» у меня нет. Мандельштама? Три тома? 235

Ну, как сговорились! И советские приезжают — вынь да положь им Гумилева да Мандельштама. Распродано, давно распродано, к нам не попадает! Будьте здоровы, молодой человек, странно вы разговариваете, до свиданья...

В магазине «Черное море» остаемся мы и пожилая пара. Они уже давно стоят в дальнем углу, листают два тома Писемского. Подходим поближе. Они перешептываются.

— Ты права, дорогая, — шепчет мужчина. — Но зачем нам Писемский?

— Ты хочешь, чтоб он так и вырос, не прочитав Писемского? — шепчет она в ответ. — Ведь недорого, и я так люблю Писемского.

— Ну, если любишь, давай купим.

— Давай, — шепчет жена и, взяв оба тома, с посветлевшим лицом направляется к кассе.

...Почему этой скромной, интеллигентно одетой женщине нужен Писемский? Здесь, где магазин называется «Черное море», где шумит надземка, где на кухнях по вечерам не читают острые статьи в газетах, не обсуждают последние журнальные публикации и выступления в Верховном Совете? Где жизнь в общем-то устроена так, что если хочешь преуспеть, даже не преуспеть, а жить, как принято говорить, «комфортабл», то есть достаточно благополучно, так вот, если хочешь всего этого, то Писемского читать просто некогда — нет на чтение ни времени, ни сил. А она вот боится, что сын вырастет без Писемского, который для знания американской жизни и ее законов — ну уж ни с какого боку!

Однажды мы заблудились в одном из районов Нью-Йорка — Квинсе. Подъехали к бензоколонке, чтобы узнать дорогу. Кроме нас на бензоколонке заправлялся еще один человек. Американец лет пятидесяти заправлял дорогой лимузин «Линкольн-Континенталь». Один из нас вышел из машины, подошел, спросил: «Не могли бы вы подсказать, как проехать туда-то?»

— А может, поговорим по-русски? — предложил незнакомец.

— Вы здесь давно?

— Восемь лет.

— И как идут дела?

236 — Отлично! — и он показал на свой серебристо-серый лимузин. Бензоколонка оказалась станцией самообслуживания, и, пока вставляли шланг, пока расплачивались, наш соотечественник все никак не уезжал, ходил вокруг своей машины, что-то рассматривал, потом подошел к нашей. Окно машины было открыто.

— Ну а как вы там, в Союзе? — спросил он. — Все-таки в страхе живете?

— Да какой страх? Газеты вы, что ли, не читаете?

— Вообще-то, конечно, давно не был дома, просто не верится! Меня Миша зовут, а вас?

Мы представились. Миша тут же начал рассказывать о себе.

— Я выжил в Бабьем Яру, — первое, что он сообщил как горькую и гордую награду. — Удивляетесь? Не верите?.. Мне было три года, когда немцы заняли Киев, и всю нашу семью погнали в Бабий Яр, отца, мать, сестру. Мама попросила нашу няню: «Спаси хоть его, Маруся». И когда нас вели, вытолкнула меня, и Маруся меня спрятала, несколько лет скрывала в погребе. Маруся меня потом вырастила, кончил школу, институт, уехал в Ленинград, работал на заводе, был начальником смены. У меня в подчинении было двадцать пять человек, портрет висел на Доске почета.

— А почему вы уехали?

— Обидели меня. Появился еще один еврей в нашей смене, и мой начальник сказал: «Двух евреев в одной смене быть не должно». А тот еврей оказался очень ловким, и мне стало плохо. Он устроил так, чтобы все неприятности валили на меня.

— И только поэтому вы уехали?

— Нет, и у отца моего были неприятности еще до войны, потому что его родной брат был членом Бунда и этот брат, член Бунда, сидел...

Наш собеседник замолчал. Чужая душа — потемки. Правду ли он рассказал о своей жизни или что-то для красоты присочинил?

— А где ваша Маруся? — спросили мы.

— Маруся умерла в Киеве. У нее тоже никого, кроме меня, на свете не было. А в Америку ехать со мной не захотела. Очень обиделся, потому и уехал, — снова повторил он. — В Ленинграде я был при деле, любил свою работу.

— Но вы неплохо устроились, судя по машине.

— Да, работаю в маленькой компании, мы владеем несколькими лимузинами. Сами владеем, сами и возим 237 по вызову.

— Кого?

— Богатых клиентов. Сейчас тоже еду на вызов, встретил вас, заговорился, подождите, позвоню, предупрежу. — Он побежал к автомату, что-то объяснял. Потом вернулся к нам, махнул рукой:

— Ладно, все равно провинился, давайте помогу вам отсюда выбраться. Держитесь за мной.

Мы поехали. На мосту перед развилкой он показал рукой: «Держитесь правее» — и помахал на прощание.

5

— Бабушка, бабушка, — кричал по-русски мальчик лет четырех в День независимости четвертого июля. В этот день по традиции бывает салют и многие любители начинают с самого утра запускать ракеты в небо. В этот день обычно солнечно, жарко — разгар лета. Американская улица, ребенок счастливо кричит по-русски: Седьмое ноября! Бабушка, ты поняла? Сегодня день седьмого ноября! Что ответишь ребенку?

Эти дети приехали из другой страны, со своим укладом, своими праздниками. На первых порах эти дети совсем не готовы к иной жизни. Как тот мальчик из Бостона, увидевший в школе американский календарь с выделенными днями праздников. Он подошел и обвел красным карандашом на календаре День Победы. Учитель назвал его хулиганом. Десятилетний мальчик ответил, что это день победы над фашистами. Учитель резко сказал, что его ученик должно быть и не знает, что победили в войну союзники, амери-

канцы и англичане, и День Победы, хотя его в Америке и не празднуют, не девятого, а восьмого мая. Мальчик, совсем недавно приехавший из Советского Союза, заплакал от обиды.

Мать мальчика написала негодующее письмо в американскую газету и рассказала, что приняла свои меры. Она узнала, что в Филадельфии существует общество эмигрантов — ветеранов войны. Каждое девятое мая в этот город со всей страны съезжаются фронтовики-ветераны и устраивают настоящий парад: надевают форму, боевые ордена и шагают в колоннах по улицам. Мать этого мальчика привезла его в Филадельфию, и они вместе посмотрели парад в честь Дня Победы...

Но вернемся на Брайтон Бич.

Здесь в основном обосновались люди, занятые торговлей, мелким бизнесом, и те, кто на этот бизнес работает.

Брайтон Бич в этом отношении — мир особый. Здесь уже появились большие деньги (относительно большие), и здесь же, рядом с ними, переплетаясь с ними, возникла и бедность, и преступный мир — одним словом, то, что присуще здешней жизни.

То и дело в эмигрантской газете «Новое русское слово» появляются траурные объявления типа: «В расцвете сил трагически погиб...» В чем трагедия, сбита ли машина, разбился ли в авиакатастрофе — конкретных деталей никаких. Понимающий читатель догадывается: в перестрелке или другим способом погиб кто-то из членов новой мафии, какие-то группы людей что-то не поделили между собой. Подробности могут всплыть через некоторое время, если за дело всерьез взялась американская полиция, а могут и не появиться, все уйдет в воду. Нью-йоркские ежедневные газеты потом разъяснят: преступление совершено так называемой «русской мафией».

«Русская мафия» — новое явление в жизни Нью-Йорка, где орудует множество национальных мафий, где к мафиози привыкли, где убийство одного из главарей итальянской мафии в ресторане неподалеку от дома, где мы жили, представителями соперничающей «семьи» никого не удивило, дело привычное. Появились истории в газетах, кого-то арестовали, показали по телевидению. Если по улицам города разъезжает в какой-то день много лимузинов с черными задраенными шторами, которыми

правят шоферы с бандитскими физиономиями, нью-йоркцы шутят: «Что это они сегодня разъездились? Съезд мафии, что ли?» Если кто-то из знакомых в нижней части города живет в неохраняемом доме на узкой, с виду заброшенной улице, хотя она и расположена, допустим, в районе, примыкающем к Гринвич-виллидж, и на вопрос, не страшно ли там жить, отвечает: «Да нет, дома на нашей улице принадлежат итальянской мафии, она не позволит, чтобы тревожили ее жильцов», вы воспринимаете эту информацию совершенно естественно — в самом деле, нелогично, чтобы воры стали связываться по мелочи с мафиози.

Есть могучая китайская мафия. Недаром название фильма «Китайский город», «Чайна-таун», давно стало синонимом опасности и преступлений.

239

После вьетнамской войны, когда в США приехало несколько сотен тысяч вьетнамцев, и среди них немало головорезов, заговорили о вьетнамской мафии, очень жестокой и агрессивной, подсчитывали количество вьетнамских банд, действовавших в Калифорнии, их оказалось несколько сотен.

«Русская мафия» пугает привычную ко всему американскую полицию тем, что не признает никаких законов, которым так или иначе следуют другие национальные мафии. Об этом тоже часто пишут.

У мира организованной преступности есть свои незыблемые законы. Мафия облагает налогами определенные виды бизнеса. Шантаж, угрозы, убийства — да, но тут действуют свои правила. Любая мафия — это прежде всего корпорация. Поэтому корпорации и организуют свои съезды, делят территории, на которых действуют. Наркотики, игорные дома, рэкет (то есть вымогательство у законного бизнеса определенных сумм и в случае неуплаты разорение, пожары, взрывы) — таковы традиционные формы бизнеса мафии, пусть и разделенной по национальным и территориальным признакам.

«Русская мафия» ворвалась в Нью-Йорк и начала действовать безо всяких правил. Немало оказалось среди эмигрантов людей с темным прошлым, с судимостями, немало спекулянтов, привыкших к легким деньгам. Попав в Америку, такие люди заматались. Все оказалось совсем не так просто, как им представлялось. Вокруг незнакомый мир. Не совсем такой, как ожидали. И вот в ресторанах на Брайтон Бич сидят люди и придумывают, как получить быстро и не работая большие деньги, — вещь почти

невыполнимая. А огромные деньги рядом, купить можно все, что угодно, вот что обидно, и ведь даже не спрашивают, откуда деньги, даже если предъявляешь их наличными, что в Америке тоже редкость: расплачиваются обычно чеками. Как рассказывал нам один бизнесмен-миллионер в Техасе, занимающийся продажей домов в модном районе на склонах гор, где дома стоят на сваях и при них есть все: бассейны, и новейшее оборудование для кухни, и удивительной красоты виды на долину, куда, извиваясь, спускается горная река: «Я продаю дома, приезжают откуда-то люди, выкладывают полмиллиона, миллион, покупают дом не глядя, и я не могу спросить: «Откуда у вас деньги?» Скорее всего это деньги мафии. Приехали в Техас на покой, с глаз долой. Я иногда думаю по ночам: а может, этот человек кого-то убил, ограбил, кто его знает. И все обличье его подозрительно. А что прикажете делать? Строительство домов — это бизнес. Бизнесу нужен покупатель. И вот к тебе является незнакомец и предлагает наличные. Откуда деньги, в таких случаях не спрашивают».

Новые люди, полууголовные элементы из числа эмигрантов, решают свои проблемы просто. Договариваются и начинают шантажировать те категории профессий, которые традиционная мафия никогда не трогает: врачей, священников, художников. Причем, естественно, идут они не к американцам, а к своим же соотечественникам. И относительно преуспевшим соотечественникам приходится принимать меры: или нанимать охрану, или вступать с мафией в переговоры через известных нью-йоркских адвокатов, имеющих деловые связи с преступным миром.

Художников мафия издавна не трогала, поскольку никогда не известны перспективы на то искусство, которое делается сегодня. Облагать данью художников, с точки зрения мафии, неразумная и бессмысленная растрата сил. Но бравые ребята с Брайтон Бича далеко не глядят, деньги им нужны сегодня, сейчас, и вот они посылают гонцов к владельцу галереи русской живописи: «Ты почему покупаешь у него картины?» — «По пятьдесят тысяч». Пятьдесят — немного для самых модных художников, но вовсе не мало для художника, выходящего на рынок мировой живописи. «Пятьдесят? Ты что, дурак? Да мы тебе его украдем, посадим в подвал, он там будет малевать, а мы тебе будем загонять его вещи по пять тысяч. Вся жизнь у нас в подполе просидит, спасибо еще скажет, что не убили».

Новоявленные мафиози крайне удивлены, что владелец

галереи отказывается; ему предлагают такую хорошую сделку.

Это рассказ о курьезах, но есть уже и все остальное, и наркотики, и притоны, и организация подставных контор, которые берут деньги за фиктивные услуги.

Несколько лет назад было громкое дело, которое так и не удалось раскрыть американской полиции. На Брайтон Биче появилось бюро, организующее поездки в Советский Союз. В те годы поездок практически не было, и возможность съездить на родину, да еще по льготным ценам привлекла огромное количество людей. Бюро расположилось на редкость солидно: сняло отличное помещение, хорошо его обставило, за столами уселось несколько секретарш с прекрасным английским, компьютеры работали на полную мощь, запрашивая рейсы, расписания поездов по Советскому Союзу и так далее. Очереди на оформление поездки собирались с ночи. 241

Бюро проработало несколько месяцев. В одно, как говорится, прекрасное утро, когда открытия его поджидала очередная толпа, оно просто не открылось: снятое помещение оказалось пустым. Исчезло все — и столы, и стулья, и ковры, и компьютеры, и секретарши-американки. Бюро исчезло, прихватив с собой больше четверти миллиона долларов.

Это уголовное дело. Но на Брайтон Биче есть и другое — попытки, и часто успешные, обходить американские законы. Никаких профсоюзов. Профсоюзы гарантируют своим членам определенные права. Эмигранты, приехавшие в этот район и работающие здесь, практически бесправны, то есть они зарабатывают столько, сколько назначит хозяин бизнеса. Никаких чеков, деньги — только наличными. Никаких правил: лицензий бизнес старается не покупать и нередко действует просто противозаконно. Американский бизнес умеет обходить закон. Тут его зачастую вообще не существует. В том же книжном магазине «Черное море» множество книг на русском языке без указания издательства. На титульном листе стоит: «Нью-Йорк, такой-то год». Все! Кто печатал, где печатал, каков индекс Библиотеки конгресса (а каждая книга, выходящая в США, имеет специальный индекс для удобства ее нахождения в Библиотеке конгресса)... То же самое происходит с кассетами: не успеет популярный певец Вилли Токарев исполнить свои новые песни, как тут же появляются неизвестно кем записанные кассеты, которые продаются без всякого учета авторского права. В ма-

газинах радиоаппаратуры продаются кассетники без гарантий. В Америке это называется «грей маркет» — «серый рынок». То есть рынок, куда товары попадают полулегальным путем, нередко в обход пошлин, продаются без гарантий (если плохо работает, не обессудьте), зато заметно дешевле, чем на официальном рынке.

...Места, где празднуются юбилеи, дни рождения, семейные торжества, — это рестораны Брайтон Бича. Рекламы их появляются в каждом номере газеты «Новое русское слово». Ресторан «Приморский»: «У нас поет знаменитый Вилли Токарев». На витрине конкурирующего ресторана объявление по-русски: «Дорогие друзья! Мы рады представить вам ансамбль «Голден войсес» — «Золотые голоса!»

242 Привычки, нравы, меню — все перенесено оттуда, откуда приехали эти люди. Медлительность полных, невозмутимо-невежливых официанток, невозможность зайти выпить чашку кофе или чая.

— Пройдите напротив, может, вас там пустят. У нас полно клиентов, не видите, что ли? Заказывайте полный ужин.

— Но мы не хотим есть.

— Вы не хотите, а у меня столик будет занят. Нет, в туалет нельзя, вы ж не остаетесь ужинать! Туалеты только для сидящих в зале гостей.

И пошло-поехало. И напротив тоже нельзя выпить кофе, там тоже скоро час «пик», хотя столы стоят пустыми. Вещь, немыслимая в американском ресторане.

Но вечером в ресторанах собирается и впрямь много народу, гремят оркестры, ансамбли со своими солистами исполняют русские романсы и новые эмигрантские песни.

...Есть у нас один знакомый, бывший советский гражданин, ныне житель Нью-Йорка. В Советском Союзе он был администратором разных театров и ансамблей. Родом из Киева. И в Нью-Йорке он хочет заниматься своей прежней профессией, работать на укрепление советско-американских культурных связей, устраивать турне советских артистов в США. Тут действуют и расчет, и душевное влечение, и новые времена, связанные с перестройкой. Но и на этом рынке импресарио, связанных с Советским Союзом, тоже жесткая конкуренция. Удача не всегда сопровождает нашего знакомого, назовем его условно Майкл, Миша, поскольку это реальная и активная фигура в эмигрантской колонии; Майкл — устроитель званых вечеров, свадеб, дней рождений... Разбогатевшие бизнесмены из

новых эмигрантов в случаях семейных праздников приглашают Майкла.

— Миша,— говорят они (тут Миша имитирует развязно-величественный тон жен этих эмигрантов).— Миша, у нас дочка замуж выходит, пригласи, как его, этого певца... Фрэнка Синатру.

— Могу и пригласить,— отвечаю я,— но только этот Синатра берет за вечер шестьдесят пять тысяч.

— Шестьдесят пять? Нет, это чересчур, Майкл. Попробуй, поторгуйся, может, он спустит до тридцати пяти?

— Вы просто смеетесь, он не спустит, он друг самого Рейгана!

— Да? Тогда надо подумать. Мы тебе позвоним, Миша.

— И часто вы устраиваете такие вечера?

— Конечно, это моя профессия. Особенно на Новый 243 год. Тут меня просят хозяева, ресторанов на Брайтон Биче. Несколько лет подряд я привозил девочек из Атлантик-Сити. За вечер мы объезжали все рестораны.

В прошлом году мне говорят: надоели эти девочки, в телевизор таких каждый вечер видим. Придумай что-нибудь новенькое. И стал я думать. Что может быть новенького в этом сумасшедшем городе? И тут меня осенило: в Линкольн-центре на рождественские праздники выступает цирк. Надо им привезти какого-нибудь зверя. Пошел на представление, больше всех мне понравился леопард, здоровенный такой, страшный, рычит ужасно. Вскакивает на слона, едет на нем верхом и рычит, да еще зубы скалит. Ну, думаю, слон — это, конечно, исключено, а насчет леопарда надо помыслить. Подошел я к дрессировщику-американцу, договорился, он мне назвал свою сумму. Сказал хозяевам ресторанов. А их шесть, не разорятся. Идея, говорят, что надо.

И вот вечером 31 декабря еду в Линкольн-центр. А леопард уже участвовал в двух представлениях, устал, злой, рычит. И машину еще как на грех присылают не с кузовом универсал, а самую обыкновенную, только большую и, заметьте, без всякой перегородки. Что делать? Едем. Впереди шофер, я, моя подруга. Сзади леопард с дрессировщиком. Путь от центра города, сами понимаете, неблизкий. А леопард сердится, рычит и все к нам вперед лапу тянет. Ну доехали, ничего.

Вошли мы в первый ресторан, там уже люди как следует поднабрались, крик, шум, танцы. И тут мой леопард с дрессировщиком выходят. Молчание, ну просто гробовое, оцепенели все. Ну леопард делает все, что ему

положено, впрыгивает на стол, рычит. А я сижу трясусь. Ведь это все не по закону, дикий зверь в ресторане! На это же разрешение надо брать! А вдруг он кинется и кого-нибудь растерзает! Да никто бы никогда разрешения не дал, это ясно. Но ничего, обошлось. Восторг огромный, все так взревели, что леопард даже испугался. И началось. Одни хотят с ним сфотографироваться в обнимку, пьяные же, другие лезут к нему целоваться. Леопард ничего, терпит покуда. Один подходит к дрессировщику и в шуточку говорит, пьяный в дымину: «Сколько вам надо заплатить, чтоб ваш леопард загрыз моего партнера по бизнесу?»

— В тот новогодний вечер я хорошо заработал, — заключил Миша. — Все были довольны: и гости, и я, и леопард — зверюге дали свежих кур. Очень, оказывается, уважает леопард курятину!

7

На Брайтон Биче эмиграция живет. На Орчард-стрит, на Манхэттене, в одном из самых старых районов города, эмиграция из Восточной Европы торгует. Собственно, район этот в просторечии называется по-русски Яшкин-стрит, по имени одного из процветавших там до недавнего времени торговца, который, дав имя улице, расширив дело, разбогатев, уступил место другим.

Орчард в переводе — «сад», но нет, эта сеть узких улиц, покрытых плохим асфальтом, скорее напоминает нескончаемый базар. То ли Шанхай, то ли южные средиземноморские города приходят на память. В любую погоду под небольшими навесами в три-четыре ряда сверху вниз висят товары, мокнут, сушатся на ветру джинсы, куртки, рубашки, майки. На лотках много мелочи — кепки, шапки, кошельки, сумки. Возле такой рекламы товаром обычно неказистая дверь: вход в полутемную лавку, где встречает вас сам хозяин, говорящий, как правило, по-русски или по-польски. Торговцев много, и характеры у них разные — заискивающие, безразличные, гордо-раздражительные.

Какой американский продавец, даже в самом дешевом магазине, позволит себе раздражаться? Единственная беда в средней руки американском магазине: продавцы — мальчики и девочки, приехавшие из африканских стран, из Азии, — не знают английского. Часто не умеют ни писать, ни считать. Нередко пугливо убегают, скрываясь за одеж-

дой, как в джунглях, когда им задают вопросы. Но чтобы — грамотный ли продавец, безграмотный — нагрубить? Чтобы на лице появился хоть малейший оттенок неудовольствия? Никогда!

Не то на Орчард-стрит. Гремучая смесь самоуничижения, самоиронии, самоутверждения: покупателей, проходящих по улице, зазывают, хватают за руки, волокут к стойкам с вещами, что-то стремительно вытаскивают, демонстрируют, привлекая своих помощников, как правило родственников, безбожно завышают цены, потом сбавляют. Идет стремительный беспокойный спектакль, в процесс которого вовлекают обалдевшего от шума и гама покупателя. Но если он при этом не купит... А ведь это норма — не купить, посмотреть, примерить, пойти дальше, вернуться... Но здесь, на Орчард, если покупатель не купил сразу, с налета, следует унижительная сцена: его почти выталкивают из лавочки, начинаются стенания и проклятия — естественно, сила их зависит от темперамента владельца. Идут угрозы: нет, больше не заходите, я вам ничего не продам, лучше вам все равно не найти. Если же покупатель доказывает, что ему пытались всучить товар с дефектом, без пуговиц, без пояса, то он тоже виноват: мало ли, не доглядели. В Нью-Йорке обманывают на каждом шагу, но здесь обман возведен в добродетель: все равно виноват покупатель.

245

Все магазины на этих улицах, вернее, в переулках пестрят малоприметными названиями. Есть только один, надпись на дверях которого, по-русски, бросается в глаза: «Слава богу, наконец-то я дошел до Коли».

Коля — монополист. Коля торгует искусственными шубами, жакетами, куртками вот уже несколько десятилетий. Колю знают все советские командировочные: одно время искусственные шубы были в большой моде. Коля довольно высокий, сухопарый, с костистым злым лицом. Говорит, всю войну сражался в Красной Армии, вернулся на Карпаты, оттуда переехал в Польшу, попал в Америку. Коля любит хвалиться двумя вещами: он миллионер и друг всех знаменитых «советских». Друг не друг, но когда к нему заходит свежий покупатель, Коля раскладывает, как пасьянс, свою коллекцию фотографий с автографами. И действительно, кого только нет среди его покупателей: и знаменитые артисты, и спортсмены, и ученые. Советский человек за границей доверчив и простодушен, и когда Коля начинает свои рассказы о войне, его жалеют: вот он здесь, в этой душной, темной, забитой товарами лавке.

Фотография? Пожалуйста! Автограф? Конечно! А Коля делает свой бизнес и удовлетворяет свое непомерное тщеславие. И грубо, язвительно разговаривает с теми, у кого нет денег, смеется над неграми, над бедными женщинами, долго раздумывающими над грошовой покупкой.

246 Но сложен человек. Коля, по его словам, воевал в артиллерии. И раз в год язвительный, процветающий, неутоленный, что-то скрывающий в своей жизни от постороннего глаза Коля гуляет. Празднует День артиллериста. Сидит, пьет, заказывает музыку. Заказывает одно и то же: «Артиллеристы, Сталин дал приказ, артиллеристы, зовет отчизна нас, из сотен тысяч батарей...» Коля подпекает и, по некоторым свидетельствам, плачет. В русском ресторане далеко не все настроены так патриотично. Среди эмиграции есть разные люди. Они пытаются запретить оркестру играть «артиллеристов». Но оркестру заплачено. К тому же это уже ежегодная традиция. Тогда подходят к Коле, задираются, Коля в ответ задирается еще пуще. Учтем, Коле за шестьдесят. В итоге Колю бьют.

Легенда это или быль? Кто знает. На пустом месте легенды не рождаются. Нужна ли эта легенда Коле для бизнеса? Вряд ли. Мало кто из проезжающих успевает и хочет узнать подробности из жизни этой странной, совсем не американской улицы, где правят свои законы, где неизвестно откуда появляются товары, с годами все чаще дорогие, где — вот почему и бывают здесь приезжие — круглый год идет торговля несезонными товарами. Весной, уже в марте, в обычном магазине можно купить только вещи на лето — купальники, шорты, майки, блузки. Здесь и в июле, в несусветную жару, идет бойкая торговля дубленками, шубами, теплыми куртками, стеганками. Выхода у приезжего человека нет — надо ехать на Орчард-стрит, выполнять заказы близких.

Если свернуть от магазина «Слава богу, наконец-то я дошел до Коли» направо, на широкую старую улицу Хаустон, то через двести метров будет приметное объявление: «Кац деликатессен». В этом кафе — разгул восточно-европейской кухни. Пирожки, мясо, ростбиф, все натуральное, все не потеряло своих первоначальных запахов и вкусов. Еда напоминает Украину, Белоруссию, Польшу. Хозяева деликатески владеют этим кафе в течение многих десятилетий. Длинные ряды столов, есть ряд, где обслуживают официанты, остальные столы самообслуживания, стоишь в очереди, выбираешь, от какого куска чего отрезать, чтобы сконструировался огромный бутерброд —

сэндвич. К бутерброду положены соленые огурцы, их достают из бочки. Тут, стоя в очереди, мы и познакомились с одним из продавцов. Услышав русскую речь, он спросил:

— Из Москвы? — и по егоговору стало ясно, что он из Москвы тоже. Эдик, человек лет пятидесяти, обрадовался нашему появлению, побежал куда-то в закрома, принес особый окорок, посоветовал, что с чем соединить, чтобы было вкуснее, и, когда мы, принеся свои подносы, уселись за стол поесть, подсел к нам.

Эдик, и это сразу поразило, ни о чем, собственно, не спрашивал.

— Последнюю «Литературку» читали? Ничего они там выдали про... — он изложил содержание острой статьи. — А последние номера толстых журналов читали?

Он сидел рядом на стуле, в белом длинном фартуке, 247 черноволосый, черноглазый, с живым, выразительным, очень подвижным лицом. Мы ели мясо, запивали чаем (кофе здесь не положен) и разговаривали о великих новостях в советской литературе, поражаясь горячей осведомленности нашего собеседника.

— А кто вы по профессии?

— Врач, врач-фармацевт, но здесь мой диплом не признали. Я учусь уже много лет, скоро сдам последние экзамены, но думаю, места не получу: пятьдесят для Америки — возраст староватый.

— А приехали давно?

— Да лет десять как, с женой, с сыном. Жили, — он назвал один из новых экспериментальных городов-спутников Вашингтона, — жена пошла в гору, стала вице-президентом банка, — он назвал банк, — ну разошлись, и хотя она зарабатывает много больше меня, все время посылал сыну деньги. Теперь он учится в колледже, тоже помогаю. — И он снова заговорил о литературе, гласности, перестройке, о том, что, по-видимому, его больше всего занимало.

— А возвращаться не собираетесь? — спросили мы.

— Место давно купил на татарском кладбище. А что вы удивляетесь? В Нью-Йорке все есть. Тут хоть сын иногда приедет, присмотрит за могилой, а в Москве... В Москве у меня мать, старая большевичка, от меня отреклась, и брат, тоже врач, тоже в свое время отрекся. Писал им письма, не отвечают...

Несколько раз мы заезжали перекусить в эту деликатеску и каждый раз встречали Эдика, вели разговоры об искусстве, о музеях Нью-Йорка, их он знал превосходно,

о новинках нашей литературы. И наступило время, мы сказали, что уезжаем домой.

Мы попрощались за руку под неодобрительными взглядами высокого старика управляющего. Зато весело кривлялся за стойкой «персонал» — негр, китаец и еще какой-то непонятный малый. Им все казалось смешно: и торжественные рукопожатия, и грусть. Все это так не вписывалось в общую картину делового ланча, которыми были заняны все вокруг. Мы сели в машину. Из дверей вышел Эдик: — Ладно, не забывайте. Привет Москве!

Машина тронулась. Он стоял на углу в своем длинном белом фартуке, стоял, махал, мы долго оглядывались, он все не уходил.

248 И вспомнился берег Брайтон Бича в летние вечера, темнеющий океан, широкая полоса песка, деревянный настил набережной, закусочные, приморский ресторан с торжественным названием «Москва». По набережной прогуливаются и пары, и целые компании. Американец на прогулке одет просто — спортивный костюм, кеды. Здесь же все наоборот — высокие каблуки, заранее обреченные застрять в щелях настила, лучшие парадные одежды, на мужчинах пиджаки даже в теплый день.

Ближе к концу набережной — танцы. Картинный, высокий, толстый старик играет на скрипке, на аккордеоне — женщина. И пожилая женщина поет: русские романсы, военные песни. Кружатся в темноте пары, танцуют пожилые люди, молодежи здесь нет, молодежь заседает по ресторанам и забегаловкам, решая свои дела. Месяц светит призрачно. Кто они, эти люди? Откуда? Почему так дружно и грустно запели «Темную ночь»? А мимо плывут нарядные, довольные собой, плывут мимо танцев, мимо потрепанной кепки, куда должны бы сыпать мелочь. Иногда останавливаются, стоят подолгу, вздыхают. Американец, если он остановится послушать уличных музыкантов и певцов, непременно положит свой доллар: не оставить «чаевые» неприлично — это не благотворительность, а вознаграждение за труд, который так высоко ценится в этой стране... Но кепка пуста, никто не подает.

А из ресторана «Москва» доносятся обрывки песни, популярной по обе стороны океана, да-да: «поручик Голицын, корнет Оболенский...» — куда от них денешься?

Какая вокруг странная смесь — не будем преувеличивать, свойственная, видимо, всякой свежей эмиграции, — смесь почти детского самодовольства и пронзительной тоски.

ДРУГ ХУДЕНКО



— Я его предупреждал, предупреждал! Все уже шло плохо, их гоняли по всему Казахстану...

— А он?

— Не слушал, шел вперед, как бык, как таран! Он не мог остановиться!

— А вы?

— Что я? Меня или печатали или не печатали, а он... Он приезжал в Москву, мы просиживали ночи у нас на кухне, говорили, прикидывали...

Почти два десятилетия спустя после смерти в тюрьме известного ныне на всю страну реформатора-аграрника я тоже сижу в гостях. И тоже на кухне. Но за окнами не Москва, а Нью-Йорк, район Квинса, зеленая улица скромных домов, в одном из которых профессор Янов снимает второй этаж. Мы сидим втроем, Янов, его жена 251 и я, и говорим без умолку. Выясняется, что у нас немало общих знакомых. Вот только Худенко, он стоит в жизни этой семьи особняком.

— Это мой учитель, понимаете? Он меня все время, пока мы дружили, учил.

— Чему?

— Прежде всего тому, что можно сделать с землей в наших, советских условиях. А я... я не сумел его удержать, оттащить от пропасти. Он совершил массу мелких ошибок, к ошибкам прицепились и разорили «Акчи», посадили его самого. Все шло к тюрьме, я это чувствовал, я уже договорился в Академии наук, Худенко предлагали опытное хозяйство в Новосибирском академгородке, все уже было готово к его переезду. Он понимал, что погибает, но отказался.

— Знаешь, сколько он весил, когда умирал в тюрьме? — спрашивает Лидочка. — Пятьдесят килограммов. А был могучий, толстый.

— Прирожденный лидер, самый настоящий, люди ему верили и шли за ним до конца, — добавляет Янов.

— О нем уже показали целый фильм по телевизору, — вспомнила я.

— Так и знал, — обрадовался Янов, — так и должно было быть! Я ему говорил: надо переждать, дебрежневизация неизбежна.

*Профессор Александр Янов:
начало рабочего дня.*

— А Худенко верил? Мало кто верил в те годы. Мне кажется, все устали ждать.

— Нет, он отвечал мне, как ребенок: пусть у них все остается, все привилегии, пусть остается брежневская идеология, лишь бы крестьянам дали работать на земле.

— Не удивляйся, не удивляйся,— вступает Лида,— Иван Никифорович всегда был очень откровенен.

— Он говорил: я хочу только одного — показать, что можно хорошо организовать хозяйство и кормить народ.

— А был у его «Акчи» хоть какой-то шанс выжить?

— Конечно нет,— удивляется моему вопросу Янов.— Худенко не понимал главного: чиновники при этом теряют власть. Этого они никогда не допустят. И не допустили.

252 — А вы действительно в те далекие годы верили в неизбежность дебрежневизации?

— Конечно.

— И все же уехали!

— Уехал. Собственно говоря, был поставлен перед выбором. Или — или. Что «или», всем теперь понятно. Шел 1974 год.

— Но ведь не просто же так все случилось.

Янов, коренастый, коротко стриженный, седоватый, поднимает на меня большие серые глаза так и не сумевшего постареть мальчика:

— Конечно, все не просто так. После того как стало совершенно очевидно, что меня больше не будут печатать, я передал рукопись книги «История политической оппозиции в России» за границу. Ну и началось. Может, и раньше началось, но я не замечал, тем более основные идеи этой рукописи были опубликованы в статье в журнале «Молодой коммунист». Публикация статьи день в день совпала с высылкой Солженицына. Этого-то редакция никак не могла предугадать. Ну и пошло.

— Знаете, ваше имя часто упоминают в Советском Союзе в связи с выступлениями Шафаревича. Он обвиняет вас в русофобии.

— А здесь меня обвиняют в слишком сильной привязанности к России и ее интересам. Вот вам парадокс жизни в эмиграции. Отвечать Шафаревичу публично, так, чтобы прочел советский читатель, я не могу, у меня нет площадки. Я могу только разговаривать и спорить: ведь через Нью-Йорк проезжает масса народу, приходят в гости — поэты, писатели, мидовцы, неофициалы. И у каждого свои впечатления и предчувствия, я не говорю об официальных лицах,

конечно. Один поэт мне говорит: если не принимать меры, впереди — хаос. А я спрашиваю: «Почему это не отражается на ваших стихах?» — «Ну, это старые стихи». Перестройщики, и я полон к ним уважения, заняты в основном расчисткой прошлого. Это очень важно, без этого невозможен путь вперед, но это не самое главное, сейчас перестройка на другом, как мне кажется, этапе.

Мы с Лидой сидим, слушаем, Янова трудно перебить, он заговорил о том, что его больше всего волнует.

— Нужна философия перестройки, ее будущее, близкое и дальнее, нужны формулировки, которые бы понял весь мир.

— А вы полагаете, американцы до сих пор не понимают?

— Советологи, вы имеете в виду? Американцы, они все понимают конкретно: вооружения, армия и так далее, по пунктам. А советологи... Теперь они все, как один, за перестройку, иначе бы остались без работы, так же как прежде они все, как один, говорили только о стагнации, о том, что в Советском Союзе ничего принципиально измениться не может. Хрущев, Брежнев, Горбачев — модификации одного режима. Сейчас этот тезис просто не проходит. А что взамен? Нужны заново сформулированные идеи.

Когда я приехал и сказал, что дебрежневизация неизбежна, ко мне отнеслись, как к сумасшедшему, как к безопасному чудаку, в лучшем случае. «Русская история кончилась» — так они все считали, теперь это круг, заколдованный круг. Если самый умный советолог для них это Киссинджер, то как быть? Он признает только прошлое и настоящее России и, исходя из этого, проектирует будущее. Но ведь такие мысли это живой застой, анахронизм. Будущее будет совсем иным, вернуться к брежневским временам невозможно, и это мало кто в Америке понимает. До сих пор, как это ни странно.

— А вы с ними спорите?

— Да я со всеми с ними спорю в своих книгах и на своих лекциях! Я повторяю, я и здесь оказался диссидентом в некотором смысле.

— Почему?

— Потому что я продолжаю утверждать, что нельзя настоящее проецировать в будущее. Это очень смешно — продолжать так думать. И в высшей степени глупо. На чем строил Киссинджер свой дейтант? На ожидании логики. Брежнев сказал «а», значит, он неизбежно скажет

«б». А Брежнев говорил «ц», «д», что угодно. И дейтант развалился.

— Нет, почему вы диссидент здесь?

— Потому что в самые застойные времена я продолжал утверждать, что в России грядут реформы. Нет, не думайте, что для меня это проходило гладко.

— Это был ужас, Галечка, первый год, когда мы приехали,— сказала Лида.— У Янова началась самая настоящая депрессия.

Безмятежно-младенческий на вид профессор так же младенчески улыбается:

— Да-да, я совсем не мог работать, ничего не писал, а надо было как-то жить, маленький ребенок.

— Это что, ностальгия?

254 — Не знаю, я почувствовал себя в совершенном вакууме со своими идеями о будущих изменениях в Советском Союзе. Мне никто не верил. Получалось, что в будущее своей страны верю только я один.

— А потом прошло?

— Не знаю, я начал много работать. Семь лет был профессором в Беркли, потом три года в Анн Арборе, теперь в большом Нью-Йоркском университете, и все время писал книги. Вот, сейчас подарю, книга памяти Худенко «Шестидесятые годы. Потерянные реформы». Так вот, вашим интеллектуалам перестройки пора заняться главным — определить ее место в русской истории и мировом интеллектуальном процессе. Россия уже берет, но должна еще увереннее взять на себя заглавную роль, должна разбудить мировое сообщество, призвать к единому потоку цивилизации всего мира. И чтобы это были не общие слова.

— На мой взгляд, американские политологи, в том числе и часто приезжающие в Москву люди, по-прежнему заняты лишь тем, что наблюдают, анализируют — словом, прежний узкий профессионализм.

— В том-то и дело! — подхватывает Янов.— Им и в голову не приходит, что от России что-то зависит, хотя все события последних лет показали, что именно Россия, возможно, начинает новый этап цивилизованных отношений между государствами. Что я хочу сказать? Американский интеллектуальный потенциал так же могуч, как экономический, только он не ориентирован. Надо его завести, разбудить гигантскую силу, разбудить вулкан. И поверьте, он тоже будет работать на перестройку...

— На перестройку? Вы не увлекаетесь?

— Какое увлечение, от судеб перестройки зависит судьба всего мира. Важно осознать эту мысль. И если она будет уяснена, тогда начнется общая работа.

— Но в нашей стране слишком свои и слишком специфические проблемы.

— Да, конечно, но есть еще и мировой опыт. И по поводу правового государства, и по поводу политической реформы, сельского хозяйства, наконец. Мы идем вслепую, мы идем впотымах. Пока не поздно, нужно включить в строительство перестройки весь опыт мировой культуры.

— А вы уверены, что этого захотят?

— Я не знаю, поэтому мы и должны выйти с четко сформулированными идеями общего цивилизованного дома, которые Запад просто не сможет игнорировать. Об этом говорит Горбачев, об этом говорит Шеварднадзе. 255
Американцы и вообще Запад всё понимают слишком практически: сокращение военных расходов — это хорошо, сокращение армии — тоже хорошо. А вот мы русским предложим что-нибудь еще сократить... Поймите, в этих взглядах нет видения будущего, видения того, что ждет мир в XXI веке! Только от России идут импульсы к рассмотрению проблем будущего всего человечества...

2

В тот раз мы заговорились за полночь. Потом я улетила из Нью-Йорка, через месяц вернулась. И вот снова поездка к Яновым. Из Нижнего Манхэттена, где я остановилась, до Квинса, где они живут, это целое путешествие на метро. И пока едешь, перед тобой проходит как бы срез жителей города. Вначале, в Гринвич-виллидж, где я садилась, это в основном студенты. Студенты едут в центр, на Верхний Манхэттен. Потом студентов незаметно вымывает, появляется разношерстная публика, много негров, еще больше латиноамериканцев, и среди них пассажиры с чемоданами и большими сумками — эти направляются в аэропорт имени Кеннеди. От станции метро, неподалеку от которой живут Яновы, отходят автобусы-экспрессы в аэропорт. Американцы летают много, такси взять не проблема, но деньги на ветер здесь кидать не принято.

Здесь же, возле автобусов, встречает меня на этот раз Янов на своей старенькой машине. И тут же, в машине, поскольку за месяц набежало много новостей, мы, словно и не прерывались, продолжаем все тот же нескончаемый разговор о перестройке. По сторонам мелькают узкие

улицы благопристойного, ухоженного, цветущего Квинса. Здесь и жилье подешевле, и воздух почище. Дома нас поджидает Лидочка.

На этот раз я уже не сдаюсь: я буду расспрашивать Янова только о его жизни, хватит о перестройке, некогда, скоро мне улетать домой, в Москву. Я невольно оглядываюсь на кипы свежих советских газет, журналов, книг. Они лежат и стоят везде: и на полках, и на низком журнальном столике. Нет, сегодня я не буду спорить, отвлекаться — только задавать вопросы. Биографические.

— Но это же неинтересно! — огорчается Янов. — Давайте лучше поговорим о будущем!

— Не мешай Галечке работать, спрашивает, значит, 256 ей надо! — кричит из кухни Лида.

— Да, мне надо, мне хочется понять.

— Что понять? Никто сейчас ничего понять не может!

— Да судьбу, судьбу вашу понять!

— Судьбу мою и особенно мои взгляды сейчас принято некоторыми искажать, причем только с помощью цитат, и ничего кроме.

— Не отвлекайся, тебе сказано — судьба, — снова командует Лидочка.

— Что судьба? Кончил в 1948 году среднюю школу в Ташкенте с золотой медалью. Да, тут судьба, медали тогда только ввели. И меня приняли в Московский университет без экзаменов. Без медали никогда бы туда не поступил. Кстати, и Горбачев кончил с медалью. И поступил в университет. В принципе это место не для нас, не для людей из глубинки. Знаете, с кем я учился? Дочь Шкирятова, сестра Суслова, да-да, я не путаю, она была моложе его лет на тридцать. Вот такая публика меня окружала. Потом поехал по распределению в распоряжение Томской железной дороги. Через год вызвали меня в аспирантуру.

— В Москву?

— Ну конечно, они хотели меня с самого начала оставить, но не удалось. Приехал, все сдал, завалили на марксисте. Это не перепрыгнуть.

— Ну а главное, Янов, что в тот год было? — спрашивает Лида.

— Встретился с будущей женой. Прописки в Москве нет, жилья у обоих нет. Что нам делать?

— И поехали мы, Галечка, в Сталинабад, по моему распределению, — говорит Лида. — Там дали нам комнату в коммунальной квартире, купили мы матрац.

— Дальше, как у всех в те годы,— подхватывает Янов.— Поставили его на кирпичи, словом, обжились. Пошел я работать в ТаджикТАСС, много ездил.

— А кончилось все плохо,— говорит Лида.

— Почему?

— Потому что это Янов.

— Как я мог знать? Послали меня на строительство электростанции. Там меня по-отечески принял парторг, пригласил жить к себе. Старый большевик, с биографией, ночами мы почти не спали, говорили откровенно абсолютно обо всем, расстались друзьями. Возвращаюсь в Сталинабад, начальник мой говорит: быстро пиши заявление об уходе. А что? Ничего, донос на тебя пришел. Вызывают в ЦК партии. Там сидит молодой человек, инструктор. «Вы что, маленький? Как можно было напрашиваться прямо в пасть к этому стукачу? Поглядите, что он на вас накатыл, со всеми подробностями. «Бухарин был прав, Сталин не прав...» Ваше счастье, что сейчас 56-й год. Но советую: уезжайте отсюда немедленно, жизни этот старый доносчик вам не даст! Куда бы вы ни устроились на работу, вас уволят. Возвращайтесь в Москву, вот вам мой совет, самое спокойное».

— Так мы оказались снова в Москве,— откомментировала Лида.— Тоже случайно, спасибо стукачу. И как ты думаешь, чем Алик занялся? Ты наверняка не знаешь.

— Я начал писать стихи. Не ожидали? Мы поселились в Лоси, у нашей родни, в развалюхе, и там я сидел в мансарде и писал. Не помню уж, через кого показал стихи Эренбургу. Неплохие стихи, сказал Эренбург, но проблематика... Так не начинают. Так могут себе позволить писать Межиров или Винокуров, но не вы. Вам лучше переводить, чтобы как-то существовать. Достаньте подстрочники. Достал я подстрочники. Переводчиков тогда было мало. Как вы думаете, сколько книг я издал за пять лет?

— Ну, три,— говорю я, сознательно преувеличивая.

— Пятнадцать! — смеется Янов.

— Знаешь, мы даже разбогатели. Купили маленькую двухкомнатную квартиру, купили мебель. Но это же Янов, все снова рухнуло.

— Конечно, это занятие было обречено с самого начала. Переводить мне было ужасно скучно, и я хулиганил, делал, что хотел. Как сказал Назым Хикмет, прочтя турецкие стихи: «Хорошие стихи, но ничего общего с оригиналом». Слуцкий хвалил. Ну и что? И тут я схулиганил. Придумал голландского поэта и издал подборку его стихов.

В Голландии шум: такой крупный поэт, а мы его и не знали. Вступили в дело переводчики-конкуренты, кто-то, знаю кто, но не скажу, написал телегу. Я плюнул и уехал на Кольский полуостров работать в районную газету, мне было интересно. Писал там о сельском хозяйстве. Приехал в Москву, у меня появилась идея о воде, о том, что вода в нашей стране ничего не стоит и поэтому ее очень легко вконец испортить промышленными отходами. С этой идеей пошел я в «Известия». Встретил меня известный вам, вероятно, Лисичкин. Он переговорил с Аджубеем, и я начал ездить от них в командировки. «Известия» меня напечатали, потом пошло в «Литгазете», в «Комсомолке». Были остатки хрущевской оттепели, я увлекся, тут я и познакомился с Худенко. А потом вы сами знаете. После смерти Худенко я задумался: почему ничего не получается. И начал писать книгу, из-за которой и возникли неприятности. Потом Америка. Как преподавать студентам? Я не знал. Надо было научиться, разработать свою систему. Я разделяю класс на две группы: одна сражается на советской, другая на американской стороне. Две команды. Остальные пишут рецензии. Оказалось, что это живая вещь...

— Да, настолько живая, что в Анн Арборе тебе не продлили контракт,— вставляет Лида.

— Я всегда был против «звездных войн», это общеизвестно, ну и что? Но один профессор, крайне консервативный, услышал об этом на моей лекции. Возмутился. Тогда я собрал оба класса, свой и его, и оба высказались против войн. Об этом написали во всех местных газетах, шел 1986 год. Победил вроде бы я. Но собрали против меня «компромат», и я оказался в Нью-Йорке... Вообще все сложно. Когда в начале 1985 года на одной научной конференции я сказал, что начинается новый этап русской истории, председательствующий публично заявил: «Чепуха!» Так относились здесь вначале к тому, что происходит в России. Ну а теперь... Теперь все меняется.

И мы снова заговорили о перестройке. И снова говорили долго. И сказал ныне американский профессор, но человек, всеми своими корнями связанный с нашей страной (недаром его идеи так внимательно изучают люди, профессионально занимающиеся у нас политикой и дипломатией), сказал просто:

— Если перестройка потерпит поражение, то погибнет мир, все взаимосвязано, и хорошо, что Запад осознает это наконец в полной мере.



**ГАЛЕРЕЯ
НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА**



— Так и быть, отвезу вас на «Двор рыбака», но обещайте — ненадолго, — с трудом согласился Николай Иванович. — На сегодня у нас свои задачи. И как же Беркли? Надо успеть и туда тоже.

— Мы там бывали, Николай Иванович.

— Да, но мне хочется, чтоб вы посмотрели, где я там жил, где учился. Обедать будем в рыбацком ресторане на заливе. Сами вы его не найдете, популярное место, студенты и профессура Беркли, всегда очереди. А поужинаем в русском ресторанчике. Совсем простой, увидите — борщ, блины, котлеты. Выходцы из Харбина держат.

— Мы там были в прошлый раз.

— Да нет, об этом месте советские не знают! Этот напоминает столовки. Знаете, как дешевая столовка где-нибудь в Клину или в Кашире. Все, как в России. И чудные 261
пирожные...

Мы переглянулись. Да, все, как в Кашире... И тем не менее расписание получалось уплотненным. Назавтра еще тяжелее. Но Николай Иванович Рокитянский так не считал: он ждал нас так давно! Так много времени прошло со дня нашего последнего приезда в Сан-Франциско, когда мы вместе ездили в Форт-Росс. И так много событий за последний год. И у Николая Ивановича накопилось так много мыслей. А жена у него (мы уже об этом упоминали) датчанка. Камилла. Милая, преданная Камилла, что она понимает в русских делах? Проживя с Николаем Ивановичем больше полувека, она и языка-то нашего толком не знает. Но все понимает. И в минуты, когда ее муж особенно горячится, она восклицает беспомощно, совсем по-детски: «Николя, Николя!», а он машет рукой, успокаивая на русском: «Ничего, Камиллочка, все нормально». И всякий раз, когда мы видимся, делается странно: откуда эта голубоглазая «заграничная» старушка Камилла? Почему Камилла? Настолько русским, нетерпеливым, несдержанным, пылким в свои семьдесят с лишним лет кажется рядом с рыхлой, блондинистой, с трудом передвигающейся «Камиллочкой» сам Николай Иванович.

Итак, быстро сфотографировались у уличного фотографа, замерши с дурацкими лицами на фоне пальм Юнион-сквера.

*Неля
и Серж Сорокко.*

— Десять долларов,— картинно взмахнул потрепанной шляпой морщинистый старик фотограф.— Вот, на память.

— Николай Иванович, расплачиваемся мы.

— Нет я. Бери, парень, шкура ты американская. Дерет, пользуется местом. Зато на память с друзьями, да, Геннадий Владимирович? Я уже заранее боюсь, что вы уедете домой. Отзовут же вас когда-нибудь из Америки, правда? Теперь вот молюсь, чтобы вас подольше задержали. Улыбаетесь? Все равно я за перестройку каждый вечер молюсь.

— Николай Иванович, но дом есть дом. У нас там все — дети, работа.

— Все понимаю, дорогой мой, но и вы меня поймите. Я стар, новые друзья мне уже не под силу. Разные попадают люди. А к вам я привык, у нас общие интересы. Правда, у нас общие интересы?

— Конечно, Николай Иванович. Только куда мы идем? Где ваша машина?

— Шагайте, шагайте, парковки в центре дорогие. На улице я запарковался, вон на том холме.

Минут десять мы карабкались по брусчатке по узким улицам. Куда-то скатывались, поднимались по холмам и снова покатали вниз, к морю. Наконец выехали к нужному месту. «Фишермен уорд» — «Двор рыбака».

«Двор рыбака» — место райское. С одной стороны голубой залив сливается с сияющим голубым небом. Набережная. Вдоль нее газоны с неопишущей яркости цветами. И кругом магазинчики, сувенирные лавки, рестораны. А вот и галерея, куда мы хотели попасть, одна из самых известных галерей города. Она вся распахнута окружающему миру, и входишь в нее, как в продолжение этих голубых небес, солнца, моря. Голубизна заполняет пространство, в котором как бы парят картины. Удивительно праздничное зрелище! И настроение праздничное. В таком месте, если есть деньги — в данном случае должны быть немалые,— непременно хочется купить что-то на память.

Выбор большой — Пикассо, Шагал, Миро, Лерой Ниман, живопись и литографии. И всюду в залах объявления: «продается». Все ясно, мы попали в галерею, где все вывешенное на стенах можно купить. А вот и русское имя. Знакомые яркие краски, знакомый почерк, знакомые сюжеты — Михаил Шемякин. Идем дальше. Межберг, Целков. И снова Миро, Шагал. Почетная компания.

Николай Иванович высокий, седой, мальчишеская чел-

ка на лбу. Он ходит, глядя на экспонаты сверху вниз. Иногда он патетически поднимает правую руку и хорошо поставленным профессорским голосом грозно вопрошает: «И это называется искусство?» — «Современное искусство», — отвечаем мы и идем дальше. Николай Иванович лишь недоуменно пожимает плечами.

Из административной половины галереи выходит невысокий молодой человек в холщовом костюме. Широкие брюки, пиджак с широкими плечами, и все это еще с оттенком местной сан-францисской моды. Ему лет тридцать пять. А может, всего двадцать. Не поймешь. Молодой, с быстрыми глазами.

Он подходит к нам.

— Серж Сорокко, — представляется молодой человек. — Совладелец галереи «Боулс энд Сорокко». — Все это он произносит по-русски и так чисто, что сомнений нет — Серж Сорокко из свежей эмиграции. — Мне доложили, что в галерее русские. 263

— А вы откуда?

— Из Риги, — тут же понимает наш вопрос Серж.

— Погодите, вы тот самый Сорокко? Это о вас писали, как об одном из самых преуспевших новых эмигрантов?

— Это я. Только там все неверно написано. Мой случай глубоко атипичен.

— Почему?

— Во-первых, когда я приехал, я был очень молод. Во-вторых, я свободно владел языком. И у меня была хорошая общая подготовка — и университет, и домашнее воспитание.

— Это важно, — подтверждает Николай Иванович, — молодость в Америке — это очень важно. Значит, хорошее получил образование в России, да, парень? — переспрашивает Николай Иванович. — Я всегда утверждаю, что в России лучшее образование в мире. Учиться, учиться и учиться, так говорил Ленин, — он наставительно смотрит на Сережу, не вздумает ли тот возражать. Нет, Сережа молчит. — Почему я бросил Берклея (так он произносит название маленького университетского городка)? Потому что штатный университет обучает хуже частного. Пошел на шахты, поработал, поднакопил денег и перевелся в Стэнфорд. Все вот этими руками! — Он выжидательно глядит на Сережу. А Сережа смотрит на нас:

— Ну а вы, вы из Союза?

— Да.

— Хотите, покажу вам нашу галерею?
— Мы уже все посмотрели,— спешит Николай Иванович.
— Я вам по-настоящему покажу.
— А о себе расскажете?
— С удовольствием, только зачем? — удивляется Сорокко.

— А мы о вас напишем.

— Но это абсолютно невозможно,— убежденно говорит он.— Это исключено, у вас не пройдет.

— Вы отстали от жизни.

— Я? Я галерейщик. Я знаю, как много изменилось в художественной политике. Но писать о преуспевшем эмигранте вроде меня? Нет, это уже фантастика. Вы, конечно, милые люди, наивные, но...

— В России перестройка,— Николай Иванович с сожалением глядит на Сорокко.— Недавно из России, а не понимает.

Серж Сорокко вопросительно смотрит на нас: что ответить этому чудаковатому старику, сентиментальному, порывистому, строптивому?

— Именно потому я и не верю, что я недавно из Союза,— с нажимом отвечает Сережа.

— Ясно,— обрывает его Николай Иванович. И не от невоспитанности, и не по праву старшего. Ему некогда вдаваться в незначительные споры: времени мало, этот неожиданно вынырнувший парень отвлекает от главного — от разговоров о России, о Форт-Россе, о русских в Америке.— Ладно,— говорит Николай Иванович,— пошли, посмотрим ваши... уж не знаю, как назвать, ваши художества...

Совладелец галереи «Боулс энд Сорокко» снова смотрит на нас: старик ваш симпатичный, но что же это он так темен? Он не темен, отвечаем мы ему взглядами, он особенный, замечательный старик, он с КВЖД, в Сан-Франциско таких людей много, тысячи. А Николай Иванович когда-то был пионером, носил красный галстук, мечтал вернуться на Родину, не получилось.

...Серж Сорокко водит нас по огромной галерее. Семь тысяч футов — даже по американским стандартам это много. И снова перед нами Шагал, Пикассо, Миро, Ниман, и снова Николай Иванович снисходительно пожимает плечами: «А это у вас называется живопись?» А вот и Шемякин.

— Ну этот ладно,— прощает Николай Иванович,—

этот русский парень. И краски у него яркие, и имя подходящее — как у Горбачева. А вы знаете такого русского художника? — он называет имя. — Здесь живет, в Сан-Франциско. Ученик Репина, очень старый человек. У меня есть его работы. Вот это настоящий художник! Не знаете его, нет? Видите, как получается? А ведь рисует совсем как Шишкин, замечательно рисует... Ладно, поговорите немножко, — предлагает Николай Иванович. — У меня тут на побережье дело есть, сметаюсь к своему знакомому. Но я их вам не отдаю, — ревниво предупреждает он Сорокко, — это мои гости. Через два часа жду на набережной. — И Николай Иванович, высокий, элегантный, в сером, под цвет волос, костюме, нехотя удаляется.

А мы усаживаемся на ближайшую лавочку. Совладелец галереи по-прежнему удивлен:

265

— Вы и вправду решили обо мне написать? Это невероятно! Если так, то перемены грандиозные.

Узнав, что мы знакомы с Шемякиным, что следим за творчеством Целкова, он удивляется еще больше.

— Чему вы удивляетесь? Тому, что на свете живут нормальные люди?

— Нормальные люди есть, но они в этом не признаются, — отвечает он.

— Но давайте о вас. Говорят, вам повезло как никому.

— Это правда. Меня взяли на работу в эту самую галерею после устной беседы. Такого в этой стране практически не бывает. Я сам второго такого случая не знаю.

— Давайте начнем сначала.

— С Риги?

— С Риги.

— Что ж, я расскажу вам свою жизнь, хотя, спорим, вы ничего не опубликуете!

— Спорим! — говорим мы.

А океан такой мирный, голубой, и солнце светит так лучезарно, что кажется абсурдом спорить, не доверять друг другу, удивляться нормальным человеческим отношениям, которые возникают между русскими людьми, по разным причинам оказавшимися за границей.

— Значит, с Риги. Отец у меня был совершенно уникальный человек, образованнейший, тонкий. Он был убежденный коммунист, член коммунистической партии с 1929 года, вступил в партию в Чехословакии. В Праге он сидел в тюрьме за то, что срисовал Ленина с почтовой марки и перенес его на Красное знамя. Потом отец переехал во Францию, работал с Ле Корбюзье в его мастер-

ской, получил архитектурное образование. Потом нелегально перебрался по заданию партии в Кишинев. В 1940 году Кишинев стал советским городом. Отец был замгорисполкома по строительству. В Кишиневе познакомился с моей матерью. После войны они переехали в Латвию. От партийной деятельности он отошел, многие его друзья сильно пострадали, многие погибли. Он стал крупным архитектором в Риге, по его проектам много строили. Дома вопрос о выезде никогда не стоял, хотя полжизни отец прожил за границей. В разгар застойного времени он ушел на пенсию. Отец часто горько повторял: «То, что сейчас происходит, не имеет ничего общего с марксизмом».

266 Я учился в университете на иностранном отделении. Дипломную работу писал по Томасу Элиоту, переводил его стихи, перевел большую поэму. Диплом понравился. Кончил университет. Чем заниматься? Дипломатия закрыта, «Интурист» закрыт. Я считал, что, поскольку я еврей, нечего и пробовать. С литературными переводами сложно. Одновременно с учебой я работал в суде. Мама у меня адвокат, и я с детства все это любил. Любил слушать ее истории, любил адвокатуру. Решил закончить юридический и стать адвокатом, как мама, тем более что она уже собиралась на пенсию, я бы мог ее заменить.

Суд Пролетарского района, где я работал, дал мне направление на юридический факультет. (Право на второе гуманитарное образование требует официального направления.) Мне было отказано. Ни на один из запросов, почему отказ, никто из администрации не ответил. Я приходил — молчат.

И вот тут со мной что-то случилось.

— Обида?

— Тут я понял, что это чей-то конкретный антисемитизм, других причин не было. А я молодой муж, отец семейства, у моей жены ребенок от первого брака, на мне обязательства. И я решил буквально в одну минуту — все, конец, уеду! Я никому здесь не нужен, а я был убежден, что окажусь нужным. Я не собирался этого делать никогда, клянусь вам. Не в такой семье я вырос. Но я человек очень заводной и очень деловой, вот почему, наверное, все и произошло. Решил — все. Побежал туда-сюда, подал документы и буквально через четыре недели уехал. Все произошло молниеносно. Я не успел ничего сообразить.

— А как отец к этому отнесся?

— Отец переживал ужасно. Друг Пикассо, приятель

скульптора Жана Арпа, он хорошо знал Европу, был образованнейший человек. Знаете, что он мне сказал: «Сережа, ты меняешь божий дар на чечевичную похлебку». С этим напутствием он отправил меня на Запад. И еще он добавил: «Ты русский поэт. Что может делать русский поэт на Западе?»

— А вы писали стихи?

— Да, и не мог опубликовать.

— Извините, Сережа, но вы слишком многого хотели немедленно. Кто у нас может сразу опубликоваться в двадцать три года? Да никто. Тут нужен счастливый случай. А он бывает редко.

— Может быть. Но я ведь еще и переводил. И я знал: переводчики у нас тоже не любят тесниться... Отец получал персональную партийную пенсию...

267

— Так что на первых порах он мог бы вас и прокормить?

— Мог бы. Но что это такое? Взрослый бугай на шею к отцу? Нет, мне это было оскорбительно. А почему мне было нетрудно на Западе? С первой же минуты? Отгадайте!

— Как отгадаешь. Вам легко, а многим трудно.

— Потому что я не ждал ничего хорошего. Я был готов ко всему, я все был готов делать, абсолютно все. Денег у меня не было, связей тоже. Я вез только ящики с книгами. Кто-то вез мебель, фарфор. Я не вез ничего. Я только хотел попасть в англоязычную страну, потому что к тому моменту хорошо знал американскую литературу. Оказались мы в Америке. Жена у меня кубанская казачка, сами понимаете, какой характер. Работать я начал недель через девять после приезда — совершенно неожиданно для себя.

Дело было так. Я зашел в эту самую галерею, хотел показать работы латышских художников-графиков, которых я собирал. Это были ничего не стоящие мелочи, но мне было интересно, как воспримут в Америке латышское искусство. Вхожу и вижу то же, что увидели сегодня вы: все продается. Пикассо, Сальвадор Дали — пожалуйста. Я только что приехал, ничего не знал о здешнем рынке. А как бы вы реагировали? Наверное, точно так же. Помню, я даже спросил: «Скажите, а это все правда можно купить?» «Вы же видите, люди покупают», — ответили мне. Состояние у меня было шоковое: я не знал, что на Западе существует такая индустрия искусства.

Показал я литографии из Латвии. Оказалось, что латышские художники заместителя директора галереи не

интересуют, а я интересую. Он поговорил со мной об искусстве. Потом они посоветовались. Потом сообщили мне, что на работу взять меня не могут — у меня нет опыта в этой области. А я сказал: «А как же человек получает опыт? Где-то же надо начинать?» Они ответили, ладно, попробуем, у вас приятный иностранный акцент, а у нас в Америке обожают людей с иностранным акцентом.

— Мы тоже это давно заметили: акцент — значит образованный человек, европеец.

— Ну и поставили меня с моим акцентом в галерею. Я им ничего не стоил. Никакого постоянного заработка. Я должен был получать только проценты от продажи. Я стоял, смотрел, как это делается, прочитал книги о тех художниках, которые в это время продавались в галерее. Назывался я консультант по искусству. Было еще десять консультантов. И все очень образованные люди, в основном почему-то бывшие педагоги.

Оказалось, что продать картину — очень трудное дело. Это ведь не туфли и не носки. Картины в отличие от них не необходимы. То есть, может быть, и есть минимальное количество людей в мире, которым это необходимо, но их так мало! Работа в галерее как шла, так и сейчас идет от десяти утра до одиннадцати вечера. Так что работали мы по сменам. И вот неожиданно выяснилось, что у меня хорошо покупают картины.

— Сколько вам было лет?

— Двадцать четыре. Так я попал в эту галерею. Я прошел все ступени. Был консультантом, потом заместителем директора галереи, потом директором, потом вице-президентом компании. Потом сумел купить пятьдесят процентов акций и стал совладельцем. В 1986 году мы с Боулсом открыли отделение галереи в Беверли Хиллс неподалеку от Лос-Анджелеса.

— Безумно дорогой город.

— Да.

— И клиентура там, видимо, особенная, рядом Голливуд.

— Конечно, на это мы и рассчитывали, и дела там пошли хорошо.

— А сколько лет вам сейчас?

— Тридцать четыре.

— А Боулсу?

— Сорок четыре.

— Так что вы оба, можно сказать, молодые.

— Да, у нас динамичная компания.

— Скажите, а как сейчас в Америке относятся к русскому искусству?

— Опыт у меня небольшой, я в Штатах десять лет, но говорят, такой вспышки интереса не было ни во времена спутника, ни в эпоху Гагарина. Огромный интерес ко всему русскому — к музыке, кино. Это то, что люди наиболее хорошо понимают. «Очи черные» Никиты Михалкова прошли с потрясающим успехом. Возник живой интерес к повседневной жизни России. И наконец-то это отразилось на отношении к советской живописи. Она для американцев все эти годы просто не существовала. Считалось, что советское искусство закончилось русским авангардом, так любили писать американские критики. То есть принавалось, что русский авангард был немного советским, а потом все! Кончилось! И больше ничего не было.

269

Я это время как раз застал. Собственно, только сейчас все начинает меняться. Кстати, от этого пренебрежительного взгляда на советское изобразительное искусство пострадали советские современные художники, оказавшиеся за рубежом.

— Как вы к ним относитесь? Кого из них предпочитаете?

— Я вам с удовольствием скажу, я везде это повторяю. Но сначала о том, что я считаю лично. Потом о ценах на мировом рынке. Значит, первое. По моему мнению, из живущих сейчас на Западе один из самых больших мастеров — это Михаил Шемякин. Это единственный художник, которого можно сравнить с Пикассо.

— В каком отношении?

— Погодите, все поясню. Не было в XX веке художника, который был бы настолько многогранен, как Пикассо, который работал во всех жанрах — в масле, рисунке, керамике, в бронзе, в ткани. «Дайте мне жанр, и я буду работать», — это Пикассо. И он всегда работал с новаторством, всегда интересно, революционно, всегда что-то изобретал.

Если сравнивать с Пикассо других художников — Хоана Миро, Шагала, Сальвадора Дали, — это люди, которые делали что-то одно, может быть, работали в двух жанрах, не больше. И так всю жизнь. Один Пикассо выделялся среди них невероятным разнообразием жанров.

Шемякин сегодня тоже выступает новатором в каждом жанре, в каком бы он ни работал. Именно за это ему присуждена почетная степень в Сан-Францисском универ-

ситете. За ряд циклов, которые созданы в короткий срок.

Мне часто приходится слышать: слишком уж много он наработал за такое короткое время, невероятно просто. И я всегда отвечаю — это темперамент. Это такой человек!..

— Да, мы с ним знакомы. Ведь он почти не спит.

— В том-то и дело! Это могучий темперамент, и если бы Шемякина сегодня, не дай бог, не стало, он бы все равно оставил в истории мирового искусства глубокий след. Он уже очень много успел...

— А в чем вы, галерейщик, видите новаторство его работ?

270 — Он новатор в совершенно оригинальном видении мира. У него оригинальные образы, новаторский подход к образу, к тому, как он исследует предмет, который хочет написать. То есть новаторство выражается у него в массе вещей. Даже в способе печатания литографий. Так, как он печатает литографии, ту фактуру, которую он изобрел, ни до него, ни после него никто не сделает.

— Это, наверное, как старые скрипичные мастера с секретом своих скрипок?

— Совершенно верно. У него секрет своего фона, пуантилистического. Так что он новатор во всем, что делает. Нелена Лихан, художница, которая ему давно помогает, однажды сказала: «Когда я думаю о Шемякине, мне всегда кажется: все, потолок достигнут, хватит, дальше ничего не придумаешь, в искусстве давно придумано все. И с этими мыслями захожу к нему, иногда после долгого перерыва, и снова что-то новое! И это новое опять дорабатывается, усложняется, а потом опрокидывается. И все опять сначала...» Это она очень верно подметила: Шемякин все время куда-то идет.

— А как вы относитесь к Целкову?

— Это прекрасный, замечательный живописец. Жаль только, что столько лет он практически делает одно и то же. 1972 год, 1982-й — все одно и то же. Эти его фигуры, вы их знаете... Это очень обидно, одни и те же фигуры, один и тот же круг образов. Иногда натюрморты. Вот и все.

Лев Межберг пишет только натюрморты, очень тонкие, изящные, в одной цветовой гамме. Ну а теперь о рынке. Ведь подлинность и успех не всегда одно и то же. На рынке хорошо ценятся бывшие московские художники Комар и Меламид, художники-концептуалисты, трансавангардисты. Называйте их как хотите, это художники

модного сейчас направления. С ними сотрудничает крупная нью-йоркская галерея, которая и создала им имя. Они хорошо продаются.

В Париже работает художник Юрий Купер, сотрудничает с галереей «Клод Бернар», это очень знаменитая галерея. Ну кто еще? Эрнст Неизвестный, крепкий профессиональный скульптор. Но он не создал ничего нового, что тотчас же поняли на Западе. Все, что он делает, было сделано задолго до него, в 30-е годы, Цадкиным, Липшицем. Вообще монументальная скульптура на Западе не проходит. И даже отклонение Неизвестного в экспрессию жанр все равно не спасает.

— А Шемякин — какое это направление?

— Никакое, свое. Он вне нынешних модных стилей, он сам по себе.

— Это вы привлекли Шемякина в вашу галерею?

— Естественно, как только обрел право голоса. Шемякин как раз в это время переехал из Парижа. Мы встретились с ним в Нью-Йорке. Времена были неудачные для искусства, 1982—1983 годы — спад в экономике. Наш бизнес сократился на шестьдесят процентов. Тем не менее мы сразу подписали с ним контракт. Цены на него растут, это показатель признания. Но подождите, который час? Как там ваш старик? Сердится уже, наверное.

Мы вышли в голубизну залива, Сережа пошел нас проводить. Время, отпущенное Николаем Ивановичем, еще не истекло, но он грустно сидел на лавочке, повернувшись спиной к этому «современному неизвестно чему»... Он увидел нас, обрадованно пошел навстречу:

— Ну вот, теперь все успеем! А вы как, молодой человек? Вы...

— Нет, нет, я останусь на работе, — быстро успокоил его Сережа. — А обо мне вы все равно не напишете, — улыбнулся он нам на прощание. — А если напишете, значит, действительно произошло чудо.

2

Прошло несколько месяцев. Компаньоны фирмы «Боулс энд Сорокко» прибыли в Москву на открытие выставки американского художника Лероя Нимана, интересы которого представляла их галерея. К тому же оба они — Боулс и Сорокко хотели побывать на аукционе «Сотбис», впервые устраиваемом в Москве.

Стоял жаркий московский июль. В отеле «Международный» было настоящее столпотворение. Кроме обычных постояльцев — фирмачей, делегаций со всего света — прибыло около тысячи участников будущего аукциона. Бродили по коридорам москвичи, рассматривая картины, выставленные на продажу. Боулс, высокий сухопарый американец, казался флегматичным рядом с подвижным, непоседливым Сержем Сорокко. «Как ртуть, — сказал Боулс о своем компаньоне, — темперамент как раз для нашего бизнеса». А Серж, Сережа успевал делать тысячи дел — везде побывал, всем позвонил, огорчившись, что не застал Ирину Антонову, директора Музея имени Пушкина, тут же утешился, поехав на прием в Министерство культуры, где был принят несколькими замминистрами.

272 Потом в Союзе художников СССР — разговоры о совместных выставках, о постоянных галереях. Серж Сорокко был полон деловитости.

Но сидящий в нем Сережа был смущен и немного растерян.

— Потрясающие перемены, просто потрясающие, — говорил он нам на следующее утро после бурного вечернего аукциона «Сотбис».

Мы сидели в кафе отеля «Международный», известного москвичам под именем Хаммеровского центра. Сидели, вяло пили кофе: вчерашние эмоции еще не успели выветриться.

— В Союзе художников все встали и захлопали, когда мы подписывали договор. Потрясающе! — рассказывал Сережа каким-то не очень уверенным тоном. То есть все это было: и встречи, и дружеские разговоры, и банкеты, и множество проектов. Все было. Но неужели все это будет продолжаться дальше? Неужели это не хрупкие мечты интеллигенции?

— Ну а аукцион? — как бы ответили мы ему вопросом на незаданный вопрос, на все его невысказанное смятение от первой встречи с Родиной после десятилетней разлуки.

— А вы что-нибудь поняли? Бешеные цены! Безумные! Такого с ценами на советское искусство никогда не было.

Да, вчера мы в этом убедились. Вчера фирма «Боулс энд Сорокко» пригласила нас пройти с ними в ряды, где сидели основные покупатели, участники аукциона. Так что мы оказались не среди счастливых зрителей с пригласительными билетами, а в самой гуще событий. Во время аукциона именно в наших рядах кипели страсти, подни-

мались руки с номерами, цены росли. Несколько раз Серж Сорокко тоже поднимал руку с номером. Но быстро отказывался от дальнейшей гонки.

— Это безумие, — горячо шептал флегматичный Боулс. — Что происходит? Родченко, Удальцова — это понятно, мировая классика. Но остальное? За такие цены хорошего Пикассо можно купить! Серж, мы ходим с круга.

— Безумие, безумие! — азартно восклицал Сережа. — Это то, о чем мы с вами говорили в Сан-Франциско. Мода на все советское!

— Спокойствие, Серж, — повторял раскрасневшийся Боулс, в своей благообразной взволнованности страшно похожий в эти минуты на персонажа Диккенса, переживающего острые события на лондонской бирже. — Спокойствие! Лучше мы купим Пикассо. Подождем. Скоро на рынке должно появиться много советских работ. Нам нужен выбор.

— Нет, но что творится! — изумлялся Серж. — Первый раз вижу...

А успех аукциона нарастал лавиной. Мы не успевали поворачивать головы, чтобы уследить за поднимаемыми руками.

...И вот мы пьем кофе, обмениваемся вчерашними впечатлениями. Говорим о делах, о предстоящих выставках, о том, сколько бы стоили здесь Шемякин или Целков, будь они представлены на аукционе: ведь оба гораздо сильнее многих из тех современных художников, чьи вещи были проданы вчера за такие огромные деньги.

— Что ж, — бодро говорил сан-францисский галерейщик Серж Сорокко, — не по их вине не были вчера представлены их работы. Ничего, время все расставит по своим местам. Главная загадка — неслыханный интерес к России. Невероятный. Вот что самое важное, не правда ли?

— Теперь вы верите, что мы о вас напишем?

— Почти, — он запнулся. — Почти верю. И все равно...

3

И прошло еще полгода, и состоялась в Москве выставка Шемякина, которую представляла галерея «Боулс энд Сорокко». Выставка проходила с огромным успехом. Радостно переговаривались приехавшие на ее открытие америанские коллекционеры. А владельцы галереи... Они сделали огромное дело — впервые возвращалось на

Родину искусство одного из ведущих, вынужденно уехавших за границу русских художников.

С той поры прошло еще полгода. И снова мы в Сан-Франциско, снова голубой залив и ослепительное небо, снова солнечный день, снова набережная, праздничная толпа, люди покупают сувениры, значки, майки, украшения, ходят из галереи в галерею. И мы снова у Сержа Сорокко. Сейчас в его галерее проходит выставка-продажа работ Льва Межберга. И снова галерея поражает своими размерами — огромный зал да плюс еще второй этаж, где стоят и висят ожидающие своей очереди картины.

274 Прошло четыре года со дня нашего знакомства, но как много событий они вместили! Как переменялась художественная жизнь у нас на Родине. С тех пор появились первые кооперативные галереи, где продается живопись современных художников. Их совсем мало, они только делают первые, робкие шаги, но они есть, и продают они что хотят, и никакие бульдозеры им не угрожают. А как подскочили цены! как дорого стоят теперь работы тех художников, чье творчество было долгие годы под запретом. И это тоже знак перемен. Сейчас тем более интересно знать, как организована продажа современного искусства в Америке, как люди покупают здесь искусство. У нас в стране разбираться в том, что делают сейчас художники, тем более коллекционировать их работы трудно, почти невозможно. Нет информации. Почти нет постоянных выставок молодых художников, и уж тем более непонятно, как и где купить их работы.

— Здесь современное искусство продается в картинных галереях, я вам рассказывал в прошлый раз, — говорит Серж Сорокко. — И они есть везде, особенно много в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, которые считаются центрами художественной жизни. Это целая большая индустрия, сеть галерей.

— А могли бы мы устроить подобную систему у нас в стране?

— Вы уже начинаете, но начинать очень трудно. Для этого нужны и галереи, и агенты-галерейщики, и искусствоведы, работающие с художниками, знающие их творчество. На все нужно время. Галерейщик, выставляющий художника, в какой-то мере ответствен и за направление его карьеры, и за создание его образа. Это во многом зависит от того, как между ними складываются отношения. Часто такое сотрудничество длится десятилетиями. Так с Пикассо, например, работали Канвайлер, Амбруаз

Волар. Так с Миро работал Ами Мэг. Он работал и с Пикассо, и с Шагалом, и с Браком, и другими известными художниками нашего столетия. И если бы не было этих галерейщиков, история искусства XX века вполне могла бы быть другой.

— Вы уверены в этом? Может быть, в вас говорит ваша профессия? А Ван Гог, Тулуз-Лотрек, те художники, которые сейчас продаются за миллионы и кто прожил жизнь безо всяких галерейщиков?

— Развитие общества было другим,— терпеливо объясняет нам Сорокко.— Поэтому я уверен в том, что говорю. Рембрандт был сам себе галерейщик. Он продавал свои работы и еще целую группу художников. Но когда это было! Мир менялся. До последнего века искусство не было так распространено. А в XX столетии становится уже не просто объектом декорации или коллекционирования, это сейчас и объект спекуляции, когда в игру вступают миллионы долларов, в него вкладывают деньги, как вкладывают в акции, в золото, в бриллианты. Кстати, я думаю, понятие «голодающий художник» уже кончается. На сегодня оно перестает существовать. Если художник на Западе работает с картинной галереей, он уже как-то обеспечен.

— Ну а если нет?

— Если это хороший художник, его скорее всего найдут. Сейчас очень много людей профессионально ищут новых художников, это их работа, за это им платят деньги. Я сам просматриваю слайды работ чуть ли не пятидесяти художников в неделю, без конца езжу в Европу — во Францию, Германию, Италию, Испанию. И всюду ищу и спрашиваю. Но есть разные галереи. Есть чисто декоративные, коммерческие, они продают свои акции на бирже, у них свои представительства в двадцати — тридцати городах. Они продают картины, скульптурки, к искусству это отношения не имеет никакого. Одно дело «Мост Золотые ворота при закате» и совсем другое огромный скелет Шемякина. Эти мосты можно продавать тысячами — их всегда купят. Западная широкая публика так же не понимает современного искусства, как публика в России. Тут ведь дело не только в культуре, но и в определенном образовании, подготовке. Их мало кто имеет. Только на Западе это знание можно было приобрести, искусство выставляется, а в Советском Союзе до недавних пор его просто не знали. Так вот наша галерея старается искать новаторов в искусстве.

— Вы имеете в виду новизну фактуры у Льва Межберга, например?

Мы стояли на втором этаже галереи и смотрели вниз, в зал.

— Посмотрите, как разглядывают его полотна посетители. Им, наверно, интересно, как это сделано. Необычные краски, необычный оттенок... А как вы его нашли? Вы в Сан-Франциско, он в Нью-Йорке, скромный эмигрант из Советского Союза...

276 — Это Шемякин его нашел. Я был в Париже в очередной командировке, звонит Миша: «Сережа, немедленно вылетай, я нашел такого художника, что у меня поднялась температура. Если бы у меня были деньги, я бы все у него купил». Вы же знаете Мишу, у него все — немедленно! Черное или белое. Я прилетел через два дня и увидел действительно потрясающие натюрморты и тут же купил для себя. А потом мы заключили с ним контракт.

— Ну а как же он жил до вас? По вашей теории «неголодающего художника»?

— А он очень неприхотливый человек. У него покупали русские — Растропович, Барышников... У него очень музыкальное искусство, он нравится музыкантам. И совершенно особая фактура. Он использует плавленный воск, смешивая его с красками. И Межберг очень хорошо у нас пошел.

— Ну а если прекрасный художник и «не идет»?

— Бывают такие художники и бывают такие периоды у художников. Развиваются в очень интересном направлении, а продаются в это время плохо. Тот же Шемякин, его «кенигсбергский период», как мы его называем. Ужасы войны, его детские воспоминания. Черепа, скелеты.

— Это то, что было представлено на выставке в Москве?

— Да, часть была в Москве.

— Сильные работы.

— Да, но не всякий это выдержит. И сейчас на него иногда нападает настроение, он снова рисует такие вещи, очень интересные работы. Мы их выставяем. Вообще, должен вам сказать, что, если бы не галереи современного искусства, искусства живущих сейчас художников никто бы не знал. Где их еще увидеть? А у нас проходят тысячи людей в день. Конечно, это отчасти потому, что мы расположены в районе, где можно погулять, пошататься, развлечься. Это как Арбат в Москве. И к тому же галерея бесплатная, входи и смотри. Чему-то люди учатся,

видят все-таки. Ну а покупатели, если они не постоянные коллекционеры... Никто ведь не заходит в галерею, чтобы купить картину. Это в супермаркет приходят, чтобы купить сыр или хлеб. Желание купить рождается спонтанно, и тут консультант, специалист расскажет подробно все о художнике. Ведь это риск — тратить такие большие деньги. У нас вещи от пяти тысяч до полумиллиона долларов. Просто так не купишь, из каприза. Вот почему и нужны опытные профессионалы. У нас штат сто человек. Это очень много. И в штате у нас специалисты из Стэнфорда, из Сан-Францисского университета. Вот почему я говорю, что без знающих искусствоведов у вас дело не пойдет, без них не обойтись. Кроме того, необходимо все-таки знать, на кого рассчитана галерея, кто ваши покупатели. Мы провели маркетинг, и мы знаем, что у нас покупают люди с доходом не меньше чем в сто тысяч долларов в год. Врачи, бизнесмены, чиновники высокого ранга. В Сан-Франциско около пятидесяти галерей, и все должны знать своего покупателя.

277

— А как с конкуренцией?

— У нас нет конкуренции с галереями, которые торгуют китчем. И нет конкуренции с теми, кто продает, допустим, Сезанна и Генри Мура. У нас конкуренция с теми, кто занят современным искусством, кто связан с живущими сейчас большими художниками. И наши размеры — это тоже особый случай. У нас очень большая галерея. В Нью-Йорке есть несколько известных на весь мир галерей. Очень престижных. Им по сто, по восемьдесят лет. Как правило, это один небольшой зал где-нибудь на втором-третьем этаже и работают там два-три человека. Муж, жена, секретарь — и все. И связаны они только с крупнейшими, известнейшими художниками, уже немолодыми. Это совершенно особые галереи.

— Прошло много времени со дня нашего знакомства. Как вы считаете, улучшилось ли отношение к советской культуре за это время? Стало ли более теплым или превратилось в привычно доброжелательное?

— Сейчас климат просто невероятного интереса. И огромного интереса к советским художникам вообще, даже не очень зависимый от качества их работ. Вы помните аукцион «Сотбис» в Москве? Теперь то же самое творится в Америке. А вообще, если говорить по-деловому, надо не упустить момент. Такой пик интереса долго продолжаться просто не может. Так вообще не бывает. Год-два-три — не может быть так, чтобы Россия продол-

жала так будоражить умы, как будоражит сейчас. Произойдет некое насыщение, интерес спадет. На Западе вообще не бывает долгих увлечений. Надо успеть сделать как можно больше. Надо, чтобы русская культура была понята и оценена на Западе, чтобы она послужила добром делу, возникновению взаимного доверия. Культура тут может сделать больше всего. Ведь здесь не знают просто ничего о современном русском искусстве. Даже средний интеллектual выдаст вам всего три имени — Ростропович, Барышников и Макарова. В литературе Солженицын. Все. Я же очень плотно общаюсь с американцами. Если американец вдруг интересуется литературой, может быть, он слышал еще два имени — Евтушенко и Вознесенский. А художники? Да о Малевиче и Филонове вам не скажут ни слова. Никто не знает. А знать хотят.

— Вы нам рассказывали последний раз в Москве, что собираетесь заняться культурными обменами...

— Да, уже была выставка на Кузнецком мосту. Мы привезли в Москву двадцать нью-йоркских художников, потом двадцать москвичей приедут в Нью-Йорк. Это музейная экспозиция. Главное сейчас — как можно более быстрая реакция на выставки, главное — эффект, чтобы не упустить время, пока американцам все внове...

* * *

Мы вышли на набережную. Толпа не редела. Кого-то рисовали уличные художники, странноватая женщина в широкополой голубой шляпе гадала на картах, кто-то покупал мороженое, кто-то закусывал, сидя на парапете, много людей ходило из галереи в галерею. И снова, как в тот первый день знакомства с Сержем Сорокко, мы должны были торопиться: нас давно уже ожидал наш ревнивый сан-францисский друг — неугомонный Николай Иванович Рокитянский. И снова нас поджидала его насмешливая фраза, к сожалению, во многом отражающая отношение к современной живописи людей его поколения и в Америке, и у нас в стране: «Ну что, насмотрелись? И это называется искусство? Вот если бы Репин или Шишкин, это я понимаю».

Ну что с ним будешь делать? Спорить бесполезно. Снова нам придется отвечать: «Конечно, это искусство, а как же!»

**НОЧНЫЕ
РАЗГОВОРЫ**





Резкий телефонный звонок. За окном темно. Ночь. Значит, это Миша, наработался, устал, хочет поговорить.

— Ребята, я вас не разбудил, нет? Ну хорошо. Скажите, ребята, по ночам разные мысли в голову приходят, ну почему человек творит вокруг себя такие безобразия? Почему он готов терзать других людей, пытаться издеваться над ними, мучить? Даже животные этого не делают. Волк, скажите, зачем он режет ягненка? Чтоб не сдохнуть с голоду. Не для того же, чтоб насладиться убийством...

Вопросы жизни и смерти, войны и страданий человеческих преследуют Михаила Шемякина, не дают ему покоя, громко звучат в его работах. Последний раз, когда мы были у него в студии, видели большое полотно — на черном фоне люди, как призраки, словно огромный рентгеновский снимок. Называется «Бухенвальд». Может, 281 эта тема идет от его раннего детства, от тех лет, когда он, мальчишка, сын советского военного коменданта Кенигсберга, увидел дымящиеся развалины, разлагающиеся тела убитых, кровавые следы прокатившейся беды. Он собирал землянику на братских могилах, а из земли торчали кости. Как все мальчишки лазил по подвалам, а в подвалах находил разложившихся мертвецов: кого-то пристрелили, кто-то застрелился сам, да так и остался сидеть... Разве такое забывается?

...По ночам мы разговариваем с Мишей обычно долго. И каждый разговор кончается одинаково: «Ребята,— говорит Миша,— давайте споем». И, не ожидая ответа, затягивает баритоном:

Там, вдали, за рекой
Зажигались огни,
В небе ясном заря догорала.
Сотня юных бойцов
Из буденновских войск
На разведку в поля поскакала.

А между тем за окном светает. Над Нью-Йорком разгорается заря. Город просыпается, оживает шумом моторов, гудками автомашин, ровным шелестом несущегося вдоль Ист-ривер шоссе.

Боже, до чего все это несовместимо! Шемякинский баритон в трубке, песня о буденновцах и этот огромный,

*Михаил Шемякин
на берегу Ист-ривер.*

чужой, величественный город. Вот уже поплыли по реке длинные красные баржи с городским мусором, над ними низко выются чайки, чайки садятся и к нам на балкон, на тридцать третий этаж. Розоватые чайки — уже взошло солнце — летают в узких коридорах между небоскребами. А над ними, высоко в небе, появляется белый купол аэростата с надписью «Сити-бэнк». Реклама. Значит, сегодня целый день аэростат будет парить над городом...

А мы поем дальше:

Синенький, скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Теплых и ласковых встреч...

282

Мы поем. Самозабвенно, счастливо. Поем долго.

...Что нужно человеку для полного счастья? Воплощенный в творчестве талант? Широкое признание? Успех? Деньги? Казалось бы, все это у Михаила Шемякина есть. Один из самых признанных на Западе русских художников, картины выставляются в крупных галереях Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Парижа, Токио. Ценятся на художественном рынке высоко. Удачник, которому завидуют многие.

С творчеством Михаила Шемякина мы знакомы давно. По его юношеским литографиям. Вот уже четверть века, как висят они на стенах нашей московской квартиры. Работы раннего, ленинградского, периода из цикла «Галлантный век». Люди в париках, с длинными туловищами и короткими, как бутылочки, ногами, игривый кудрявый ангел — все это можно было бы воспринимать как манерничанье, если бы не веселый, иронический взгляд из сегодняшнего дня на ушедшую эпоху. Попав в Нью-Йорк в длительную командировку, мы разыскиваем Шемякина. С эмиграцией советская колония практически не общается. «Не рекомендуется» — с незапамятных времен. Хотя перестройка и дуют свежие ветры... все равно. Особенно Шемякин, фигура знаменитая, колоритная, но, как говорится, противоречивая. Странное все-таки дело: приезжающие из Москвы поэты, писатели встречаются с Шемякиным, иногда он ведет их «творческие» вечера, на это и сейчас и в «доперестроечные» годы смотрели как бы сквозь пальцы. А вот постоянно живущие и работающие за рубежом советские люди... вот это уже как будто ни к чему. Кто сказал, когда? Неведомо. Но традиция стойко

соблюдалась и, разыскивая координаты Шемякина, мы не то чтобы отступаем от негласной инструкции, но действуем гибко, то есть на свой страх и риск.

И вот наконец разыскали телефон, звоним, договариваемся о встрече.

— У вас есть мои работы? — удивляется Шемякин по телефону. — Вот это да. Первые советские коллекционеры за семнадцать лет. Ранние, ленинградские? Потрясающе! А кого из коллекционеров вы знаете в Ленинграде?

Мы называем. Имена поражают его еще больше:

— Это, что же, выходит, у нас есть общие друзья?

И мы догадываемся, что его поражает. Все это не знаменитые, известные всей стране люди, а скромные собиратели, нищие, преданные искусству коллекционеры и художники-авангардисты. Ленинград. Особый город, особый мир начала 60-х годов. Кажется, вся его атмосфера, молодые люди тех лет, картины — все давно кончилось, забыто, ушло. Но нет, живы и работают те художники, кто выдержал тяжелый пресс минувших десятилетий, их работы теперь широко выставляются и стоят теперь так дорого, что ко многим и не подступиться... Знакомые имена, общие знакомые... 283

Словом, очень скоро мы оказываемся в Сохо. Там живет Шемякин. Сохо — один из самых престижных и модных сейчас районов города. Район картинных галерей, художественных мастерских, небольших, но очень дорогих магазинов. В начале века здесь размещались склады, швейные мастерские, разного рода мелкий бизнес. В последние десятилетия Сохо облюбовала богема, двинувшись сюда из слишком обуржуазившейся Гринвич-виллидж. К тому же для галерейщиков и художников эти кирпичные дома, такие человечные в сравнении с холодными небоскребами, оказались не только приятными, но и удобными. 111, Вустер-стрит. Кирпичный дом с темным буроватым лицом. Как это принято в старых нью-йоркских домах, кабина лифта ввозит прямо в квартиру. Точнее говоря, в студию.

Дверь открывает хозяин мастерской. Ему лет за сорок. Брюнет с короткой стрижкой (а на старых фотографиях кудри до плеч), темные любопытные глаза за стеклами очков. На нем черная гимнастерка, черные галифе, на ногах высокие сапоги. О сапоги трутся кошки. Сколько же их? Много, сразу и не пересчитать. Вот и собаки пришли. Все вместе встречают гостей.

Сапоги, галифе... Летом, в жару. Ко всему на свете привыкаешь в Нью-Йорке, но даже для Нью-Йорка не слишком обычно. Пройдет много времени, прежде чем мы поймем: одежда составной частью входит в тот карнавал, который Шемякин устраивает вокруг себя, в ту непрерывную игру, без которой он не может жить. Художник, импровизатор, актер, певец, поэт. Все умеет, все получает-ся. А экстравагантность одежды... С одной стороны, так надо. Любой претендующий на общественное признание человек — художник ли, политический деятель — должен создать себе то, что на Западе определяется английским словом «имидж», образ. С другой стороны, этот же «имидж» — как бы черта, с помощью которой
284 { Шемякин отделен от внешнего назойливого мира. Дальше роговых очков и диковинных для Нью-Йорка сапог вход запрещен. Кстати, о том, что при всей своей открытости и размашистости характера вход в его душу с какого-то неуловимого момента, как говорится, строго запрещен, догадываются в окружении Шемякина очень немногие и идут напролом, запанибрата, чаще всего на «ты», будто нет никакой дистанции между случайными знакомыми, посетителями и крупным художником, будто все вокруг на равных в этом мире... И какое искреннее, плебейское изумление, когда обозначается граница, какая обида и раздражение! Но обо всем этом позднее. Сейчас же мы только познакомились и все впереди...

Студия в Сохо — большой зал с высокими окнами, узкая лестница ведет на второй этаж, оттуда выход на крышу — любимое обиталище нью-йоркцев в летний зной. На первом, главном, рабочем этаже портрет Петра I, копия посмертной маски Пушкина, на полках работы самого Шемякина — изящные, остро вычерченные барельефы, скульптуры: полулюди-полунасекомые. На высокой подставке гитара с черным бантом на грифе.

— Это гитара Высоцкого. Вы знаете, что мы с ним дружили? Когда приезжал в Париж, бывали с Мариной у меня. В парижской студии он напел, а я записал цикл его песен. Когда догадался это сделать? Сам не знаю. Сидит во мне какое-то историческое чувство, видно, с рождения. Побежал, купил лучшую по тем временам аппаратуру, хорошо, деньги уже были: «Давай, говорю, работать, но только всерьез». Он увлекся, выкладывался, когда пел, до последнего, пот с лица градом катил... Поглядите на меня, на кого я похож?

Шемякин стоит перед нами, высокий, сильный, лицо

и руки в шрамах («Да, драться я всегда любил», — признается он позднее).

— Ну, на кого я похож? А Володя почему-то всегда называл меня птичкой. Почему, зачем? Нежные слова он вообще не переносил. А ко мне откуда ни звонил — из Москвы, из Одессы, со съёмки, с гастролей откуда-нибудь — всегда одно: птичка да птичка.

Неловкость первых минут знакомства пропадает. Мы начинаем расспрашивать, хозяин отвечает. В проеме между окон — фотография советского офицера, три ряда орденов на груди.

— Это мой отец, полковник Михаил Петрович Шемякин, награжден орденом Ленина и шестью орденами Красного Знамени. Был представлен к седьмому, но вмешались завистники: «Не допустим, чтобы у полковника было больше, чем у генералов». Непременно добьюсь восстановления награды. И поставлю отцу памятник в аллее Героев в Краснодаре. Вот увидите, все сделаю! 285

Свою автобиографическую книгу, изданную на Западе, Шемякин назвал не без вызова: «Я сын советского офицера».

...Человек рождается задолго до паспортной даты своего появления на свет. Художник Михаил Шемякин, наверное, не был бы таким, каков он есть, если бы не красный конник Михаил Петрович Шемякин, беспризорник с Хитрова рынка, сын полка, воспитанник будущего министра обороны СССР. В 1934 году в характеристике М. П. Шемякина командир-комиссар 4-й Краснознаменной кавалерийской дивизии Георгий Константинович Жуков писал: «Товарища Шемякина Михаила я знаю с 1920 года... В 1920 году тов. Шемякин участвовал в боях с частями десанта Врангеля... в том же году участвовал со мною на Кубани по ликвидации мелких банд, а в конце 1920 года под моим командованием был переброшен в Воронежскую губернию... По окончании гражданской войны тов. Шемякин служил со мною в частях 7-й Самаркандской дивизии до отправления его в нормальную школу. Несмотря на свой детский возраст, тов. Шемякин обладал исключительной храбростью, способностью и выносливостью».

Начав Великую Отечественную войну под Москвой в кавалерии, Шемякин-старший закончил ее в Берлине, при взятии рейхстага, командиром мотострелковой бригады. Жена и родившийся в 1943 году сын Миша сопровождали его в обозе. Как любят писать о первых годах жизни

художника западные искусствоведы, «отец, ревнивый осетин, всегда держал жену и ребенка при себе».

...Осетин — особая история. Маленький мальчик, наследник древнего осетинского рода князей Кардановых, в конце первой мировой войны остался круглым сиротой. Отец погиб на войне, родственников перерезали в ауле из кровной мести. Мальчика усыновил товарищ отца по полку, офицер, дал ему свою фамилию — Шемякин. Впоследствии офицер этот примкнул к белому движению, потом отошел от него, вернулся с ребенком в Москву. Здесь он был арестован и расстрелян в ЧК. Мальчишка стал беспризорником, вертелся на Хитровом рынке, где и нашел его казак Степан Пилипенко, привел с собой в полк. Так малолетний князь Карданов, он же Шемякин, стал сыном полка в свои девять лет.

Сейчас, когда страна заново осмысливает трагические страницы своей истории, когда мысли невольно возвращаются к истокам, задаешься вопросом: сколько же детских переживаний, страданий, болей, утрат пришлось на долю этой детской души, попавшей в самое месиво гражданской войны, сколько ожесточения, непонимания происходящего, сколько отваги родилось за те далекие годы в этом горячем осетинском мальчишке, не расстававшемся с конем, наганом и шашкой. Как лепился его характер? Каким он был от природы и каким стал? К тринадцати годам Шемякин уже был награжден двумя орденами Красного Знамени, случай вообще уникальный. А если учесть те первые годы Советской власти, когда наградами не расшвыривались?

...Получился совершенно особенный человек, самозабвенно храбрый, резкий, гордый, свою собственную жизнь и жизнь вообще ценивший невысоко, как то и было свойственно многим людям его поколения. Маленького роста (как любил пошутить над ним при встречах тот же маршал Жуков: «Ну что, все те сто двадцать сантиметров вместе с каблуками?»), самолюбивый до крайности, он был нелегок в общении — и с начальством, что в итоге не принесло ему высоких чинов, и в семье. Мать Миши, актриса, встретив Шемякина-старшего, развелась с мужем, известным актером, исполнителем роли Фурманова в фильме «Чапаев», и отправилась с Шемякиным на фронт, то есть на войну. Терпела все: ревность, властность, вздорность, безудержную вспыльчивость.

— Трудный был, — вздыхала, рассказывая нам о своей жизни, Юлия Николаевна Шемякина, в свои семьдесят

с лишним лет по-прежнему красивая, высокая, статная, черноглазая. — Все бывало: из дому не выпускал, поколачивал, после войны выпивать начал. И все это после моей игры в театре, после съемок в кино, после жизни с преданным, очаровательным человеком, которого я оставила... Судьба.

Судьба, причудливо соединив гены этих двух, совершенно не схожих людей, подарила искусству Михаила Шемякина.

Сына своего Шемякин-старший не понимал, нестандартность его выбивавшегося из всех тогдашних рамок таланта, а со временем и поведения не одобрял настолько, что поступил просто — выгнал из дому. Извечная проблема отцов и детей стояла в этой семье остро. Отцу казалось, что сын предаёт идеалы его юности, идеалы того общества, ради становления которого он скакал с шашкой наголо навстречу врагам, прославившись редким умением разрубать противника от плеча до седла — особое среди кавалеристов «искусство», требующее громадной физической силы. Сыну, человеку совсем другой эпохи, от его восторженных воспоминаний становилось страшно... 287

Но, видимо, от отца унаследовал сын и лихость характера, и стихийную одаренность, и невероятную работоспособность, и безудержную вспыльчивость, и жизнестойкость. Но не только это. Оттуда же, наверное, от легендарного конника, и романтизм его творчества, и такие нередкие детали его картин, как островерхние шлемы и бешено несущиеся кони.

...Люди сами выбирают свой путь, но каждого человека — в ту или иную сторону — лепит время. После Великой войны, последние дни которой стали впечатлениями будущего художника, наступило время победы, когда казалось, что все теперь изменится, что насилие, массовый террор 20—30-х годов исчезнут навсегда, что впереди только счастье и солнце. XX съезд прошумел над страной свежим ветром очищения, вызывая прилив творческих сил, рождая более свободное, открытое видение мира. Все это не мог не ощутить на себе мальчиком и Миша Шемякин, принятый в 1957 году в художественную школу при институте имени Репина в Ленинграде.

«Оттепель» оказалась недолговечной и неустойчивой. За год до окончания Шемякина из художественной школы исключили. Обвинение: увлечение «чуждыми идеями» — творчеством художников позднего Возрождения

Босха, Грюневальда, работами представителей советского авангарда Татлина, Малевича, Лисицкого. Тяжелый удар: к этому времени он знал, что не хочет и, главное, не умеет ничего другого, как рисовать. Собственно, это было ясно давно. Недаром, когда мать привела его, шестилетнего, первый раз в Эрмитаж, у Миши от избытка впечатлений поднялась температура и он упал в обморок. Так определилась судьба. Кстати, и сейчас он по-прежнему не может ходить в музеи и на выставки — температура тотчас же подскакивает.

288 Теперь судьба выставляла его на улицу. Что ж... Он сумел устроиться такелажником в Эрмитаж. Это была удача. Правда, удача с большими физическими нагрузками. («Ребята, думаете, работать было легко? Бригада у нас была двенадцать человек на весь Эрмитаж. Хилые щенки, вот кто мы были. А нагрузка... потаскали бы картины! В Эрмитаже они какие? Десять, двенадцать метров в длину, тащим, надрываемся... А мумии перекладывать? Положишь на место, зазеваешься, руку из-под крышки вовремя не выдернешь — и проткнет ее штырем насквозь. И все равно, какие были времена! До чего счастливые!..»)

Счастливые времена наступили, когда Шемякин получил разрешение делать копии картин. Он копировал великих прошлого, а рисовал по-своему, «не так, как нужно». Да к тому же и жил не как все. Разгуливал по Ленинграду во фраке и цилиндре, участвовал в вечерах и ночных бдениях таких же, как он, молодых художников-нонконформистов, объявивших о создании творческой группы «Санкт-Петербург». В самом названии ее таился неслыханный по тем временам вызов. Сейчас один из популярных рок-ансамблей называется «Санкт-Петербург», и никто не изумлен, напротив, испытываешь даже некоторую благодарность к его создателям за интеллигентность названия.

Называлась группа пышно, а состояла из двадцатилетних мальчишек, начинающих поэтов и художников, пусть внешне дерзких, нестриженных, косматых, вызывающе по тем временам одетых. Но за внешним вызовом таилось одно — страсть к новым формам в искусстве, мечта, чтобы их просто не трогали, дали учиться и работать. Во все времена художники и поэты ведут себя не совсем традиционно. Ведь ходил же Маяковский в желтой кофте, а его друг Бурлюк с серьгой в одном ухе. И ничего, мир не рухнул.

Кому они мешали, эти ребята, нищие жильцы огром-

ных ленинградских коммуналок? Оказалось, что они вступили в конфронтацию не только с родителями, это уж, как говорится, вечный и печальный закон жизни, но и с властями. Оттепель заканчивалась, меры применялись новые и решительные. Новым поколениям инакомыслящих или тем, кто ими считался, был уготован новый удел. Теперь, спустя почти тридцать лет, интересно бы узнать, кто его придумал?..

Жизнь молодого Шемякина, по его словам, квалифицировали просто: антисоциальное поведение, психические сдвиги.

И очутился Шемякин в психиатрической больнице. Кстати, не он один. Только полгода спустя удалось его матери выволить сына из психушки. Потом были скитания по Кавказу, жизнь келейника в Псково-Печерском монастыре. Приютил его настоятель, отец Симеон, бывший участник Великой Отечественной войны, поклонник авангардного искусства, человек добрый и жалостливый. «Говорят, отец Симеон уже умер. А я все думаю: куда после смерти девалась его коллекция? Он у нас много покупал, поддерживал мальчишек. Многое мы ему дарили. У него была по-своему уникальная коллекция. Неужели после его кончины ее уничтожили? Может, сложили в охапку холсты и просто сожгли? Мало кто понимал тогда нашу «мазню». Все может быть. Надо непременно узнать».

289

Там, в монастыре, впервые открылся перед Шемякиным величественный мир церковных фресок, древней русской иконописи, которая так повлияет впоследствии и на все его искусство, и на мироощущение. Там он прошел обучение древней культуре русской церкви, научился петь псалмы. Там он обратился к религии.

...В 60-е годы состоялись первые художественные выставки Шемякина. В редакции журнала «Звезда», о чем до сих пор вспоминают ее сотрудники. Сохранились и старые фотографии: молодые лица, короткие стрижки, смущенные улыбки, длинные пиджаки, широкие брюки. Все новенькое, все готово к празднику, радости. Общая победа, общая радость... Это так ясно написано на юных лицах — никакой дележки славой, все общее, и никому неизвестно, что ждет этих молодых людей впереди. Да и еще фон: знакомый зал «Звезды» с мраморными колоннами, где и сейчас происходят звездинские чаепития. А на одной фотографии старое кресло в углу, рядом Шемякин. Старинное кожаное кресло и сейчас доживает свой век в том же углу... Глядишь на фотографию спустя

тридцать лет — и будто не миновало нескольких эпох, будто все так и застыло...

О выставке в «Звезде» узнал Игорь Стравинский, приехавший на Родину после большого перерыва. Несколько работ художника он с удовольствием принял в подарок. Очевидцы вспоминают их первую встречу после концерта в Ленинградской филармонии. По лестнице спускаются двое: маленький Стравинский и высокий, худой мальчик, Шемякин, Стравинский держит его под руку, наклоняет к себе и шепотом спрашивает: «А как вы боретесь за свое искусство, в одиночку или все вместе?»

290 Потом была выставка в Новосибирском академгородке, потом в Эрмитаже, где выставились рабочие музея, художники-такелажники. Выставку быстро закрыли, директор Эрмитажа был уволен с работы.

Выставки принесли Шемякину известность, перешагнувшую границы страны. И тем самым нарастающий гнев блюстителей порядка в искусстве: «Шемякин рисовал все больше не так, как все мы видим жизнь».

К тому, что Пикассо рисует «не так», пришлось привыкать. Картины Леже, известного французского модерниста, уже принимали в дар с благодарностью. А тут свои обнаружились, к ним ходят иностранцы, о них пишут в иностранных художественных журналах. О периоде застоя рассказывается сейчас много. Прежде всего об экономике, потом об искусстве — литературе, кино. И как-то забывается порой, что первый удар, массированный — не по отдельным именам, а по целому направлению в живописи! — испытали на себе художники на Манежной выставке 1963 года. Художественное академическое начальство дало бой, продемонстрировав, что не собирается уступать ни своим чинов, ни позиций, ни заказов. Даже слегка потесниться оно не собиралось, хотя в литературе уже звучали новые свежие голоса, появились надежды. Хрущева буквально натравили на «новое» искусство, устроив безобразную сцену в Манеже. После этого наступил очередной отлив, долгий, почти на четверть века, начавшийся более мягкой, чем в сталинские времена, но весьма конкретной охотой за очередными «ведьмами». Ярлыки навешивались привычно: старая терминология была у всех на слуху.

Вспоминается журнал «Знание — сила» тех лет, где один из нас в это время работал. Журнал оформляли «неофициалы», как мы сказали бы теперь, благо и главным художником журнала был неофициал — Юрий Собо-

лев. Необычные яркие обложки, непривычные иллюстрации на целую полосу, только-только входившие в обиход коллажи.

Приходил в редакцию скромный Юло Соостер, приносил очередные рисунки. Неожданная смерть в мастерской (его нашли через несколько дней после смерти) поразила всех как громом. И также поразило, что приехали художники из Эстонии, аккуратно собрали и увезли на родину его работы. Редакторы и авторы радовались за покойного Юло, но и удивлялись. Откуда нам было знать подлинные размеры его дарования? Соостер ни разу нигде не выставлялся, его не приняли в Союз художников... Заходили в журнал и другие люди. Имена многих из них теперь общеизвестны, многие давно живут и работают за рубежом.

291

Рядом с редакцией, в одном из переулков возле Самотеки, была мастерская Эрнста Неизвестного. Туда можно было зайти, посмотреть, послушать. Можно было поехать и в мастерскую к скульптору Вадиму Сидуру. Знали его, в отличие от Неизвестного, в основном профессионалы и узкий круг почитателей и друзей, все больше ученые-академики, физики да математики. Он умер, так и не дождавшись ни одной персональной выставки.

Все это происходило уже при нас, на нашей памяти, можно сказать, у нас на глазах: больше или меньше, но мы знали этих людей, их творчество. С некоторыми из них были знакомы.

А нынешняя молодежь? Что знает она? Очень мало. Даже о бульдозерной выставке. Почти не знает она и имена тех, кто не сам уехал, а вынужден был эмигрировать под неявным, но ощутимым давлением. Не знают у нас до сих пор (и мы сами толком не знаем, нам только рассказывали об этом художники на Западе) о судьбах тех из них, кто хотел вернуться обратно, обивал пороги советских посольств. Но вернуться домой в те недалекие годы было подчас не легче, чем пытаться, несмотря ни на что, оставаться дома и продолжать работать.

Как поет известный эстрадный певец Вилли Токарев в одной своей песне о Шемякине:

Россия, босая девчонка,
Я знаю, не помнишь ты зла.
Но как же такого мальчонку
Другим просто так отдала?

Поется это в своем, как говорится, крайне доходчивом стиле, но суть отражает...

В 1971 году Шемякин покинул Родину. В картузе, который ему подарил один знакомый художник — картуз прокалывали специальными иглами, искали бриллианты, не нашли. С авоськой в руке. В авоське были сушеные яблоки и ножи для натюрмортов. Яблоки тоже прокалывали иглами, долго разглядывали ножи: «Ты что, парень, мясник?» — «Нет, художник». Извечным российским жестом покрутили пальцем у виска и махнули рукой: «Беги, а то самолет улетит!» Так и прибыл он в парижский аэропорт Орли в старом тулупе и с авоськой в руках...

Сначала Париж, теперь Нью-Йорк. Шемякин работает по ночам и звонит нам часто:

292 — Ребята, вы еще не легли? Слушайте, я вот о чем все думаю. Очень много стали писать об эмигрантах в советских газетах и журналах. Повальная мода, без разбору. Прекрасно, когда издают прозу и поэзию. Набоков, Бродский, Галич, Войнович, Владимов... Но о каждом пишут: эмигрант, эмигрант. Вот и я эмигрант. Нет, ребята, обо всех подряд так нельзя, вот я, например, я не эмигрант, я изгнанник. Это различать надо. Все мы здесь все-таки очень разные. Знаете почему? Да потому, что я, например, остался верен своей Родине, глубинно верен. И никогда этого не скрывал. Что бы тут на меня ни навешивали, я все равно отвечал, что горжусь своей великой страной и ее культурой. И я страдаю, когда в моей стране делают неразумные вещи. Ее боль, неудачи — это моя боль, а ее победы — лично мои победы. Вам, ребята, остроту моего отношения к Родине просто не понять.

— Почему же не понять?

— Неужели не ясно? Потому что я живу здесь, а вы дома. Здесь все болезненней воспринимается. И мыслей больше, и сопоставлений. Слышали о пророчестве Иоанна Кронштадтского? Ведь это он сказал: «Перед самым концом света, говорил он, только Россия спасет мир и воссияет». Что, разве сейчас мы, весь мир, не на краю, а? И кто пока что спасает мир? То-то! Значит, воссияет, правильно? Вы верите? Я верю. Иоанн Кронштадтский, между прочим, мой родственник. Я богомольным бабкам куски от его рясы на память отрывал. У нас дома хранилась.

Еще о патриотизме хотел сказать. В мои времена меня без конца отсутствием патриотизма шпыняли: мы, дескать, патриоты, а ты нет. И теперь читаю... Столько патриотов развелось! Это уже не патриотизм, а бизнес какой-то.

Читаю я и думаю: а вот вы полюбите Родину, как я. Меня мальчишкой мордовали, инсулиновые шоки, гипноз... После «лечения» этого я запах красок выносить не мог, рвало, за кисть браться не хотелось. Под кровать от страха прятался. Еле выжил. Что ж мне теперь, поливать за это свою страну? Как некоторые... Да и что поливают-то? Сейчас дома пишут о прошлом острее, чем прежде за границей. Архивы открылись. Страшно читать. А некоторые все равно без конца вонь катят. А как приехать домой с почетом, да чтоб перед ними извинились — это пожалуйста. Тактика такая у многих выработалась — на двух стульях сидеть, выгодная очень.

А мне, что ж, тоже требовать? Покайтесь, мол, передо мной, извинитесь, тогда прощу. Что ж, я за эти годы забыл разве, через какие трагедии прошли миллионы людей? 293 А скольким выпали испытания похуже моих? А это странное время — застоя, как теперь говорят. Неужели честным людям, художникам, писателям, поэтам, жившим дома, было легче, чем мне, если их не печатали, не выставляли... Не думаю... Пишут, раз мода пошла, об эмиграции, о ее ностальгии. И все мура! Неужели до сих пор не ясно, что любовь к Родине для человека творческого — это не вздохи, не крики и стенания, а служишь ли ты ей, находясь даже в изгнании, или нет. Все остальное, простите, полная фигня. Делать что-то надо, вот в чем проблема. А не вздыхать. Все эти годы, как мы с ребятами очутились на Западе, мы собирали русское наследие: и классику, и современные вещи. Издавали. Для этого нужно было зарабатывать деньги. Сейчас многое из того, что выпустили маленькие издательства русского зарубежья, печатается в Советском Союзе. Начинается признание того, над чем десятилетиями глумились. Теперь-то уж можно сказать спасибо и фонду Михаила Барышникова, и профессору Сорбонны, бывшему ленинградцу Ефиму Эткинду, который организовал в Париже перевод на французский язык четырех томов русской поэзии. Многое сейчас можно вспомнить, очень многое, за что нас совсем недавно поносили.

А «Антология русской новейшей поэзии у Голубой лагуны»? Есть такой маленький институт русской культуры в Техасе при университете в городе Остине, называется почему-то «Голубая лагуна». Под редакцией К. Кузьминского и Г. Ковалева вышло девять томов: стихи, проза, мемуары, письма, рисунки, фотографии. Несколько сумасбродная история, но уж какая получилась. Там много и моих иллюстраций. По существу, это история оттепель-

ных лет. Много было в нас тогда баловства, игры, много и серьезного. Здесь, за рубежом, мы собирали все это буквально по клочкам, кое-что присылалось, даже в самые застойные годы получали из Союза. Теперь, спустя время, это легкомысленное, как бы игровое издание — так или иначе уже история. Кое-кого из его участников, к сожалению, уже нет в живых, кто умер от старости, кто от молодых несбывшихся надежд, от сложностей новой жизни. А многие авторы «Голубой лагуны» уже запросто приезжают из России с лекциями в Европу и Америку. Можно ли было представить себе наши встречи, когда замышлялось это издание? Словом, все эти годы шла напряженная работа по собиранию и сохранению отечественной культуры. Может, она была и незаметна для глаз безразличных и невежественных. Не знаю. А в Союзе кто об этих небольших изданиях слыхал? Теперь только идут перепечатки да ссылки. А я слышу об этом и думаю: знали бы, каким трудом это нам доставалось, как все это было, особенно вначале, трудно поднимать. И деньги, и типографии, и читатели... Все было рискованно. А теперь выясняется: не враги мы были, не трепачи, мы собирали русскую культуру, пытались поддерживать и проследить преемственность поколений.

И еще трудность, о которой как-то не принято говорить. Мы ж кто все были? Кем мы явились на Запад? Мы ж сюда приехали без всяких корней. Это только Виктор Платонович Некрасов в детстве во Франции воспитывался, для него французский как родной. А мы? Мы ж про эту Европу... Да что мы о ней знали? Альбомов несколько видели. Пикассо там, Ван Гог, и то спасибо, если кто покажет. Начисто отрезанное от общечеловеческой культуры поколение, вот кто мы такие были. Думаете, легко вот так, безо всякого багажа, в чужую жизнь входить и свою пытаться не растерять? Это сейчас границы распахнулись и все проще стало, а тогда?.. А тогда казалось — навек. А это легко? Друг мой ленинградский, учитель дорогой Евгений Павлович Семиошников... и что — расстаться с ним навек? Просто это все, с таким ощущением жить?

Шемякин говорит долго, страстно, обрывисто, мысли его скачут, он горячится все больше:

— Ничего, история рассудит, кто по-настоящему остался верен Родине, живя за границей. А то сплетни... Страшное дело в эмиграции сплетни. А вокруг меня какие распускают, сами знаете. «В ресторане «Кавказский» гулял известный всем хулиган в черных сапогах». И все смекают:

«Это Мишка Шемякин гулял...» А то, что хулиган этот сутками работает всю жизнь, никого не колышет... Один Высоцкий про мою работу все понимал. Знаете, что он мне написал однажды из Москвы? «Мне бы занять немного твоей «маниакальности» и дотошности, я даже завидую, как ты последователен». Получил я это письмо, просто упал. Это он — мне! Он, написавший шестьсот песен. Когда? Успел. А как работал, как записывал? Я такого вообще никогда не видел: сижу дрожу, боюсь, горло у него лопнет. Он мог сутками спать не ложиться. Вообще он работал все время, каждую минуту, это чувствовалось, процесс шел.

— Уж в этом смысле вы похожи, ты тоже почти не спишь...

— Ну уж нет, хотя сплю я мало, могу несколько дней вообще не спать. Но сравнивать нас? Высоцкий к сорока годам уже был Великий мастер, мыслитель, он понимал то, к чему люди только-только начинают приходить. А я? Я всего лишь иду к поставленной для себя цели. Он был великий человек. Во всех отношениях. Знаете, как Кромвель однажды сказал: «Дружба с великим человеком — дар богов». Вот этот дар неизвестно за что мне, грешнику, был дан. А Володя в этом же письме: «Просвещай меня музыкально, ибо я темен». Это он темен?! Музыкален он был феноменально. Народ в таких случаях не ошибается, особенно во времена, когда вся страна помалкивает, а он, один из немногих, — открыто, во все горло. Каждый человек чего-то, да боится, а он ничего не боялся, просто ничего, ни разу не заметил... Вот я и мучился все годы, достоин ли я его дружбы.

Говорят, слава портит. А Высоцкий? Он же бежал от нее, прятался, жаловался, как она ему мешает. Он мне об этом писал, я не просто треплюсь. Он был человеком с ободранной кожей. Вспоминают сейчас многие, что в последние годы он бывал резок, груб, непримирим, легко мог унизить ни в чем не повинного, восторженно относящегося к нему человека. Не знаю, не видел, знаю только, что он был уже очень болен, а вокруг мало кто это не то чтобы видел — осознавал. Я замечал только деликатность, боязнь обидеть. Не знаю, может, это на моем фоне? Я все могу: завестись, нахамить, послать матом, подраться. Как пишут обо мне некоторые бывшие друзья (один даже целый роман накатал!), «за прошедшие годы на лице у Шемякина поприбавилось шрамов от драк».

А Высоцкий нет, не было в нем этого азарта выяснять

отношения нашим, кулачным способом. Дрался, только когда невозможно было не подраться, защищал друзей. Тут он, хоть зарежут, все равно не отступится. Дружба — это у него был культ, он просто нянчился с друзьями. И без конца разочарования. Закон жизни — дружбы кончаются, кто-то тебя предает, кто-то что-то за спиной болтает, завидует. А для него каждый раз — обвал, страдание. Он писал мне: «Друзей у меня мало». А однажды он меня просто поразил! Мы стояли на пороге моей парижской квартиры, вид с балкона открывался потрясающий, солнце заходило, Лувр виден. Он вдруг обнял меня за плечи и говорит: «Как я рад, что кто-то из наших пробился»...

296 Это ведь только теперь пошли по советской прессе благостные фразы типа: «Приятно отметить, что некоторые наши соотечественники (заметьте, уже соотечественники, а не презренные отщепенцы!) сумели преуспеть на Западе». Ну что ж, преуспели отчасти, пробились, правда, смотря с чем сравнивать. Но как важно было услышать слова Высоцкого тогда, в самый, можно сказать, глухой застой. Володя радовался каждому моему успеху. Знаете, как это поддерживает в эмиграции? Ведь от зависти здесь просто задыхаешься. А тут Володина радость... И это при том, как он любил Россию! Вообще-то он особенно не высказывался, но считал, видимо, что жить надо только дома. Ребята мне потом рассказывали, что добровольную эмиграцию он не то чтобы не одобрял, он просто искренне не понимал, как это — взять и уехать. Хотя, когда приезжал, общался с эмигрантами без оглядки, безотказно давал концерты. Это сейчас едут и едут из Союза — бесконечный конвейер. А тогда? В те годы? Это была редкость. Я могу повторять без конца — Высоцкий никогда ничего не боялся. А встретит за границей кого из старых знакомых и удивляется: «А ты-то что здесь делаешь?»

— А с тобой он эти темы обсуждал?

— Никогда! Мои обстоятельства он знал, расспрашивал меня, даже написал несколько песен на сюжеты из моей ленинградской жизни. Он со мной разговаривал просто: «Раз ты ко мне не можешь, значит, я к тебе хоть раз в год приеду...»

Последние его приезды были тяжелые, со здоровьем у него все уже было ясно, Марина пыталась его лечить, закладывала в больницы. Но было поздно. Не знаю, может, время было тогда какое-то совсем уж безнадежное, может,

он уже совсем надорвался, но он сознавал, что сам же идет навстречу своей гибели.

Последний раз, когда Театр на Таганке гастролировал в Париже, меня не было во Франции. Возвращаясь, нахожу у себя на столе стихи — «Другу и брату»:

Я снова я, и вы теперь мне верьте, я
Немногого прошу взамен бессмертья —
Широкий тракт, холст, друга да коня.
Прошу покорно, голову склоня.
Побойтесь бога, если не меня,—
Не плачьте вслед во имя Милосердия.

И там же дальше:

Зачем цыганки мне гадать затеяли?
День смерти уточнили мне они...

297

И дата стоит под стихами. Первое июня 1980 года.
...О Высоцком Шемякин обычно говорить не любит. Вместо слов — деятельная память. Академическое собрание сочинений, альбом дисков. Потеря преодолевается кропотливой работой по собиранию всего наследия друга. Сегодня он что-то разговорился, разнервничался... А между тем по всегдашней привычке наших разговоров уже близится утро, пора вроде бы и поспать. Но перед расставанием, как всегда, традиция — мы начинаем петь.

Шел отряд по берегу, шел издалека,
Шел под красным знаменем командир полка...

Конечно, это песни нашего общего детства, но больше всего это его песни, песни его отца-кавалериста, с которыми он рос по гарнизонам, слушал в застолье, когда собирались дома друзья отца.

Странное дело — жизнь. Рассорился с отцом вусмерть, натерпелся от него в детстве. Много, может быть, было бы легче или хотя бы проще, если бы не было и этой травмы — семейного разрыва, мальчишеского одиночества: ведь где-то же существует отец с колодками орденов до самого пояса, и уж не признать, что этот человек герой, личность в высшей степени незаурядная, невозможно. И вот герой, отец... а не прав. И ничем не поможет, стальные принципы, даже самым простым — деньгами... И продает Шемякин свои первые работы (вернее, друзья их продают) по трешке, и трешке счастлив. Потому что уже есть жена, дочь и нужны холсты, краски. И вот отца давно нет, умер в 1977 году, и все больше он оживает в

памяти, приходит со своими песнями по ночам. Да и днем все то же самое — правда, работает Шемякин не под музыкальные аналоги клинков и сабель. Тихим фоном голоса Шульженко, Утесова, Бернеса сопровождают и его разговоры, и работу.

Нью-Йорк, жарница, звонки галерейщиков из Западной Германии, из Франции, вот какой-то итальянский корреспондент позвонил, просит об интервью, а Шульженко тихо мурлычет свое. А потом мы пьем крепкий чай в бесконечных, чисто русских количествах: есть как-то не хочется и некогда, интереснее поговорить, вспомнить... И забываешь про Нью-Йорк за окном вовсе, будто все вокруг мираж, и мы плывем в этом мираже с нашими вечными неразрешимыми проблемами.

298 Каждый творческий человек создает вокруг себя определенную обстановку, необходимую ему для работы. Шемякинская атмосфера после семнадцати лет отсутствия на Родине абсолютно не «иностранная», да и по-английски-то здесь никто не говорит без особой нужды. Сначала этого не замечаешь, воспринимаешь как данность, а потом все больше и больше удивляешься. Как? Вот так! Давно сложился этот чисто русский быт, и кошки давно постарели, а собака недавно умерла, появились новые щенки, прилежно твякают на гостей, не различая пока по молодости оттенков людских отношений.

...И вот еще тема, о которой мы никогда с ним не говорим. Времени, что ли, не хватает? Самодельный «компьютер». Протянувшиеся вдоль стен студии металлические полки с большими плоскими коробками... На протяжении многих лет он складывает туда статьи и иллюстрации по разным направлениям живописи, ваяния, технике письма. Скажем, натюрморт, пейзаж, древнерусское искусство, японцы. Систематизация материалов кажется загадкой: настолько пунктуально и тщательно идет их пополнение и осмысление. По слухам, даже знаменитый коллекционер Кастаки, увидев впервые этот «компьютер», удивился: «Так ты что, такой ученый, что ли?»

А удивляться можно лишь одному: когда человек успевает, откуда в нем эта пунктуальность, эта последовательная одержимость, эта невероятная четкость? Посетители, а они валят валом, особенно сейчас, когда «все можно», посетители видят одно — загульность натуры, лихость, щедрость, порой крайнюю неводержанность на язык, детскую обидчивость. Труднее разглядеть другое,

без чего не было бы изощреннейших по мастерству, по наполненности мысли и экспрессии метафизических композиций Шемякина.

Да, лихой, обидчивый, щедрый, грубиян... А почему, собственно, это должно называться именно так, называться, разноситься стоустой молвой, докатываться волнами до Москвы, тоже обожающей сплетни? А если это просто свойства характера, вероятно, тоже входящие составной частью в особенность таланта, в твердость руки, в жесткое видение мира.

Обидчивый... Да, он обидчивый. До сих пор не может забыть историю, которая случилась лет за пять до его отъезда. Вспоминает и рассказывает ее очень часто.

Снова ночной разговор, ночные мысли:

— Я вам говорил, что продал иллюстрации к «Преступлению и наказанию»?

— Рассказывал...

— Нет, и все равно. Почему у меня их не взяли? Ведь дарил, вот что обидно. Звонят мне из Москвы из музея Достоевского в Ленинград, не привезете ли, мол, мы слышали о ваших работах, купим. Слышали, потому что Николай Акимов хвалил. Приезжаю в Москву, прихожу. Да-да, берем, но платим мы сами знаете как. Да ладно, говорю, берите так. Нет, зачем же, мы заплатим. Приходите завтра. Прихожу. Смущаются: знаете, нас тут посетили определенные люди, в дар от вас принять не можем. Сделаете копии, будем рады. И все, и привет. А я мальчишка, обида распирает до слез. Вот теперь продал. За шестьсот тысяч долларов. Деньги были нужны. Загородный дом купил для новой мастерской. В этой уже тесно. Сами видите. И я все думаю, когда же наша страна научится считать? Почему мы так расшвыриваемся деньгами, а? Перестройка идет, пора бы понять! Сколько художников, скульпторов могли бы подарить Советскому Союзу свои работы! Вы не задумывались? Лишь бы только имена их на табличке вывесили, дескать, в дар.

— А зачем они дарить станут?

— То есть как зачем? В центре Москвы, в знаменитом каком-нибудь музее, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина например. Это же великая честь, быть выставленным в Москве, мировая слава, признание! А картина знаменитого художника — это миллионы. Нам что, миллионы не нужны? Все вместе, и искусство тоже, — это национальное богатство страны.

— Художников... ты имеешь в виду американцев?

— Всех я имею в виду, американцев особенно. Такой интерес к Советскому Союзу, такие симпатии, особенно среди интеллигенции, столько надежд! На этой волне многие с радостью бы просто дарили! Приезжайте в Америку, к себе позовите, поговорите по-человечески. Нет! «Зачем нам ихнее искусство?» Свое обратно в дар уже берем, спасибо говорим. А «ихнее»? «Жили без них, проживем». Я считаю, хватит, пора кончать. Какая-то сидит в нас неистребимая, пренебрежительная расточительность. Странно мне все это.

300 Шемякину странно. Давно странно и нам. Разве объяснишь ему, что с подобным, как он говорит, расточительством мы сталкиваемся в совершенно других областях — с необязательностью в отношениях с фирмами, от которых нашей стране возможен большой прибыль, с неверностью в датах встреч, когда деловые люди месяцами ждут из Москвы телексов, с путаницей и кутерьмой работы Госконцерта с американскими импресарио... с отменой лекций советских ученых, назначенных полгода, год назад, когда ученые почему-либо решают их отменить или поехать в другое место. Все эти накладки годами катятся через корпункт «Правды»: американцы, знакомые и незнакомые, пытаются узнать, что произошло. А что ответишь? Они объясняют сами: бюрократия.

С Шемякиным разговаривать на эти темы бесполезно: оживает он только в разговорах об искусстве. Особенно когда речь заходит о молодых художниках, об их образовании, о выставках молодых, происходящих в Москве.

— Я уже начал издавать журнал «Искусство Восток — Запад». Западные художники и художники из Союза. Параллельные сюжеты, история стилей. Очень кропотливое занятие. И очень дорогой проект. Мне хочется издавать журнал на высоком полиграфическом уровне. И никто мне пока что не помогает, я имею в виду никто из России. А распространять-то его больше всего необходимо именно там, чтоб ребята смотрели. Кстати, о студентах. Сейчас на Запад ездят много советских художников, а те, кто продавался на аукционе «Сотбис», уже и работают на Западе по приглашению частных галерей. А почему бы не посылать на стажировку студентов? Огляделись бы, сравнили бы. Не смотрели бы в сторону Запада зашоренными от отсутствия информации глазами.

Сколько народу уехало? А сколько сумело пробиться? Единицы. Да, ворота открылись, венские соглашения подписаны, езжайте куда хотите. Но ведь и во времена

перестройки надо быть реалистами. Ведь и сейчас многие думают, что встречать их будут с цветами.

А мир здесь жесткий. Произведения искусства — товар. Законы на рынке определяют критики, связанные с владельцами галерей. А механизм известности? Очень простой. Идет бешеная борьба. Модные галереи вкладывают безумные деньги в художников, с которыми работают. Как минимум, двести пятьдесят тысяч долларов в год. Они сами об этом говорят. И вот вам суперзнаменитое имя. Тогда работы уже можно продавать по полмиллиона. А американским снобам, которым денег девать некуда, только это и нужно. Обронить так небрежно, вот, мол, купил тут картину, пятьсот тысяч заплатил. Не машинами же и домами хвалиться. Искусственно создается как бы некая особая аристократия, не наследственная, а вроде бы духовная. За огромные деньги. И идут такие вот игры в искусство. Чужаков пускать? Зачем? Это невыгодно. Сама логика вещей подсказывает — новые имена не нужны. Художественная жизнь должна подлежать контролю. Она и подлечит. Кругом сложнейшие иерархические структуры. Разве нашим ребятам об этом известно? Да они и не поверят, пока своими глазами не увидят хоть раз. Вот почему нужны стипендии и поездки...

Важно, на какой ступени стоит художественная галерея, какая публика в ней бывает, на каких машинах туда подъезжают. С одной стороны, общество вроде бы абсолютно открытое, с другой — оно состоит из иерархических ступеней. Каждая площадка на ступеньке — это же просто пуленепробиваемая коробка! Правда, стеклянная. Все видно. Можно узнать, за сколько художник продал свою работу, сколько он зарабатывает за год. Ну и что? Все равно это общество закрытое. Туда не попадешь.

Все это надо знать. Искусство, все равно, большое оно или маленькое, — это коммерция. И человек, художник здесь абсолютно одинок. Вступай на этот тяжкий путь, делай что хочешь, но в ответ — безразличие. Никаких творческих союзов, никаких бесплатных путевок в дома творчества. Никакой иллюзии общественной жизни. Знаете, как у нас? Придут в союз на собрание, пошумят, поспорят, поругаются, выпьют... особенно сейчас, когда все так оживилось. Вот тебе и реальная жизнь, и творчество, вот ты и сам творец... Какие собрания? Где? О чем? Здесь ты один. И притом ты из страны, об искусстве которой до недавнего времени не было ничего известно, о современных художниках огромного государства. Ду-

маете, имя Малевича американцы знали несколько лет назад? А теперь нормальный Малевич хорошего периода стоит, как минимум, миллион. Даже великого Филонова здесь пока не знают. О Фальке и Тышлере слухом не слыхали.

Вот почему я хочу сказать, может, и вопреки общей оптимистической волне: ребята, здесь адский темп работы, имейте это в виду. Говорят, преуспел Мишка Шемякин. Пожалуйста, я уступлю, пусть хоть ненадолго влезут в мою шкуру. Выдержат? Думаю, далеко не все. И еще: пусть это и странно слышать от меня, заклеименного в свое время «авангардистом», но, ребята, гордитесь нашей отечественной школой, школой реализма, храните эти традиции. Это то, что делает нас во всем мире такими

302 сильными.

— Легко давать советы, когда объездил весь мир...

— Именно потому и предупреждаю, — потому что все увидел и все сравнил. Конечно, когда нас перекармливали — Репин, Шишкин, Левитан, передвижники и ничего кроме, все остальное, весь авангард — сплошная «идеологическая диверсия», я же эти времена застал... Мы и протестовали в ответ, каждый как мог и умел. А здесь я огляделся, начал спокойно и объективно изучать русскую школу, столкнулся с американской школой реализма, с французской, увидел все «за» и «против». Нет, я на стороне нашей академической муштры. Мне в училище, хоть и доучиться не дали, руку поставили, научили рисовать. На меня теперь некоторые бочку катят: защищаешь то, против чего бунтовал. Но это же абсолютно нормально. Разве мы не растем, не меняемся? Когда меня выгнали из страны, мне было под тридцать, а сейчас сорок шесть. Есть разница?

И еще. Перестройка идет? Идет. Причем в области искусства полным ходом, как я сужу по прессе. Я профессор в университете Сан-Франциско. У меня там свой мастер-класс. Что это такое? Сидят студенты, я рисую. Джазисты, замечательные ребята, выдувают тот цвет, красками которого я в эту минуту пользуюсь. Лекции мои транслируют в несколько университетов одновременно. Вопрос: почему в Сан-Франциско преподавать мне можно, а дома нельзя? Или это до сих пор никому не нужно?

Я все время твержу как дурак, наверное: надо помогать стране конкретно, что я и пытаюсь делать. Думаете, этот Комитет по спасению наших военнопленных в Афганистане — простое дело?

Афганистан — это рана, болезненное место. Для меня все началось, когда мне принесли эти страшные песни об Афганистане, написанные нашими ребятами...

— Кассету принесли?

— Да. Для меня они почему-то прозвучали почти так же трагически, как песни покойного Высоцкого. Когда я услышал: «Здесь, под небом чужим, под кабульской звездой...» Мелодии же у всех песен старые, я с ними вырос, только слова другие, жуткие слова. Ну и у меня как мороз по коже пробежал. Я вдруг ощутил запах бинтов, йода, йодоформа, увидел этих несчастных мальчишек, попавших в эту бойню. И понял я тогда, что не смогу остаться в стороне. Высоцкий уже умер. К войне в Афганистане он относился болезненно, много говорил об этом, просто страдал. А что в те годы можно было сделать? Всеобщая 303 была в Союзе немота. Ну вот я и работаю — за него и за себя. Да, в этом комитете, где я председатель. Думаете, это просто, выцарапывать оттуда наших ребят? Для этого, знаете, какие связи надо иметь? С самыми разными афганскими группировками, с беженцами-афганцами. Прихожу я к ним в подвал тут, в Нью-Йорке, сидят все вместе, молодые, старики, дети. У всех кто-то погиб. У кого оторваны руки, ноги. Калеки передо мной сидят. А я с ними завожу речь о спасении советских военнопленных, говорю с точки зрения религии, призываю к милосердию. Ну слушают они меня и в какой-то момент, забыв о том, что я русский американец, начинают возбуждаться, кричать, хватают свои плакаты, а на них это слово «оккупант». Потом с этими плакатами на меня, потом на стены мне показывают, а все стены увешаны фотографиями — и все дети, дети... «Кто тебя туда звал?» — кричат они мне. И это не бандиты, это простые беженцы. А я им все про милосердие, а они уже готовы меня убить!

Пардон, говорю я им тогда, я же не входил с автоматом в ваши кишлаки, что вы на меня кричите? Вы тут, в Нью-Йорке, хоть и в подвале, а русские ребята по ямам сидят, да их еще и мучают. И убивают.

Знаете, как там было дело поставлено с самого начала? На каждого нашего пленного по четыре конвоира. Два караулят днем, два — ночью. И этот конвой еще должен делиться с пленным своей едой, водой. А зачем делиться? Вообще, зачем возня? Проще убить. Вот и убивали.

Каждый маленький командир в Афганистане имел своих военнопленных. И у каждого были свои взгляды на все эти вещи.

Разбираться со всем этим было жуткое дело. Нужно было отыскивать людей, у которых налажены связи со всеми группировками повстанцев. Нужно было, чтобы эти люди вступали с ними в переговоры, выясняли бы, что и как, есть ли, мол, у вас русские ребята. Бесплатно никто ничего делать не хотел, как вы сами понимаете. Мы были на все согласны. Потом вынырнула эта цифра, которая посеяла в Союзе так много надежд, — триста военнопленных. Но, к сожалению, это была чистая ложь, я сам разговаривал с представителями оппозиции. Потом уточнял эту цифру с главой афганского сообщества в Нью-Йорке. Он сказал мне тогда, может, их и было триста, но там такие тяжелые условия, что мало кто выдерживает. Это он мне рассказывает. Многие, говорит, ваши давно умерли, многие убиты при попытке к бегству, многие покончили с собой. Наши ребята ведь очень крепкие, но они были поставлены в условия, когда нет никакой надежды, когда о них никто ничего не мог узнать, и они это понимали, свою обреченность...

— И сколько военнопленных вернулось домой через Америку?

— Человек шесть. Вообще-то их в Нью-Йорке гораздо больше, но всех очень напугало, во-первых, то, что посадили первого же вернувшегося в Союз. Потом, правда, выпустили. Во-вторых, боятся своих же, «афганцев». Приходят ко мне, сидят вот за этим же столом и плачут. Выпьют немного — и в слезы. Мы, говорят, больше всего боимся тех ребят, кто прошел до конца эту страшную войну, приедем, а они нам по морде — где, мол, вы были-то? Не дезертировали ли? А как докажешь?.. Вот и сидит в них этот страх. А самим домой хочется, мальчишки же совсем, сопляки, матери дома ждут.

Сидят у меня тут, плачут, решаются. Пусть решают сами. Наше дело было вырвать их из рук смерти.

...Знали бы вы, как часто мне в последнее время Ленинград снится. Будто иду я по улицам, нюхаю дома, руками их трогаю. В Эрмитаж захожу, надеваю старый халат и говорю: «Тетя Фаина, такелажник Шемякин на работу вышел». А Фаина мне: «Иди, Шемякин, на поребрик». Поребрик — это знаете что такое? Это когда надо резакон лед между тротуаром и мостовой рубить. Дворцовая набережная, Нева, снег идет, холодно, хорошо...

И тут я просыпаюсь, старый уже, голова трещит, и дел впереди полно...

**СУДЬБЫ
РУССКИХ АРХИВОВ**





— Ныне и присно и во веки веков! — нараспев, низким голосом провозглашал священник, пожилой человек с густой проседью в длинных волосах и бороде, с яркими карими глазами.

Было воскресенье, шла служба.

— Аллилуйя, аллилуйя, — подхватывал хор. Горели красные лампады, дрожали языки пламени свечей.

Я огляделся вокруг. Людей было мало, человек двадцать, пожилые, бедно одетые мужчины в потертых пальто, женщины в платочках. Бросился в глаза старик, большой, массивный, с крупной головой. Похож на фотографии начала века. И другой, сухощавый, с седыми волосами бобриком. Осколки старой русской эмиграции... После богослужения познакомился со священником. Отец Василий пригласил меня в закуток за ширмами: там теплее. Сидим, разговариваем, я расспрашиваю. 307

Белград. Центр города. Здесь русские эмигранты построили в 1924 году эту маленькую православную церковь с ярко-синим куполом, со сверкающим золотым крестом. Отец Василий — сын основателя церкви. Его отец — Виталий Тарасьев — похоронен тут же. Я видел его саркофаг у стены — черный, дубовый, массивный. На стене у изголовья надпись: «Виталий Тарасьев, 1901—1974 годы».

Югославия — страна, куда через Турцию попали после революции десятки тысяч русских белоэмигрантов. Принято считать, что в основном это были остатки армии Врангеля. Интеллектуальное ядро эмиграции, так обычно считается, осело в Берлине, Праге, потом постепенно собралось в Париже.

— Все так и не так, — говорит отец Василий. — Здесь, в Югославии, остались жить выдающиеся представители русской культуры. Для многих из них Югославия стала второй родиной. Вклад русских людей в развитие культуры и науки страны до сих пор еще мало изучен и не оценен по достоинству.

Отец Василий называет имена — одно, другое, третье... Ученые, инженеры, архитекторы, художники, балерины... Нет, почти все умерли. И похоронены или здесь же,

*Бессменный директор
Русского музея
в Сан-Франциско
Николай Александрович Слободчиков.*

при церкви, или на русском кладбище. Кстати, здесь и Врангель похоронен по его завещанию, и председатель Государственной думы Родзянко.

— Приходите, если будет время! — приглашает отец Василий.

Прихожу через несколько дней к концу утренней службы. Отец Василий встречает меня в клобуке, рясе, берет ключи, мы идем в домик напротив церкви. Оказывается, это музей. Стены зала увешаны картинами. На стендах вдоль стен множество экспонатов.

Чего здесь только нет! Много оружия, знаки отличия различных родов войск и частей царской армии, погоны, ордена...

308 Мне тут же вспоминается один из русских музеев в Америке. Там тоже собраны огромные ценности. Но со свойственной русскому человеку беспечностью хлипкая дверь в музей закрывается на плохонький замок. Кончилось тем, что музей недавно ограбили: выкрали богатейшую коллекцию русских орденов, каждый из которых по нынешним временам — маленькое состояние. Я гляжу на старинное распятие. Отец Василий гордится: «Смотрите, как блестит! Чистое золото!» А я думаю: и здесь та же удивительная, доверчивая беспечность. Рассказываю о краже в Америке.

— Да нет, кто же у нас решится! — отмахивается отец Василий. — С 1947 года начал я собирать этот музей. Пока все спокойно. — И он протягивает мне Книгу отзывов, массивный альбом в кожаном переплете.

Отзывов много. Эпиграфом всей Книги отзывов служат тютчевские строки:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

А дальше идут собственные рассуждения отца Василия: «У каждого экспоната — своя история, тесная связь с именем «первообладателя», с его честным трудом. Цель наша — не только сохранить светлую память этих людей, но и постоянно свидетельствовать о работе, талантах, успехах наших соотечественников, показать подрастающему поколению, что сделано, что достигнуто, дабы и они следовали бескорыстным и честным примерам.

Настоятель подворья и основатель мемориального музея русского имени — протоиерей Василий Тарасьев».

Больше сорока лет собирает отец Василий свой музей. В нем много дореволюционных реликвий.

— А вы знаете, что мы потеряли во время войны? — говорит отец Василий. — Вам не рассказали? В нашей церкви хранились императорские знамена петровских времен. Нагрянули гестаповцы, аккуратно запаковали знамена, удивительно аккуратно. Но вывозить днем у всех на глазах не решились, дождались ночи. Куда увезли, где сейчас знамена — неизвестно. Так что после войны я начинал практически с нуля. Собирал все, что касается дореволюционной истории России. — Он подводит меня к стендам знаков различия. — Вот бляха Пажеского корпуса. Вот знак Киевского кадетского корпуса, Псковского, Владимирского, Сумского. А вот Крымского, Донского, Ташкентского. А вот нагрудные знаки военных училищ. А вот этот — уже без короны, это значит, выпущен он между Февральской и Октябрьской революциями. А вот древние русские кресты, старое серебряное литье. А вот, поглядите, коллекция брошек, сделанных из пуль. 309

— То есть?

— Пули, извлеченные у раненых. Из этого металла жены потом заказывали на память брошки.

— Никогда не видел...

— Да, старая, ушедшая эпоха. Была такая традиция, причем широко распространенная. У меня большая коллекция брошек. А вот ордена. Много Георгиев, солдатских, офицерских. Сложная система, никак с ними не разберусь. Я ведь не специалист. Русская молодежь уже ничего не знает, а старики наши такие древние, что все давно позабыли, путаются, верить им нельзя... Война размежевала эмиграцию на два лагеря. Наверное, вы знаете эту цифру: в 1921 году из Турции в Югославию прибыло около тридцати тысяч бывших участников врангелевской армии. Многие из них были приняты на службу в регулярные войска Югославии. Подраставшие дети учились в русских кадетских корпусах, в югославских военных училищах, тоже становились офицерами. К 1941 году общая цифра русских эмигрантов, включая военных, оставалась все той же — те же тридцать тысяч.

И вот началась война. С одной стороны, гитлеровцы создали так называемый «охранный корпус», куда было мобилизовано около двух тысяч человек. Двести человек пошли добровольно служить в гестапо и абвер. Но большинство русских встали на защиту Родины. Многие русские, служившие в югославской армии, сразу

попали в плен. Многим из плена удалось бежать, они сражались в партизанских отрядах против немцев. Много русских сложили головы при обороне Белграда. Был такой поручик Шель, русский из немцев. Знаете, по пословице: «Мама — немка, папа — грек, а я русский человек». Немецкие танки наступали на Белград. А у Шеля была рота сербских солдат. Вооружение — старые ружья. А сам Шель на лошади, с саблей. Солдатам своим он сказал: «Расходитесь по домам, со мной остаются только добровольцы», — и поскакал напролом со своей тупой саблей навстречу танкам. Немцы его тут же срезали. Потом нашли при нем документы, очень удивились, узнав, что это русский человек. Даже похоронили его потом с воинскими почестями, как героя — вот такая была странность...

310 Был еще такой Трофимов Саша, полковник-артиллерист. Тоже служил в армии. Подождите, покажу вам его фотографию.

Отец Василий достает нужную папку и извлекает из нее фотографию. Очень высокий чернявый человек в папахе. Самолюбивое, волевое лицо.

— Трофимов ушел в партизаны, сидел в лагере. После войны был начальником артиллерии Югославской народной армии. Вот он бы мог много рассказать, жаль, я за ним не записывал.

— А он жив?

— Да нет, умер, здесь, в Белграде. Я его отпевал и место на кладбище нашел... Вот вам еще одно имя — Жорж Скригин. Во время войны ушел в партизаны. Всю войну прошел с фотоаппаратом. Все самые знаменитые снимки войны принадлежат ему. Была издана книга с его фотографиями.

— На сербском?

— Да. Жорж, кстати, был одним из первых кинорежиссеров Югославии. Сейчас очень старый человек. Ему много лет. В Загребе живет. Вот еще один русский — Петер Анагности. Хотите, подарю вам его книгу? Правда, она на сербском — о фашистских концлагерях. Очень сильная книга. Описывает, как их мучили, рассказывает о Якове Джугашвили. Какое-то время он сидел вместе с сыном Сталина в одном лагере. Книга так и называется по имени лагеря — «Колдиц-Либек». Он жив, архитектор, профессор университета... Вообще должен сказать, обстановка во время войны в Белграде была антифашистская. А наши русские ребята ходили по Белграду и пели: «Москва моя, страна моя, ты самая любимая». Немцы советских

песен не знали, слов не понимали, а все вокруг молчали. Бывало, по воскресеньям маршем идут русские мальчики по улицам и поют. И ничего ни разу не случилось. Удивительно, не правда ли?.. Уходят люди,— вздыхает отец Василий.— И я не сразу после войны спохватился, молод был, глуп. Да и положение русских было не очень-то простое, сами помните, разрыв отношений с Советским Союзом. Для многих русских это были тяжелые времена. Документы утрачивались, партизанские истории не записывались. Но все-таки кое-что мне удастся собрать.

Железные ворота, аккуратно заасфальтированный двор, деревянная дверь с коваными бляхами.

— А вы знаете,— говорит уже у ворот отец Василий,— у нас в Белграде есть Иверская часовня. Она построена в память разрушенной московской. Только московская была пять на пять метров, а наша — семь на семь. Но точная копия, такие же звезды, такая же крыша. Вам стоит зайти посмотреть. 311

Прощаемся, обмениваемся адресами. Надеемся скоро увидеться. Или здесь, в Белграде, или в Москве.

2

Мы так и не повидались. Но я часто вспоминаю отца Василия. И думаю о том, скольких документов лишилась бы наша отечественная история, если бы в разных углах мира не жили такие подвижники-собиратели, как отец Василий. И вот еще о чем я нередко задумываюсь: как много таких вот небольших, пестрых по своему составу русских музеев рассеяно по всему свету. Практически они совершенно неизвестны ни нашим советским историкам, ни музейщикам.

...Маленькие самодеятельные музеи, созданные либо усилиями одного человека, либо группой энтузиастов... Какое сильное впечатление они производят! Сами их недостатки с общепринятой музейной точки зрения: разнородность и разрозненность экспонатов, их «ненаучность» — создают совершенно особую атмосферу абсолютной подлинности, быстротечности жизни, неприкаянности, упрямого желания сохранить память, несмотря ни на что.

Сколько в этих музеях запечатлено давно отшумевших событий, сколько трагедий! Имена громкие, всемирно знаменитые и совсем безвестные люди. И все вместе — огромное полотно жизни тех двух миллионов, что покину-

ли или вынуждены были покинуть Родину в первые после-революционные годы.

Эти пожелтевшие ящики с документами, и на боках, часто дрожащей старческой рукой, надписанные имена их владельцев, эти коробки с неопубликованными дневниками и мемуарами... Они стоят вдоль стен в маленьких комнатах, пыльные, большей частью не разобранные и не описанные. В каких только частях света не доводилось видеть подобные картины! Эти непрочные ящики, эти коробки из-под виски, джина, апельсинов... Судьбы, судьбы, судьбы... Непрочитанное, неизученное, принесенное после смерти владельца родственниками, присланное откуда-то из глубинки той или иной страны.

312 Что-то принесено, прислано, сохранено. А сколько выброшено, сожжено, спущено в мусоропровод?

Американцы и те, кто стал американцами, особенно быстры на скорую расправу со своим прошлым. Сама американская жизнь, динамичная, подвижная, с частой сменой городов, домов, квартир, предполагает отсутствие лишнего багажа. Мебель? Выгоднее продать ее за гроши, чем отправлять контейнером в другой конец страны. Бумаги, старые семейные архивы? При переездах это тоже докука. Сколько раз на уличных распродажах, на так называемых ярд-сейлах (распродажах во дворах домов) мы наткались на старинные альбомы, на фотографии дедушек и бабушек, в том числе на фотографии выходцев из России. Чаще всего это были документы начала XX века. И на фотографиях, на их оборотной стороне нередко можно было прочесть посвящения, написанные выцветшими чернилами, пространные, сентиментальные, как и было принято в те времена. Странно в центре Нью-Йорка в жаркий день читать эти надписи на русском языке, разглядывать чинные семейные группы. Хочешь — купи: доллар, пять, двадцать, в зависимости от качества и «красоты» фотографии. Есть люди, которые коллекционируют старые фото. Но чаще всего их скупают дизайнеры — для оформления магазинов в стиле ретро. Допустим: за витриной копошатся живые щенки. А перед ними — пожелтевшие фотографии и отдельных людей, и семейных пар. Все — с собаками. Или: парикмахерская, и в витрине дамы в длинных платьях, замысловатые прически. Может, среди них есть и русские люди? Даже наверняка. А кто они, эти люди? Неизвестно.

...На одном из книжных базаров в Вашингтоне мы покупали однажды старинную американскую энциклопе-

дию с замечательными гравюрами. Одного тома не хватало. Устроители базара указали на высокую, плотно сбитую молодую женщину в потрепанных джинсах и кедах — недостающий том у нее. И он как раз о России. У американцев не принято подходить и о чем-то просить. Как правило, после просьбы тебе скорей всего откажут, сделав заключение, что просишь уступить нечто ценное. Мы рискнули. Подошли. В книге нам было отказано. «Зачем вам нужен всего один том?» — спросили мы скорей уже из любопытства. «А у меня дедушка с бабушкой были русские, — ответила женщина. — Папа говорит, у меня знаменитая фамилия, только выговаривается она трудно». — «Ну попробуйте». — «Я — Лорис-Меликова, — сказала женщина. — Это правда известная в России фамилия?» — «Лорис-Меликова? — удивились мы. — И вы ничего не знаете?» — «Нет». — «Один из ваших предков был министром императора Александра II, подготавливал важные реформы. Царя убили, проект реформ он не успел подписать» — «Неужели?» — удивилась женщина. — «Он был граф, Лорис-Меликов». — «Значит, я графиня?» — изумилась женщина. — «Выходит, что так», — сказали мы. Она выпрямилась, разогнула спину (до этого она рылась на полу в куче книг), и вдруг стало видно, как она хороша собой. «Как это досадно, — сказала она, — мои родители совсем американизировались, я даже русского языка не знаю. Что ж, — она протянула нам злополучный том, — уступаю на память. Выходит, вы лучше меня знаете историю моей семьи».

Такая вот неожиданная встреча на книжной ярмарке.

Кто она, эта женщина? Какова степень ее родства с известным деятелем 60-х годов прошлого века? Но ведь и в этой семье, по-видимому, что-то было. Если не документы, то какие-то предания. И вот четвертое или пятое поколение — и уже ничего. Ни одного русского слова. Крайний случай. Но фамилия держится — Лорис-Меликова.

Хотя большинство русских помнят свое родство. Но куда девать семейные бумаги? Ведь о существовании маленьких русских музеев еще надо быть осведомленным, надо знать их адреса. И еще надо быть уверенным, что твой дар, ворох бумаг, примут, что они представляют историческую ценность. Как в этом разобраться? И кому? Дети, внуки, правнуки эмигрантов часто далеки от проблем русской истории. И, надо признаться, за минувшие десятилетия наша страна сделала немало, чтобы по-

томки эмигрантов не чувствовали своей сопричастности к судьбам Родины.

Если задуматься, какое тягостное положение сложилось! Какой отрыв от родных корней в этих музеях! Как сейчас, когда меняется наше отношение к эмиграции, дико и странно становится, что в этих музеях практически не бывают советские люди. Во всяком случае, до самого недавнего времени подобные посещения никому и в голову не приходили. Ибо неукоснительно продолжал действовать все тот же принцип — это места, где окопались наши классовые враги. А к классовым врагам, как известно, ни шагу! И они к себе на порог не пустят. А если вдруг забредешь, сколько неприязненных взглядов в спину. И эта взаимная неловкость почти всегда, почти везде.

314 Между русскими людьми. Почти все они родились уже в эмиграции, ушли на пенсию, у многих и родственники у нас в стране, братья, сестры, племянники. Некоторые к нам ездят, и довольно регулярно. Но входишь в музей — и начинается: «У нас, знаете ли, большая коллекция портретов последнего государя... нам подарили. Один человек собирал всю жизнь его портреты, завещал в музей». Ну портреты, ну табакерки, чашка, из которой пил царевич, коврик, на котором молился Николай II. Почему это мешало нам разговаривать? Почему так непривычно и трудно было находить общий язык не с американцами, — с русскими людьми, людьми, сохраняющими нашу культуру за рубежом?

В русском музее Сан-Франциско мы прочитали плакаты, написанные крупными буквами: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Пушкин». Дальше: «Музей принадлежит всем и каждому, кто сохранил в себе чувство уважения к родной культуре и истории». И последний плакат: «Музей русской культуры служит интересам всей российской эмиграции».

3

Кто их сочинил, эти плакаты? Кто аккуратно, от руки, написал тушью, кто повесил?

Шел восемьдесят шестой год, когда мы впервые побывали в этом музее. Нас встретил невысокого роста старый человек в сером костюме и черном берете. Большое, чуть одутловатое лицо, серые холодные глаза, высокие скулы. Глаза его смотрели на нас изучающе и отстраненно: директор музея Слободчиков принимал нас, лишь

уступая натиску все того же профессора Николая Ивановича Рокитянского. Николай Иванович жаловался, что русские советские до сих пор ни разу не бывали в музее («боятся они, что ли?»), но это неправильно, и все патриоты («а ведь мы патриоты, правда?») должны знать об этом музее и гордиться верностью русских людей своей культуре.

Мелкими шагами ходил по музею Николай Александрович Слободчиков, показывал свои сокровища, мы ходили за ним следом. А по огромной комнате, которая, собственно, и составляет экспозицию музея, размашисто вышагивал Николай Иванович, высокий, загорелый, несдержанный, полная противоположность невозмутимому Слободчикову, и шумно восхищался новыми поступлениями. Слободчиков был корректен, сух, но временами увлекался, рассказывая историю того или иного экспоната, тут же одергивал себя и снова увлекался. По узкой крутой лестнице мы поднялись в комнату, где хранились архивы. На длинных полках стояли разобранные и неразобранные ящики — и архив химика Ипатьева, и художника Челищева, и часть архива П. А. Столыпина, переданного музею его дочерью... Чего только не было на полках, а времени у нас мало, да и Николай Александрович явно не склонен что-то открывать и показывать, он и так сделал слишком много — принял в своем музее гостей из Советского Союза. 315

Он попрощался с нами любезно, прохладно, отстраненно. А на первом этаже, из библиотеки, уже выглядывали какие-то люди. Нас разглядывали, мягко говоря, с недоумением, а Николай Иванович между тем со свойственной ему шумной общительностью пытался нас представить. Но с нами не знакомились, руки не подавали. Шли первые дни аварии в Чернобыле, положение было напряженным. Где бы мы ни появлялись: и на лекциях, которые читали в Южнокалифорнийском университете, и на лекциях в церквях, нам задавали бесчисленные вопросы, на которые так трудно было отвечать в самые первые дни. Больше всего мы сталкивались с выражением сочувствия со стороны американцев. В Русском центре тогда, в тот первый свой визит, сострадания мы не ощутили.

Через год к Слободчику наведалься Геннадий Васильев. Полным ходом шла перестройка. И Николай Александрович был уже гораздо мягче, охотнее показывал и рассказывал.

— Вы давно заняты музеем? — спросил я. (В прошлый

наш приезд он вел себя так, что любые вопросы личного характера были просто-напросто исключены.)

— Я присоединился к нему в 1951 году,— охотно ответил Слободчиков.

— А разве в это время музей уже был основан?

— Да, незадолго до того, в 1948 году. Музей затеял Петр Филаретович Константинов. До этого в Сан-Франциско существовал только исторический кружок, интересовались они в основном Форт-Россом. А я в Шанхае тоже состоял в историческом кружке. Приезжаю и узнаю, что Константинов — бывший агроном и служил в России у моего дяди, директора департамента земледелия. Дядя мой Дмитрий Яковлевич Слободчиков был большой знаток, начинал при Столыпине, помогал ему в реформах, хорошо относился к крестьянам, Советы его не арестовали. Константинов, узнавши, что я его племянник, вспылал ко мне любовью и втянул в музейные дела.— Николай Александрович впервые за время нашего знакомства улыбнулся.— Правда, я сам с удовольствием втянулся. Стал вице-председателем, потом сделался председателем, в 1965 году. С тех пор и состою директором.

— А не трудно? Большая нагрузка...

— Устал, знаете ли. А замены пока нет... А так, пора на отдых, буду просто помогать.

— Николай Александрович, как все это начиналось? — спрашивал я, пока мы ходили по уже знакомому мне залу.— Вот я вижу, экспозиция сильно обновилась. Значит, у вас огромное собрание!

— Огромное,— согласился Николай Александрович с заметной гордостью.— Мы сами плохо себе представляем, какими богатствами владеем. До сих пор не все обработали. Константинов, надо сказать, начинал деятельно. Обратился с письмами к важным эмигрантам — к Ипатьеву, Гречанинову, Сикорскому, Александре Толстой... Ну и пошло. Гречанинов сразу прислал нам массу своих сочинений, написанных его рукой. Много прислал профессор Ипатьев. Сикорский посылал свои конструкции, документы, старые фотографии. Помогал деньгами.

— Он вообще многим помогал.

— Да, Сикорский был щедрый человек. Он и Толстовскому фонду жертвовал. Был еще такой Анатолий Степанович Лукашкин, он был важный деятель в Харбине, куратор изучения Маньчжурского края. Он передал музею восемьдесят работ о Харбине. К нам буквально потекли материалы.— Николай Александрович снова

улыбнулся. — Знаете ли, у нашего директора Константинова была такая особенность: он любил работать ночью, ну и ночами он писал письма. Он их столько рассылал по всему миру, что вначале мы даже не успевали регистрировать подарки, только собирали и собирали. Много получали из Парижа. Из Польши получили архив дочери Александра II, ее переписку с отцом. Она сейчас у нас.

— Сколько же вас было тогда? Ведь все добровольцы, все где-то работали?

— Конечно, и я работал, и очень напряженно. Я вам так скажу. Нас было человек десять, собирались мы постоянно, несколько раз в неделю, но не управлялись. Конечно, из-за этого мы многое утратили. Да и не всегда были честные работники. Помогала нам одна старушка, ей было 94 года, очень бодрая, на нее наехал автомобиль, умерла. Одинокая была. Город отдал нам ее библиотеку, среди книг нашли наши, очень ценные. А грабежи? Украли коллекцию монет. Коллекцию кокард. Конечно, Русский центр теперь в черном районе, здесь опасно по вечерам. 317

— А раньше что было в этом здании?

— Раньше здесь был немецкий клуб. Немцы построили его в 1910 году. А в 1939-м продали русским за сорок одну тысячу.

— Всего? Такой огромный дом?

— Тогда это были большие деньги. Русские выплачивали много лет. Что теперь доллар? Копейка! Теперь только построить наш дом будет стоить миллионы. С тех пор, пожалуй, с начала войны, и обосновался здесь Русский центр и существует то с удачным правлением, то не очень. Сейчас у нас во главе стала молодежь. Я настаивал, чтобы молодежь взяла дело в свои руки. Ну а что касается до музея, то мы начали приводить его в порядок с 1965 года. Видите, сколько лет пытаемся, а до конца еще далеко. Я страдаю, стараюсь побыстрее, да не выходит. Перестраиваем библиотеку, вы же видели, большая хорошая комната, а в беспорядке. У нас же работает много ученых, им просто негде расположиться. А что делать? Нанимать людей дорого. Я вас познакомил с Николаем Петровичем Лапикяном? Изумительный человек! Ему восемьдесят два года, а он все сам переделывает для библиотеки, строит новые полки. А архивы? Тоже, знаете ли, проблема. Умирают старые люди, можно сказать, последние родившиеся в России. Завещают свои архивы. Умер недавно Аполлон Александрович Сол-

логу, он был здесь редактором газеты. Нам сдали тридцать пять ящиков его архива. Кто будет разбирать и описывать? Умер Лукашкин, я вам о нем говорил. Завещал нам пятнадцать ящиков своих бумаг.

— Надо разбирать.

— Надо. А кто? Рук мало. Есть у нас архив Капниста. В нем много писем Некрасова.

— Неужто неопубликованных?

— Конечно!

— Покажите, Николай Александрович.

— Мы их в банке держим, большая все-таки ценность.

— Как же он к вам попал, этот архив?

— Из Японии, по завещанию.

— И никто такие вещи не разбирает?

318 — А кому? Работают у нас профессора университетов в отставке, инженеры, это не их дело. Хорошо, что у нас бывает много славистов, они многое обнаруживают. Недавно приезжал профессор из Гамбурга, немец, ищет издание Пекинской духовной миссии «Китайский благовестник». В Париже нашел три тома. А у нас двадцать пять. Когда увидел, обалдел. Я, говорит, искал по всему миру, а оказывается, надо было ехать к вам. Курьезно, не правда ли? — Николай Александрович снова довольно улыбнулся.

Но я понимаю, что за этим «курьезом» стоят долгие поиски, и уговоры тех людей, у кого сохранились книжные раритеты, и своеобразие Сан-Франциско, где так много русских людей, приехавших в свое время из Китая.

А Николай Александрович бросает на меня короткий довольный взгляд и поправляет свой неизменный берет:

— Недавно приезжал к нам человек из института Кеннана в Вашингтоне, заявляет мне: посижу у вас тут два дня, перепишу все, что у вас есть. Я говорю, хорошо, работайте. Начал переписывать. Сидел месяц и не переписал. Вот так. Знаете ли, уже много книг создано по нашим материалам. Например, русские фашисты. Одного гавайского профессора очень эта тема интересовала. Фашисты в Китае и в Америке. В Лос-Анджелесе издавался русский журнал «Фашист». Хотите покажу? У нас есть вся подшивка. В Харбине журнал «Нация». В Харбине вообще было много фашистской русской литературы.

— Вы, наверное, знали много фашистов?

— Конечно, и очень хорошо помню. Все это была молодежь, мечущаяся, совершенно не понимавшая, что

происходит. Там были разные люди, много случайных. Здесь и сейчас живет один человек, бывший членом фашистской партии в Харбине. Вам бы он был интересен. Не знаю только, захочет ли он с вами разговаривать. Вряд ли. И уже очень стар...

Мы обходим с Николаем Александровичем зал, разглядываем витрины с экспонатами. Много я помню по первому нашему приезду сюда, многое поражает заново, например оружие с поля Куликовской битвы: тяжелые стрелы, наконечники, кусок кольчуги. Как все это могло сохраниться сквозь все бури гражданской войны и в конце концов оказаться в музее? Непостижимо!

— Очень просто,— отвечает Слободчиков.— У нас есть человек, дедушка которого имел имение возле Куликова поля. Он покупал все, что крестьяне выкапывали из земли. Внук всюду возил с собой, сохранил, потом передал в музей. И живопись Сурикова тоже берегли, возили с собой, и русские флаги времен первой мировой войны, ордена. Много у нас регалий войны гражданской. Знаете, глядя на наши экспонаты, один советский человек, пришедший сюда... 319

— Что, уже начинают приходить?

— Да нет, это был корреспондент. Так вот он, глядя на экспозицию, спросил: у вас музей монархический? Нет, ответил я, у нас выставлено то, что вы просто забыли. У нас собраны почти все медали гражданской войны, думаю, в советских музеях их просто нет, даже в запасниках. Например, медали за Ледяные походы. Терновый венок и серебряный меч — за Кубанский поход. Терновый венок и золотой меч — за Сибирский поход. Это среди коллекционеров редкие вещи. У нас собраны все документы о русской гимназии за рубежом, начиная с тех времен, когда она была основана на греческих островах, в палатках. Потом ее перевели в Чехословакию. Вот, поглядите, подписи всех учеников, окончивших гимназию с 1920 года по 1935-й. У кого это есть? Думаю, больше ни у кого. Кадеты — те более активны. Они сами занимаются историей своих корпусов, у них бывают слеты, они выпускают свои сборники. Сборники тоже у нас есть.

Мы долго ходили по музею, потом поднялись в библиотеку, пили кофе. На краешке длинного рабочего стола теснилось угощение, коврижка, русские пирожки. Я спросил о средствах, которыми располагает музей. Поступления в музей не прекращаются, иногда очень ценные,

но нужны и реальные деньги: инженеры и профессора в отставке могут сделать своими руками многое, но далеко не все.

— Да, с деньгами у нас худо,— вздохнул Николай Александрович.— Необходим ремонт всего Русского центра, дом уже старый, обветшал, для его обновления нужно больше двух миллионов. А где взять? Вообще-то деньги у здешних русских есть. Беда в том, что настоящей интеллигенции в Сан-Франциско мало. Общий образовательный ценз ниже среднего. Да и интеллигенция... Большинство одиноких людей завещают все русской церкви. Я тоже верующий человек, но люди почему-то думают, что если завещать все церкви, то грехи будут прощены. Вот и получается, церковь у нас богата, а мы бедны.

320 Мы пили кофе, разговаривали о музейных проблемах, о событиях в Москве.

На этот раз расставались мы тепло.

4

Прошел еще год. В Америку приехала Галина Башкирова.

...Расписание мое было давно составлено, но, прилетев в Сан-Франциско, я узнала в аэропорту, что меня приглашает погостить Слободчиков. Это было и неожиданно, и приятно: ведь большего знатока русской колонии в этом городе практически нет.

И потекла моя жизнь в тихом доме на 43-й улице, расположенной очень высоко, на самой высокой горке. Типичная улица белых одноэтажных домов. В каждом — подземный гараж, зеленая трава небольших газонов, гладкий как зеркало асфальт, чистота, тишина, только ветер, частый в здешних местах, размахивает шапками невысоких пальм.

Просыпалась я рано, в комнате моей стояла клетка с птицами, австралийскими финчами, маленькими сизоватыми созданиями с длинными коралловыми клювами и лапками. Прикрытые с вечера платком, финчи с раннего утра все равно начинали повизгивать и возиться в своей большой, похожей на настоящий домик клетке. Я вставала, выходила в сад. В небольшом саду высокие пышные кусты сирени, пальма, клумба с цветущими розами. Хорошо виден кажущийся отсюда, с высоты, далекий залив. А залив между тем очень близко, всего-то минут семь езды на автомобиле. Дни стояли ослепитель-

но голубые. Я усаживалась в кресло, перелистывала книги из библиотеки Николая Александровича. Все книги были на русском, и тот слой литературы, который у нас почти неизвестен. Авторы — выходцы из Китая, жители Сан-Франциско — романы, мемуары, исторические исследования. Но долго читать мне не удавалось. Появлялся Николай Александрович. В красивом черном халате, торжественно заспанный, он выходил кормить птиц. Сначала, в доме, он кормил финчей, для которых в магазинах, как ни редка эта порода, продается особый корм. Потом готовил корм для «малых» птиц, как он называл синичек: старинным пестиком, вывезенным его родителями из России, крошил сладкие печенья и подсыпал к ним семечки, затем высыпал все это в длинную, узкую, как труба, кормушку — синички ждали наготове. А на кустах уже 321
рассаживалось около десятка голубей, спокойных, чистых, не встрепанных, мирно дожидавшихся своей очереди. После малых и больших птиц наступала наконец очередь нашего завтрака. Николай Александрович делал грейпфрутовый сок, потом мы долго пили кофе. Над головой его в углу маленькой кухни светила лампада под иконой Божьей матери с младенцем. Эту икону много лет назад подарил ему отец. Тогда это была сплошная черная доска. Через какое-то время появилась рука, потом лик и, наконец, спустя много лет, она ожила вся.

— Необъяснимое явление, чудо. Может быть, правда атмосфера, воздух... Нет, все-таки чудо,— каждое утро говорил Николай Александрович,— сам бы не поверил, если б мне рассказали.

Мы сидели за деревянным столом, все было под рукой: соковыжималка, тостер, кофейник; Николай Александрович, благодущный с утра, пока никуда еще не спешащий, предлагал отпробовать разные сыры, колбасы, поджаривал хлеб. Разговоры уводили нас в далекое прошлое, в историю России, с которой знатный дворянский род Слободчиковых, записанный в шестую родословную книгу, неразрывно связан. Он вспоминал отца, адвоката, гласного в Самаре, много занимавшегося крестьянами, устройством школ, проведением трамвая в Самаре. Он вспоминал, а я к тому времени уже прочитала «Сборник рассказов и стихотворений», изданных Слободчиковым-старшим в 1901 году. «Чистая прибыль от издания предназначается на учреждение сельскохозяйственного приюта для сирот при селе Старом Буяне Самарского уезда и губернии» — так помечено на сборнике. Я

читала эту книгу и думала, что та благотворительность, к которой мы сейчас приходим — передача гонораров в Детский фонд, Фонд культуры, милосердия, — была в России давно и широко развита. Но одно дело читать об этом в книгах, совсем другое — реальные судьбы реальных людей.

Стихи богатого степного помещика, активного земского деятеля и благотворителя характерны по своей тематике: будущее русского крестьянства — вот что его занимало.

Осень глубокая, грязь непролазная.
Черные тучи висят над долинами...
Грустно, уныло кругом,
Всюду печальными веет картинами,
Дума все мучит одна неотвязная,
Дума о крае родном.

Избы унылые, в землю ушедшие,
Вечно здесь осень царит непроглядная,
Всюду картина одна...

Так писал Слободчиков в 1897 году, очень искренне, пусть и не совсем профессионально. И еще:

Ведь немало кругом тебя дела,
Поле русское так широко.
Только к цели идти нужно смело
И любить-то его глубоко.

Научи, чтоб твое поколение
В мужике человека нашло,
Чтобы это стенанье, терпенье,
Как волной бы из сел унесло.

Пробуди в них сознание народное
И сердца их любовью согрей,
Заунывное пенье голодное
Отгони от отчизны своей...

В великолепии сан-францисского утра выписывала я в свою записную книжку стихи человека, много сделавшего для своего родного города и вынужденного провести жизнь вдали от Родины. Сын его стоял на высоком крыльце и наблюдал за птицами: ему не нравилось, когда «большие» птицы начинали теснить «малых».

В годы гражданской войны Слободчиков-старший оказался у Колчака. Семью, жену с четырьмя сыновьями, он заранее отправил во Владивосток. О своем участии в белом движении Александр Слободчиков оставил любо-

пытнейшие, на мой взгляд, воспоминания. Напечатанные на слепой машинке в одном экземпляре, они хранятся у Николая Александровича безо всякого движения. Систематизированные лишь к концу жизни, написанные по ранним дневниковым торопливым записям, мемуары эти рассказывают о колчаковском движении день за днем. Десятки имен, событий, характеристики штаба Колчака и его генералов... Оказавшийся в вихре событий интеллигент, правовед, работавший в правительстве Колчака по отделу просвещения, человек, мучающийся мыслями о грядущей судьбе Родины, видящий, в силу своей профессии, вопиющие законодательные нарушения с той и с другой стороны, сетующий, что чрезвычайной жестокостью колчаковцы отталкивают от себя народ, человек, верящий в правоту «белой» идеи и осуждающий методы террора, которыми она творилась. Человек, оказавшийся в конце концов в силу своей «штатскости» в колчаковской тюрьме, с трудом выбравшийся из нее... Почти каждый день «Записок» заканчивается горькими вопросами о том, что ожидает Россию в будущем. 323

...Слободчиков, через руки которого проходит так много рукописных материалов, кажется, не относится особенно серьезно к тому, что написал его отец. Но я заметила, что он был рад, когда я читала эти мемуары так внимательно и заинтересованно.

— Николай Александрович, надо их издать, — уговаривала я его, — ну хоть за свой счет, небольшим тиражом, чтоб они вошли в общий оборот мемуарной литературы о временах гражданской войны.

— Надо бы, — соглашался со мной Слободчиков, — руки, знаете ли, не доходят. Вот отец еще одну интересную вещь после себя оставил. — И Николай Александрович принес еще одну рукопись. Называлась она «Моим детям».

Это была небольшая тетрадка воспоминаний его отца о родных краях, о Самарской губернии, о природе, о деревьях, травах, цветах, о разнообразии ландшафта, о закатах и рассветах. Чтобы дети знали, откуда они родом, где родились и подрастали.

«Памятка» написана чуть назидательно, но необыкновенно поэтично.

— Вот это отцовское сочинение мне очень нравится, — улыбнулся Николай Александрович, — это я часто перечитываю, хотя почти ничего не помню, меня увозили шестилетним ребенком. Помню только, как нас, детей, сажа-

ли в поезд и мой дядя стоял и размахивал пистолетом, чтобы в купе не ворвались чужие люди.

— Надо издавать,— твердила я.

— Надо,— неопределенно соглашался Николай Александрович.— Так ведь многим же надо! Помните, вы познакомились с Карамзиным Алексеем Александровичем? Ведь у него после отца помните сколько осталось, он вам рассказывал?

324 Я помню. В минувшую субботу мы были в музее, где в этот день собрались далекий потомок Карамзина Алексей Александрович и прапраправнук историка Забелина Игорь Забелин. Мы говорили о перестройке, о сохранении русской культуры, о мемуарах. Тогда-то Алексей Александрович, пожилой человек с костистым лицом, так и не снявший почему-то свой синий плащ, спросил меня, как я думаю, что ему делать с мемуарами его отца, известного в свое время художника (живопись его я видела и в музее, и в частных собраниях Сан-Франциско). Отец его (тоже к концу жизни) написал семь больших тетрадей («знаете, каждая в три пальца толщиной»). Это история семьи Карамзиных. Новейшая история, сказала бы я. Карамзин написал обо всех ветвях рода, у него было много братьев, сестер, у всех у них тоже были большие семьи. История огромной семьи, уехавшей в годы революции в Харбин и потом перебравшейся в Сан-Франциско. В отцовских мемуарах очень много людей, сказал Карамзин. А что удивительного, подхватил Слободчиков, я помню, в своих воспоминаниях Свербеев пишет, что после четвертого поколения их семья насчитывала сто восемьдесят человек. Нет, у нас в семье, если считать от моего прямого предка Забелина, не так много народу, сказал Игорь Забелин, но и немало. Семьи моих теток, оставшихся в Советском Союзе, их дети, дети их детей. Я, между прочим, сам свою родню нашел. «Через Красный Крест?» — спросила я. Гораздо проще, написал письмо наугад, по адресу бывшего имения моих родителей. А одна из моих теток так и осталась жить в деревне возле имения. Ей принесли письмо из сельсовета — «Забелиным, из Америки». Тетка мне ответила, и я стал приезжать к родне...

Инженер Игорь Забелин, человек лет шестидесяти, невысокого роста, коренастый, подтянутый, с очень русским, немного уточкой носом и серыми небольшими глазами, рассказывал мне в тот раз в музее, как приезжает изучать памятники архитектуры, как поразило его в пер-

вый раз Бородинское поле, как он делает слайды, заранее, еще в Сан-Франциско, рассчитывая по архитектурным планам, в какой час какую церковь или знаменитое здание лучше сфотографировать, как читает потом лекции и в русских собраниях, и в американских университетах.

...— Я думаю просить Забелина заменить меня на посту директора,— прервал мои размышления о судьбах известных русских фамилий Николай Александрович.— Забелин — самый подходящий человек, лучше не придумаешь.

— Но он же работает,— возразила я.— Совмещать трудно.

— Трудно,— согласился он,— правда, я совмещал. Надо начать уговаривать его заранее.

325

— Николай Александрович, а чем занимался ваш отец в Харбине?

— Он был успешливым адвокатом, надо было содержать большую семью. Был в Харбине еще один известный адвокат, бывший губернатор Приамурского края, бывший камергер Николай Львович Гондатти. И в городе обыкновенно говорили: «Кстати и некстати всюду Слободчиков и Гондатти» ... Кстати, у меня собраны все мемуары Наташи Ильиной, изданные в Советской России.

— У нас они популярны.

— Возможно. О жизни русских у вас почти ничего не известно. Но должен сказать... Наташа, она не совсем правильно вспоминает Харбин. Она жила там тяжело, семья нуждалась, под этим углом она и помнит тогдашнее время. А я вспоминаю, что культурная жизнь русская была в 20—30-е годы очень активна, вообще было много замечательного. Было по крайней мере двадцать русских гимназий, была прекрасная опера — железная дорога давала на нее деньги. Я учился в гимназии имени Достоевского. Учили очень хорошо, особенно русской литературе. Меня научили любить русскую поэзию.

И Николай Александрович читает: «Никогда не забуду, он был или не был, этот вечер...», читает до конца, потом еще и еще Блока. Потом читает Гумилева, потом, после получаса чтения, говорит:

— А вообще-то мой любимый поэт Алексей Константинович Толстой, это моя мать выучила меня любить его стихи. Мама была известной теософкой, секретарем теософского общества в Харбине, бабушка моя по матери была хороший медиум. Перелишин, знаете этого поэта,

сейчас он живет в Бразилии, в своей книге о поэзии в Харбине и Шанхае с насмешкой вспоминает об этом: дескать, все у нас, Слободчиковых, в доме крутилось, двери распахивались сами собой, и мы, мальчишки, росли в этой завиральной атмосфере. Так не было.

— А вы помните Валерия Перелишина? — спрашиваю я. — Сейчас у нас его часто цитируют в рассказах о судьбах поэтов-эмигрантов в Китае...

— Да как же мне его не помнить! Я их всех хорошо знал, молодых поэтов, о которых он пишет. Они меня обычно называли своим старшим братом. У меня был младший брат Владимир, Воля, тоже начинающий поэт, он входил в их кружок. Потом он вошел в Русский клуб, там были сильны просоветские течения. Советская пресса написала, что все русские восстановлены в гражданстве СССР. У меня, между прочим, сохранился номер газеты «Новая жизнь», где было помещено объявление. Могу показать. Воля пришел к нам, ему было двадцать два года, он на четырнадцать лет моложе меня, и торжественно заявил, что уезжает в СССР. Мама давно умерла, отец тоже, я ему говорю: «Пропадешь!» Он запыхтел и закричал: «Предатель! Я тебе писать не буду!» Приплыл он в Находку на пароходе, у него тут же конфисковали все вещи и посадили в лагерь, сидел на Колыме, отсидел до смерти Сталина. И все-таки он мне написал первым. А другой брат жил в Шанхае, в начале 1953 года его арестовали китайские власти и заявили, что высылают его в Советскую Россию. Доехал он до Маньчжурии, и вдруг все заводы загудели. Так он узнал, что отец народов загнулся. Привезли его в Москву, посидел он на Лубянке, и его быстро отпустили.

— А он жив?

— Оба живы, Воля живет в Орехово-Зуеве, преподает английский, Александр в Москве, писал учебники французского языка для всей страны. Воля приезжал недавно, жил с женой у меня.

— А вы обрадовались?

— О да, конечно. Но я сорок с лишним лет его не видел, он стал совсем другим человеком, после лагеря, после всей своей жизни... — У Николая Александровича делается детски обиженное лицо. — Рассказывал мне много, но я понимаю, что далеко не все. Выработалась уже манера.

— А Сан-Франциско ему понравился?

— Разве поймешь? У вас же у всех ничего не поймешь! — снова обижается Николай Александрович. — Вы же правду разучены говорить.

— А мемуары они не пишут, ваши братья? Самое время.

— Нет, думаю, не пишут.

— Перелишин же написал.

— И многое переврал. Один мой приятель, он в Австралии живет, он даже звонил мне, жаловался, что Валерий обозвал его кокаинистом, хотел подать на него в суд, а я говорю, не обращай внимания, все же знают, что это неправда, да и какой суд, что ты с него возьмешь!

— Ну а молодые поэты?

— Я знал всю поэтическую бражку, они все бывали у нас дома.

— А что за история с двойным самоубийством поэтов Сергина и Гранина? О ней пишет Перелишин.

— Гранин? Он был из очень простой семьи, и это его заедало. Фамилия его была Сапрыкин. Перелишин написал на него эпиграмму, не помню, цитирует ли он ее в своей книге: 327

Ты не Гранин, а Сапрыкин,
Не Георгий, а Егор
Будешь зваться с этих пор.
Мальчик благодный и ловкий,
Обладатель ты поддевки,
Смажешь дегтем сапоги,
Будешь кушать пироги.

Гранин смертельно обиделся, просто ужасно.

— Он был очень активный фашист, так пишет Перелишин.

— Он был так молод, что и не поймешь. А Сергин, говорят, поклонялся Сталину. Тихий, скромный мальчик, почти все стихи его были о смерти. Они сошлись и решили покончить с собой. Что там было? Не знает никто. Земля идет к гибели, все кончается, вот было их настроение. Рисовка своего рода. Конечно, их смерть взбудоражила всех, но не больше того. А Несмелова, самого крупного поэта, арестовали и уничтожили ваши.

— Николай Александрович, а чем вы занимались до приезда в Америку?

— Сначала учился в гимназии. Родители были вечно заняты. Отец — адвокатурой. Мать помогала русским беженцам, занималась благотворительностью. Рос я фактически на улице. На улице и выучился советскому языку. Играл с сыновьями ремонтных рабочих с КВЖД. А когда советские заняли дорогу, у нас, ребят, начались столкновения, мы разделились — белая группа и красная группа.

Знаете, я помню, у нас дача была под Харбином, выходила обрывом на станцию железной дороги, внизу росла ежевика. Днем все дети играли вместе, а вечерами красные гуляют по платформе и поют, а мы им сверху отвечаем. Так и пели каждый вечер.

— А что?

— Оскорбляли друг друга, вот что. Бывало, споем мы какую-нибудь белую песню, а нам отвечают:

Слушай, белая шпана, наши песни,
И от злости хоть возьми, да и тресни.

А мы:

Вскормили вы нас и вспоили,
Отчизны родные поля...

328

А нам в ответ:

Что бы было от Москвы, от Расеи,
Кабы были мы, как вы, ротозей...

И что интересно, днем играли друг с другом очень дружно. Это в ранние годы происходило, в 1925—1927 годах. Потом все эти мальчишки подросли и уехали в Россию. Пострадали, наверное, многие. Ну а я, как кончил гимназию, уехал учиться в Политехникум в Бельгию. Вернулся. А инженерная работа меня, признаться, никогда не привлекала.

— Вы гуманитарий по всему своему складу.

— Да, а что делать, работы гуманитарной не было. И инженером служить не хотелось. Пошел я работать во французскую полицию на концессию. Там и платили больше, чем инженеру.

— И как вам работалось?

— Ничего, я китайский язык хорошо знал, это помогало. Ну а в Сан-Франциско вернулся к своей инженерной профессии. Как приехали, сразу купили этот дом, за двенадцать с половиной тысяч. А сейчас он стоит триста пятьдесят, может, и больше. Моя покойная жена поступила работать на фабрику, она очень хорошо шила. Когда начались компьютеры, перешла на них, под ней работало на компьютерах двадцать пять девочек. Много русских после войны переселялось в Америку.

— Боялись возвращаться домой?

— Конечно. Я точно знал, что для меня возвращение кончится плохо, особенно после службы в полиции, да и брат уже исчез.

— И как приживались русские из Харбина?

— Вначале очень трудно. Никаких привилегий, никакого статуса беженцев. А из Шанхая приехало много простого народа. Их никуда толком не брали, они не знали английского языка. После окончания второй мировой войны вообще было трудно устроиться на работу. Русские попали во вторую категорию. Пошли в ночные уборщики контор. Это хорошо оплачивалось. А русские не стеснялись работы. Да что говорить, даже наш председатель Русского центра управлял гладильными аппаратами.

— Большинство русской колонии отправилось после войны в Америку?

— Да что вы! Нет, конечно. Все было очень сложно. Когда советские войска подходили к Шанхаю, американцы сделали для русских палаточный лагерь на Филиппинах, на островах. Жили в палатках и ждали виз, к несчастью, все друг с другом перессорились, обвиняли друг друга кто во что горазд, в основном в большевизме. Писали доносы. Один человек, Богульский его фамилия, написал пять тысяч доносов, я твердо знаю.

— А зачем?

— Зачем люди вообще пишут доносы? Не знаю. Когда он появился в Сан-Франциско, я ему руки не подал. Из-за таких, как он, русские просидели в палатках несколько месяцев, пока один русский сектант, адвентист, кажется, не обратился к главе американских адвентистов, а здесь это очень влиятельная церковь, потребовал послать на острова сенатора от Калифорнии. Ну, тот поехал, разобрался, стали давать визы. Но многие не дождались, уезжали в Чили, в Бразилию, в Австралию, куда быстрее дадут. Русские себе всегда сами вредили, вот что я должен признать. Но зажили в Америке в общем-то неплохо... Кстати, сегодня объявление — умер председатель Казачьего союза Мотовилов. Вот вам пример. Казаки. Приехали сюда, совершенно не знали английского. Начали работать. Купили дом.

— Тот, который вы мне показывали? Большой, прекрасный дом.

— Да. Там они почти все и жили. И сам Мотовилов был совсем небедный человек, владел бензоколонкой. Знаете, свой дом казаки собираются продавать.

— Почему?

— Мало людей осталось. Некому там жить. И Женя, кажется, собирается продавать свой ресторанчик.

— «Сендереллу»? — спрашиваю я.

В этом ресторане я бываю всякий раз, когда приезжаю в Сан-Франциско. Это небольшой зал, очень опрятный, с русской кухней и низкими ценами. Собственно, это не ресторан даже, а скорее столовая, работает он только до шести. Хозяйка «Сендереллы», то есть «Золушки», Евгения Петровна Белоногова, Женя, среднего роста пожилая женщина с широким добродушным лицом. Недавно, когда мы с Николаем Александровичем завтракали там, мы с ней познакомились и разговорились. Мы, в Китае все рожденные, сказала она мне, все русские. В пятьдесят третьем году выехали из Харбина, жили семь лет в Бразилии, а в шестидесятом приехали сюда, муж, сын, да две дочки. Теперь у меня большая здесь семья, может, пятьдесят человек, может, больше. Я спросила Евгению Петровну, как она справляется с рестораном: «Встаю в пять, полпятого, пеку пироги и для ресторана, и заказные, на сестре моей остальная кухня, две официантки, вот и все». Я удивилась, что людей так мало. «А что удивляетесь? У нас из Китая все работающие, особенно харбинцы, у нас мораль была высокая, — улыбнулась Женя, — вот инженеры из Харбина в Сан-Франциско очень ценятся, вообще русские ценятся, которые из Харбина». — «Когда ж вы отдыхаете, вам уж и лет немало», — сказал я. «Да уж шестьдесят пять, можно бы и отдохнуть. Встаю затемно, в восемь вечера смотрю новости, а в девять спать». — «И так всю жизнь?» — настаивала на вопросах я. — «Как в ресторане начала работать, все тридцать лет так, а как же тут иначе», — отвечала Евгения Петровна, не догадываясь, почему я так любопытна. А я слушала ее ответы и все прикидывала, как и сколько работают наши кооператоры. Но когда мы прошли с ней на кухню, где стоял огромный холодильник, заполненный продуктами, когда я увидела электрическую машину, мешающую тесто, мойки, сушки, только тут я сообразила, что зря спрашиваю и зря пытаюсь что-то сравнить, — слишком неравные условия для наших кооператоров. И вставать в пять не привыкли, и нужных продуктов для тех русских разносолов, что предлагает своим постоянным посетителям скромная «Сендерелла», не найти у нас днем с огнем.

Ресторанчик маленький, неприхотливый, неказистый. Казалось бы, людям побогаче туда ходить ни к чему. Но там бывают почти все харбинские русские. Это не просто возможность вкусно поесть, ресторан — место встреч, разговоров, в какой-то степени неофициальный клуб. Там увидела я за соседним столиком пожилую даму с длинным аристократическим лицом и фиалковыми глазами.

«Графиня Толстая», — шепнула мне официантка. Толстая, да не та, должна огорчить, сказала дама, когда мы познакомились. Я внучка брата Льва Николаевича, Николая. Знаете о нем? Но не думайте, мы приходим не от цыганки, от законной жены. Меня «уехали» из России в Харбин, когда мне было несколько месяцев... С Толстой сидел мой однофамилец, Башкиров, мы начали считаться родством, не сочлись. Оба приглашали меня в гости...

Такое это место — ресторан «Сендерелла», место встреч. И вот Николай Александрович говорит, что Белогова собирается его продавать. А кому? Кто купит. А кто купит, неизвестно. И вполне возможно, постепенно исчезнет еще одна точка на карте русского Сан-Франциско, где любят собираться харбинцы. Как исчезнет вскоре внушительный Казачий дом.

331

Остается память, остается музей, остается Русский центр, где идет своя оживленная жизнь, где по-прежнему собираются члены старой русской колонии и их дети, где проводятся лекции, концерты, где часто ставятся «оперетки», как выражается Слободчиков. Ставятся и оперы, иногда приезжают петь и профессиональные певцы русского происхождения.

...Десять дней гостила я у Слободчикова. Мы ездили в музей, где я лихорадочно перебирала интересующие меня ящики с архивами, торопясь и понимая, что все равно ничего не успеваю. Да и как успеть, если музей открыт всего два раза в неделю по четыре часа. Рядом работала профессор из Торонто, разыскивала документы по истории Харбина. Славистка, она писала монографию о довоенной русской эмиграции. Командировка в Сан-Франциско была у нее на месяц, и она тоже не укладывалась в сроки. Во время чаепитий мы переговаривались о том, как идут дела. Она хорошо знала текущую нашу литературу, особенно женскую прозу, вспомнила один из моих романов. А я слушала ее и думала: ну почему, почему русский Харбин интересует канадский университет в Торонто, а мы все дремлем, а документы лежат, а людей, участников давних событий, остается все меньше.

В один из дней мы объездили с Николаем Александровичем все русские церкви Сан-Франциско: и Троицкий собор, открытый в 1910 году, строительство которого субсидировало русское правительство, белый с голубыми куполами, и Главный собор, громадный, очень красивый. Строили его трудно и долго. Это наш русский обычай: пока строили, все перессорились, сказал Слободчиков. Дверь

в собор была, как всегда, заперта. В который раз я туда не попадаю. Настоятель собора — харбинский китаец Илья Вэнь, ему девяносто пять лет. Он до сих пор служит службы. Идеально, по словам Николая Александровича, говорит по-русски. В Сан-Франциско вообще живет много православных китайцев из Китайской духовной миссии.

332 Я слушала рассказы Слободчикова о епископах, настоятелях, владыках, о том, кто в эмиграции посещает какие церкви, кто русскую зарубежную, кто — американскую, по каким причинам, и думала, что вряд ли кто-нибудь помнит и знает сейчас больше, чем Николай Александрович. А мемуары он писать не хочет. Нет времени. Ведь не только музей на его руках. Звонки о возможных новых поступлениях раздавались и в эти считанные десять дней. Слободчиков тут же садился в машину и уезжал. Однажды уехал на целый день в Беркли: очень старая русская женщина собирается завещать музею старинный золотой бокал и ценные книги, просила приехать, посмотреть, договориться. По пути Николай Александрович наведалься в еще один дом, там тоже давно собираются передать музею библиотеку русских энциклопедий и книг. Вернулся Николай Александрович из поездки возбужденный: он хотел было увезти кое-что из обещанной библиотеки тотчас же, но в последнюю минуту дарительница заколебалась. Зато он получил кое-какие любопытные рукописи (потом мы вдвоем выгружали их из багажника), договорился о передаче бокала — словом, много успел за этот день. Устал, приговаривал он вечером, пора на покой, но, как мне показалось, приговаривал так, для порядка, выражение лица у него было детски довольное. А я поймала себя на том, что успела втянуться в дела и заботы музея, в хлопоты Николая Александровича.

* * *

...Вечер, мы сидим в гостиной, старинные часы отбивают каждую четверть, хозяин дома читает газеты, я — мемуары его отца. И кажется мне, что мы знакомы и, не побоюсь сказать, дружны много-много лет, а ведь всего несколько лет назад... И тут я задаю ему вопрос, который давно собиралась задать, да в суете все забывала:

— Николай Александрович, а вы изменили свою фамилию, когда приехали в Америку? Она трудно произносится, длинная очень.

— Я? — Николай Александрович недовольно шелес-

тит газетой.— Я вам отвечу, как отвечаю всем американцам. Знаете, сколько лет существует наша фамилия в Калифорнии? Назовите мне кого-нибудь, у кого дольше. Двести! И прикажете мне ее менять?

— Как двести? — изумляюсь я.

— Так! Я по документам установил. Двести лет назад в Калифорнию приехал и поселился казак Сысой Слободчиков.

— Но не предок же, раз казак,— возражаю я.

— Почему не предок? Какая разница! Ведь русский! — И Николай Александрович победительно рассмеялся.

Содержание

<i>От авторов</i>	3
<i>Последний из могикан</i>	17
<i>Путешествие в Форт-Росс</i>	35
<i>Будьте дружелюбны!</i>	51
<i>В Бруклине у Большого дерева</i>	75
<i>Почва под ногами</i>	97
<i>Привет Питеру!</i>	117
<i>Ребенок, шатаясь, начинает ходить</i>	131
<i>Саша Лютиков из Сан-Франциско</i>	157
<i>Как, вы не знакомы с Гарри?</i>	169
<i>Тройка на Красной площади</i>	189
<i>Соседка</i>	203
<i>Брайтон Бич и вокруг него</i>	223
<i>Друг Худенко</i>	249
<i>Галерея на берегу залива</i>	259
<i>Ночные разговоры</i>	279
<i>Судьбы русских архивов</i>	305

- Башкирова Г. Б., Васильев Г. В.**
Б33 Путешествие в Русскую Америку: (Рассказы о судьбах эмиграции).— М.: Политиздат, 1990.— 334 с.: фот.

ISBN 5—250—00750—3

Новая книга Галины Башкировой и Геннадия Васильева поможет читателю живо увидеть малоизвестный для нас мир русских (как называют на Западе всех выходцев не только из России, но из всего СССР) эмигрантов разных лет в Америке, познакомиться с яркими его представителями — и знаменитыми, как Нобелевский лауреат, экономист с мировым именем Василий Васильевич Леонтьев или художник Михаил Шемякин, и менее известными, но по-человечески чрезвычайно интересными нашими современниками.

Книга рассчитана на массового читателя.

Б 0301051000—250 63—90
079(02)—90

ББК 66.3(0)

Галина Борисовна Башкирова
Геннадий Владимирович Васильев

**ПУТЕШЕСТВИЕ
В РУССКУЮ
АМЕРИКУ**

Заведующий редакцией *В. Е. Вучетич*
Редактор *В. В. Устенко*
Младший редактор *Л. В. Масленникова*
Художник *Н. Г. Пескова*
Художественный редактор *П. В. Меркулов*
Технический редактор *Е. Ю. Куликова*

ИБ № 8031

Сдано в набор 07.05.90. Подписано в печать 06.11.90. Формат 84×108^{1/32}.
Бумага офсетная. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,48.
Усл. кр.-отт. 39,58. Уч.-изд. л. 20,35. Тираж 100 тыс. экз. Зак. № 872.
Цена 1 р. 90 к.

Политиздат, 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.